



*александр товбин*

**германтов**

*и*

**унижение  
палладио**

•

Александр Товбин

**Германтов и унижение Палладио**

«Геликон Плюс»

2014

## **Товбин А. Б.**

Германтов и унижение Палладио / А. Б. Товбин — «Геликон Плюс», 2014

Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке... Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации? Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрее время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умильном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.

© Товбин А. Б., 2014  
© Геликон Плюс, 2014

# Содержание

Преамбула	7
Часть первая	59
Конец ознакомительного фрагмента.	202

# **Александр Товбин**

## **Германтов и унижение Палладио**

© Товбин А., текст, 2014

© «Геликон Плюс», макет, 2014

\* \* \*

## Преамбула (о сближениях, которые от нас не зависят)

### Интрига

Убийство или несчастный случай?

Ответ на этот вопрос выпало искать Массимо Фламмини, комиссару венецианской полиции.

И многоопытный комиссар, популярный среди горожан как благодаря знатному происхождению своему, так и высокой квалификации сыщика, не оставлявшей преступникам и призрачных шансов избежать наказания, быстро сообразил: перед ним вовсе не рутинное дело.

Поверхностный осмотр не выявил на теле погибшего пулевых или ножевых поражений, гематом от ударов, ушибов, но почему-то интуиция нашёптывала комиссару, что даже результаты вскрытия не позволят объяснить внезапную смерть сугубо медицинскими причинами, к примеру тромбом или инфарктом.

Итак, Фламмини – точнее, Мочениго-Фламмини, отпрыск старинного венецианского рода, сделавший, однако, карьеру на государственной службе, полноватый, щекастый, с волнисто-вьющимися, длинными чёрными блестящими волосами, густыми кустистыми бровями и тёмно-карими колючими глазками отодвинул пепельницу с горкой окурков: уголовное дело, как всякое дело, в котором замешаны русские, обещало запутаться, затянуться или вовсе зависнуть – с надеждами на отпуск комиссар уже распрощался... Он шумно вздохнул: вот и первая беседа с так называемым свидетелем ничего практически не дала, хотя, похоже, этот заезжий господин знал куда больше, чем говорил; как ему развязать язык? Демонстративно-спокойный – убеждённый в своей неуязвимости? На вопрос о цели приезда ответил по-анкетному, кратко, но с ироничной уклончивостью, со светской улыбкой: «Осмотр чудес Венеции»; конечно, осмотр. И как сказано-то, ирония на грани издёвки: «осмотр чудес». Холёный, благополучный, добротен и достойно, не выпячивая лейблы модных домов, одет; неброский, но из отменного тёмно-синего бостона клубный пиджак, хлопковая рубашка... и завидный английский у него, и он хорошо, если не безупречно, держится, не ищет куда бы подевать руки, глаза не прячет, а вот доверия не внушает. Для начала надо бы через Интерпол запросить на него досье. Для начала... Но при русском, ничуть не уступающем итальянскому, скорее, судя по слухам о коррупционных рекордах, которые смакует пресса, превосходящем итальянский по всем бюрократическим статьям бардаке, – снова шумно вздохнул Фламмини, – компьютерную базу будут не меньше месяца пробивать.

Занавесь у открытой балконной двери не шевелилась.

Не было и слабого ветерка, сквознячка.

Казалось, изнывали от духоты и сдобные путти, несколько столетий назад обосновавшиеся на потолке.

Отвинтил крышечку на запотелой бутылочке San Benedetto, наполнил минералкой стакан, медленно, маленькими глотками пил.

И прислушивался к монотонному бормотанию радио: скандал в католических верхах разгорается с новой силой, появились не только неопровержимые доказательства того, что обанкротившийся вчера Банк Ватикана был причастен к отмывке денег, но и...

Отодвинул пепельницу – мысленно; пахучую горку окурков, как и саму пепельницу, вообразил: курить в комиссариате запрещено; и всё, всё, что вчера ещё было осязаемой реальностью, которую никто не мешал потрогать, предстаёт бесплотным, ненастоящим, но дело-то –

настоящее? Настоящее ли, ненастоящее, а муторным будет дело, это уж точно. Поставил стакан на стол; ворох фото, растущая кипа неотложных бумаг, их по милости разогретого принтера уже до смерти не разгрести; да ещё неусыпно светится экран монитора.

Он, Фламмини – тёртый калач, как многозначительно привыкли перемигиваться коллеги, – умно морща лоб, всматривается в гипнотично сияющие мельтешения на экране, боясь упустить хоть что-нибудь из этой формализованной чепухи, или, напротив, приманив его, плоский глаз-экран присматривает за ним?

Ворох автоматически снятых видеофото; тёмный пилон, арочный проём-просвет, за которым – расплывчатые контуры Пьяццы, а спереди группка случайных иноземных зевак, наткнувшихся на труп: сухой высокий сутуловатый старик с крючковатым носом, миловидная женщина средних лет с пышно взбитым воздушным шарфом, за её плечом – совсем молодая и стройная, с чёлкой до глаз, и ещё одна, пожилая.

Растерянность на лицах и – страх... естественно, страх. Но физиономист Фламмини подумал: у всех удивлённый какой-то страх, именно так – удивлённый; ужасная уличная сценка, слов нет, сценка не для слабонервных, но в глазах у них, у всех четверых – у старика и трёх женщин, – есть ещё что-то поверх абстрактного ужаса.

Кто они?

Откуда они?

И стоило ли их теперь разыскивать по гостиницам, чтобы опросить? – постукивал карандашом по столу. А что, собственно, они смогли бы рассказать в дополнение к тому, что и так видно было на фото?

Компьютерная база, досье – размечтался, когда даже паспорт погибшего куда-то исчез! О погибшем, да и о свидетеле в клубном пиджаке с повадками сэра тоже, нет пока и кратких, сколько-нибудь объективных данных! И даже оригинальнейшее хобби, над которым как над конкурентным преимуществом при распутывании русских дел подтрунивают коллеги, вряд ли сейчас поможет тебе, Фламмини, ловцу актуальных намёков в абстрактно-хлёстких русских поговорках-присказках, хотя бы прикинуть психологический рисунок преступления, если, конечно, само преступление имело место... Всё зыбко. Спасибо, большое спасибо факультативному курсу болонской полицейской академии «Поговорки народов мира как ключи к национальным характерам и образам мысли»... Да, ключи, подайте-ка поскорее всем нам, сыщикам-дуралеям, волшебные отмычки-ключи – что-то в этом сказочно-прикладном назначении преподавалось ему в академии; да, в годы учёбы он почему-то увлекался расшифровкой мудрёных, непереводаемо-многозначительных сцепок из двух-трёх простеньких слов – почему-то? О, юношеское увлечение имело сентиментальную окраску, бабушку комиссара, так достойно и долго представлявшую в Совете почётных граждан Венеции свой аристократический, но, увы, обедневший род, и – при этом – наполовину русскую, когда-то радовала языковая пытливость внука, ей так хотелось, чтобы он не только выучился говорить, но и начал думать по-русски; престарелая любимая бабушка скончалась год назад в хосписе, – Фламмини подавил вздох, сокрушённо качнул головой, – её личные вещи-раритеты и русские бумаги в эти дни как раз выставлялись семьёй на продажу... Вновь качнул тяжёлой головой: закопался в делах, со дня похорон бабушки не удосужился положить свежие цветы к фамильному склепу на Сан-Микеле.

Несколько пологих ступеней, телесно-тёплый мрамор, в почётном карауле – два кипариса...

Однако сейчас-то Фламмини было не до розовых умилений и печальных воспоминаний, сейчас-то ему надо было бы не на волшебные ключи своего поощрённого бабушкой усмешливого хобби надеяться, а системно выстраивать доказательства, располагая достоверно-подробной фактурой, на худой конец – канвой биографий фигурантов престранного происшествия; ох, он ведь обучен был классическим методам сыска и аналитики, начинать свои расследова-

ния привык с отысканий мотивировок преступления в биографии и психологии жертвы. И как славно было бы не пороть горячку, а с учётом всех норм и правил дознания, усвоенных ещё в полицейской академии, идти шаг за шагом к цели: расширять доказательную базу и сужать круг подозреваемых, выводить преступников из тени, однако – прокурор не желает ждать.

Пока известно лишь, что погибший и свидетель – условный свидетель, куда уж условнее – вместе засветились вчера вечером на Словенской набережной в отеле «Даниели», у стойки бара; по столу вперемешку с уличными фото были раскиданы материалы и внутреннего видеонаблюдения: как не заподозрить нечистое? Вот они, оба с пузатенькими бокальчиками, рядышком, почти касаются рукавами. «Они, – глянув, кивнул бармен, – этот, рыжий, виски заказывал, а этот, седоватый, – коньяк». Ну и что же подозрительного в том, что рядышком стояли и выпивали? Выясняли отношения или... полно, были ли они на ножах? И были ли они вообще знакомы, связывало ли их хоть что-то прежде? Словечком перекинулись, выпивая? «Впервые увидел», – вроде бы без актёрства пожимал плечами свидетель. В распечатке же с мобильного погибшего – пододвинул листок с переводом, перечитал – всего-то два... нет, три пустячных звонка, солидный мужской и молоденький женский голоса вполне различимы, при том что приглушены уличными шумами, – звукозапись Фламмини, поглядывая в перевод, повторно сейчас прослушал: речь об отмене чартерного рейса, перерегистрации авиабилета. Кстати, ещё и прямой-обратный авиабилет этого несчастного путешественника исчез вместе с паспортом. Впрочем, не всё так плохо, в куцей телефонной беседе проклюнулось имя-отчество погибшего, с минуты на минуту петербургский сотовый оператор сообщит фамилию, можно будет прочесть Интернет. Ох, зачем эти пустые хлопоты, фамилию погибшего никто не мешает сейчас же выловить в документах турфирмы. «Моника!» – выкликнул по внутренней связи помощницу, дал поручение.

Главный вопрос: кем был погибший, чем занимался, что его сюда привело? Навряд ли туристическая любознательность...

Тут заглянул в кабинет другой помощник комиссара, Марио Бартелли, его правая, так сказать, рука. Марио выяснил, что свидетель зарегистрирован как участник сегодняшнего аукциона во дворце Корнер-Спинелли. Вот и зацепочка? Когда отвечал на вопрос о цели приезда, почему-то практичную, безобидную эту цель не упомянул. Почему? Да, любопытно, как свидетель завтра на очередной встрече в комиссариате попробует отвертеться. Что предсудительного могло быть в легальном участии в аукционе? Фламмини почувствовал себя лично задетым, как-никак торги были связаны с добрым именем бабушки. Вспомнив же отговорочку свидетеля насчёт «осмотра чудес», Фламмини хмыкнул, заворочался в кресле.

«Хваткий всё-таки малый Марио, заслуженно идёт в гору», – подумал Фламмини, когда помощник, проведя ладонью по волосам со смоляными колечками на границе затылка и крепкой шеи, тихо прикрывал за собою дверь.

Так.

Двое русских стояли рядышком у барной стойки и выпивали, затем один из них... Отравление? Ну конечно, проще простого и яснее ясного всё – полоний! Или – отрезвляющий глоток холодной воды – это, искромётный Массимо, всё-таки перехлест? Конечно, конечно, перехлест, ты, Массимо, столкнулся у аркады Прокураций не с доказательством экзотичной мести русских спецслужбистов, бесконтрольно орудующих смертоносными радиоактивными изотопами, а, положим, всего-то с печальной метой химически незатейливого, хотя надёжного яда, не уступающего по убойности свойств своих ядам, какими извечно пользовались успешные венецианские отравители, – порошочек какой-нибудь, подсыпанный из перстня в бокал соседа по барной стойке, причём аккуратненько подсыпанный под зрачком камеры видеонаблюдения, – затрясся дородным туловищем, смеясь над своими домыслами Фламмини, перебирая, однако, по инерции перипетии нескольких исторических отравлений, описанных в полицейских учебниках, но поскольку этическим правилом для Фламмини было лишь строго обосо-

ванное отсечение даже самых безумных версий, он велел заказать токсикологическую экспертизу.

Так, к делу: погибший у себя, в Петербурге, как засекреченный агент, с утра до вечера занятый чем-то подозрительным, прятался от людей, ни с кем не поддерживал отношений, а мобильник нужен был ему для блезира? Или он в Петербурге и не проживал вовсе, немалые свои годы, как отшельник, укрывался в пустыне? А потом вдруг затосковал по прекрасному, задёргался, заказал билет на самолёт. Комиссар поморщился – всё невпопад, всё: откуда там, на севере, возьмётся пустыня, там – снега, сплошные льды, белые медведи. Поморщившись, ещё и поёжился, вспомнился ему краткий, на редкость неудачный вояж в Петербург, где стоял тридцатиградусный, трескучий, как говорили, жалуясь-восхищаясь, русские, мороз и пришлось купить, чтобы сразу использовать по назначению, сувенирную армейскую меховую шапку-ушанку с красной звездой. Да, – мотнул головой, – пустыня ли, льды, лесная глушь или всё-таки лабиринты застылого мегаполиса, а и при самой экзотической географии-топографии досе бы не помешало, однако не стоит попусту мудрствовать и мечтать; в тёмное прошлое незадачливого путешественника сейчас никак не проникнуть, пружины его поведения не нащупать, и – под давлением интуиции понимал загнанный в тупик, разозлённый на себя и на всемирную пустопорожную неразбериху Фламмини – вряд ли прояснят причины прискорбного инцидента подробнейшее заключение медэкспертизы, фрагментированные – крупнее, ещё крупнее, – нащёлканые с разных точек фотографии тела, над которыми с дежурно-вальяжной своей медлительностью, маскирующей элементарную нерадивость, уже, хочется верить, второй час колдуют криминалисты.

А толку-то от всех их колдовских пассов? Лишь бюджетное одеяло успешно на себя перетягивают.

Самому надо думать.

Думать, прицельно думать... если, конечно, ты, Массимо, не клинический идиот! А вдруг ненароком причинная логика попробует тебя угодливо завернуть в тупик? Так не помешало бы тебе, проницательнейший синьор-аналитик, на худой конец хотя бы блеснуть фантазией.

Ну-ка, затянись-ка мысленно сигаретой, ну-ка, ну-ка...

Если это убийство, то где мотив?

Если случайность, то как всё же объяснить... Фламмини нервно пометил что-то в блокноте, качнул волнисто-смоляной гривой и снова хмыкнул. Эффектно-заносчивая и романтическая, слов нет, затея – прибыть *incognito*, в полумаске и плаще-домино, чтобы внезапно и счастливо умереть, припав под музыку Вивальди к пышной груди Царицы морей... Но смех смехом, а кто бы ему, Фламмини, всерьёз и доходчиво растолковал, зачем, чего ради, по какой такой сверхсрочной надобности, помимо, конечно, неотложного «осмотра чудес», петербургский отшельник едва ли не тайно здесь появился? Даже хозяйку турфирмы, тоже русскую, между прочим, да ещё при этом – жену фламминиевского друга детства нельзя опросить – после ночного сердечного удара отсыпается в реанимационной палате госпиталя в Кастелло, в искусственной коме, а компаньонка её, похоже, рехнулась, твердит, как заклиненный автомат: форс-мажор, форс-мажор; ох, у многих внешне необъяснимых происшествий последних лет, только копни, русские корыстные корни... И, как правило, цель у тамошнего обнаглевшего криминала, для которого уже нет государственных границ, одна: отмывка бешеных денег! Безнаказанные воротилы из России в сшитых лучшими лондонскими или миланскими портными костюмах, с толстыми от международных банковских карт бумажниками – кошельками для карманных расходов? – неприкасаемых заскорузлых авторитетов из козаностры и каморры отправили на покой, небрежно прицениваются к дворцам на Большом канале, да ещё удивляются, что тонущие, отсыревшие и заплесневевшие до крыш дворцы эти на фоне их-то, воротил, трат на английские поместья и замки, баснословно дёшево стоят. С тоской вспомнил Фламмини о продаже за бесценок квартиры в родовом дворце Мочениго. Как там, в России, о бога-

чах-расточителях судачат – денег куры не клюют? Ещё бы, нефть и газ фонтанируют, успевай только отстригать купоны. Но... что новенького, разве русские купцы не швыряли пачками купюры в печь? Стоп, стоп, я, кажется, перегибаю палку, – Фламмини почувствовал, что логика и элементарная объективность и впрямь ему изменяли, – что за прекраснотушными претензии к временам, нравам? Даже в Банке Ватикана не зевали на кассе, отцы церкви преуспели в отмывке серых денег, скандал самому понтифику не удалось замять... А как, как погибший тихоня, по всем доступным признакам – одежда, внешность – интеллеktуал, скорей всего бесконечно далёкий от сверхдоходов теневого бизнеса, воротилам тем, жадно ли, лениво загребавшим миллиарды, мог перейти дорогу? Бред какой-то взамен логики, бред, а не проблеск фантазии, тень на плетень – ухмыльнулись бы те же русские по поводу столь сомнительной версии. Да, непревзойдённый аналитик Массимо, бредни взамен нацеленных умозаключений. И сразу же комиссару кстати ли, некстати припомнилась ещё одна загадочная русская поговорка: рука руку моет.

Придвинул фото погибшего: белая мягкая рубашка с пристёгнутыми кончиками воротника, серые вельветовые джинсы, тёмно-серые мокасины от «Ессо», ну и что? Это раньше, Массимо, в индивидуальной манере одеваться можно было поискать дополнительные мотивировки случившегося; сейчас так неброско, лишь с налётом элегантности, одеваются многие. Да ещё вдобавок – в копилку бреда – дразнилка-загадочка! На замостке, рядышком с неброско одетым трупом, валялись дорогой старинный камзол из бархата, какой-то сюртук с большим белым отложным воротником, забрызганным кровью. Вот уж чудеса так чудеса! Ничего подобного в его богатой практике прежде не было. И именно он, Фламмини, теперь должен эти чудеса «осматривать» с умным видом. Шутники-призраки сбросили карнавальные наряды в двух шагах от Сан-Марко, да ещё их окропили кровью, чтобы поизмываться над полицией, комиссара выставить дураком? Поизмываться, потешиться и – пустить полицию по ложному следу, чтобы тем временем подлинные следы преступления простыли? Плюнуть на вымученные проказы шутников и забыть или... Поколебавшись, не эти ли проказы напрягли-насторожили так интуицию, велел всё же побыстрее отправить театральное окровавленное тряпье на экспресс-анализ в генетическую лабораторию, чтобы перестраховаться, велел даже продублировать анализ в Виченце, в конкурирующей лаборатории, да ещё Монике сказал: я им три, в крайнем случае четыре часа даю, не больше. Да, экспресс-пробы на анализ ДНК неприлично уже не взять; при твоей, Массимо, репутации традиционалиста, при насмешливо-косых взглядах – мол, мышей не ловит, – которыми всё чаще награждают тебя молодые, да ранние пустоглазые карьеристы, совсем уж непростительно было бы проигнорировать моду на столь тонкие научные инструменты. При том, что и простеньких фактов, которые без натяжек и дополнительных проверок можно принять всерьёз, – кот наплакал, а прямых улик – пока вообще нет, косвенных, – раз, два и обчёлся, днём надо о перспективах дела докладывать прокурору, но даже предварительную, минимально правдоподобную версию не из чего слепить, скудные находки логически ни рассортировать, ни связать.

Широкие, чуть оплывшие плечи Фламмини, словно лишённые костного каркаса, как-то студенисто осели, крупная голова поникла: *mirabilia*?

Но что же это, если не чудеса?

Чудеса, чудеса в решете, как говорят русские.

Ни паспорта, ни авиабилета – неужели ещё и ограбление? Когда, как на таком людном месте карманы успели ему обчистить? И была у него, судя по фоткам видеонаблюдения из бара, наплечная прямоугольно-плоская сумка.

А вот на месте преступления сумка-то как раз и не обнаружена; труп есть, вот он, распростёртый, в кольце зевак, а сумки – нет.

И лишь Бог знает, какими драгоценностями – или тайнами? – могла быть набита та сумка.

Так преступление это или всего лишь странноватое происшествие?

Что за вопрос? Если сумка, чем бы она ни была набита, исчезла, значит – преступление. Но сумку ведь ещё в баре балканские воришки, которые наезжают теперь к каждому карнавалу и потом не спешат восвояси убраться, могли стащить, а, стащив, вместо сумки – карнавальные одежды, забрызганные кровью, подбросили?!

Бред... в баре-то клиент был живёхонек и, похоже, в своём уме, не столько уж коньяка он вылакал, чтобы, лишившись сумки, не заявить о краже в полицию и беспечно отправиться перед сном кружить под музыку по Сан-Марко.

Бред... никаких воришек в пустоватом баре отеля камера видеонаблюдения не зафиксировала: за круглым столиком в углу сидят трое носатых брюнетов, и впрямь, возможно, боснийцы или албанцы, но выглядят вполне прилично, даже солидно, навряд ли они позарились бы на какую-то сумку; и ещё – за соседними столиками – группа пожилых китайцев с чашечками кофе, а в другом углу бара – парочка славянских проституток, довольно эффективные, посасывают коктейли, постреливают миндалевидными глазками в спины погибшего и свидетеля, пока те мирно выпивают у стойки... Живая реальность или сценка из телесериала, который сейчас снимается нон-стоп...

Реальность, реальность, не её ли бесстрастно воспроизводят эти вполне чёткие фото? Сумка с плеча свисает, вот она, целёхонькая.

Почему же свидетель заранее зарегистрировался, но не счёл нужным обмолвиться хотя бы о своём участии в аукционе, почему, почему... Ну, не исключено, что какая-нибудь пустяковая причина его умолчаний выяснится назавтра, а пока-то, сейчас, не зацепиться никак за что-то сколько-нибудь серьёзное; тень на плетень... А с утра пораньше из Милана уже выехал разбираться сотрудник русского консульства, с минуты на минуту пронохают о ночном инциденте газетчики – шакалы-репортёры не зря шныряют, злобная свора скоро затерзает пресс-службу комиссариата звонками, мейлами, а к вечеру уже не отмыться будет от грязи телесенсаций. Да, телевизионщики и вовсе взбесились. Четыре жестоких убийства всего за одну развесёленькую недельку – это рекорд; ещё и расфуфыренный, в разноцветных шелках, наркоман-аргентинец, накачавшись героином, утонул перед финальной гонкой гондол в Канале; стоило, ох, стоило, одолевать по воздуху океан, чтобы захлебнуться фекалиями. И вот карнавал отчудил-отшумел, а дух не перевести, спокойствия нет как нет... Лаура сегодня обещала приготовить ризотто, но попадёт ли он домой к ужину?

А о чём ты думал, Массимо, когда сверх постоянной своей загрузки согласился ещё и детективный телесериал консультировать? Неужели не знал, что карнавал как раз после заключительных фейерверков преподносит сюрпризы, не знал, что время-то не резиновое, что прокурор в пиковое положение не войдёт, не даст спуску?

Однако...

Не поддаваться эмоциям, выпить ещё водички.

Ну как, охладился?

Не надо, спотыкаясь об очередной труп, только по той причине, что этот труп – русского происхождения, грешить на всемирный заговор сибирских нефтяных нуворишей! Не надо идти на поводу мифа. Навряд ли загадочный инцидент связан хоть как-то с серыми русскими деньгами, – урезонивал себя, выбрасывая в корзину пустую пластмассовую бутылочку, решительно отодвигая кресло, Фламмини, – не надо паранойи, не надо... Да, да, многоопытный и сверхпроницательный Массимо, заруби себе на носу: это локальный, штучный случай, негоже прикладывать к нему хоть какие-то остаточные мерки заболтанной политики, расшатанной международной экономики, раздутой в массмедиа конспиративно-заговорщицкой мифологии, негоже также вгонять случай этот в детективные, годами испытанные шаблоны. Да, Массимо, сыщик ты – хоть куда, но... стареешь, теряешь нюх, хватку? И впрямь – не ловишь уже мышей? Неужели в музей криминала и сыска тебя, отслужившего и заслужившего своё, пора, как восковую фигуру, сдавать? Не забывай: размышаются невидимые опоры, на которых от века дер-

жалась жизнь, вот и сами по себе преступления утрачивают исходные, годные для типологических рубрикаторов нацеленность и определённости, кажутся всё чаще немотивированными. Мотив, мотив... сейчас и музыка обходится без мотива. Разве тебе, Массимо, пусть и привержен ты традиционным, давно себя оправдавшим методам сыска, неведомо, что багаж полицейской академии в нынешнем хаосе призрачных выгод и интересов, когда самый успешный бизнес – торговля фикциями, превращается в мёртвый груз?

Одолеть инерцию, найти, найти оригинальный ход...

Легко сказать.

Встал, направился к открытой балконной двери, отразившись в стекле дверной створки, посетовал: начал полнеть, живот уже округло нависал над брючным ремнём.

Фламмини вышел на балкон.

Святая Мадонна, как всё ему осточертело! «Bellezza, bellezza, с рассвета до заката – bellezza», – раздражённо щурясь от солнечных зайчиков, проворчал Фламмини и промокнул платком лоб. Жарко, но кабинетный кондиционер как раз ко времени задохнулся; с утра – нестерпимо жарко, душно, ночные грозы с ливнями так и не принесли прохлады, нет и намёка на ветерок с моря – что ещё будет днём? Фламмини, коренной венецианец, знал наверняка: такое молочно-голубое замутнённое небо в марте гарантирует наплыв густой и липкой жары...

Удручённо подумал: не иначе, как я за компанию с писаками-детективщиками застрял в прошлом, детективщики ведь тоже не способны обойтись без мотива, вне поисков мотивировок убийства им никак ведь не закрутить сюжет. А удавалось бы и самой Агате Кристи отыскивать мотив тогда, когда рвутся осмысленные связи между людьми, когда зашкаливает абсурд?

Ему, во всяком случае, это не удаётся... А не отыщет мотив, так придётся ему без шанса на успех распутывать детективщину без сюжета.

Распутывать, когда не за что зацепиться, когда нет и ниточки, за которую можно было бы потянуть, распутывать, чтобы потерпеть предрешённое заранее поражение?

Смутно всё. Но интуитивно ощущал Фламмини враждебность бездушного и какого-то бесструктурного будущего, по-хозяйски взявшегося насаждать свою невнятицу в настоящем.

Если бы ему позволили закурить...

Положил пухлые кисти рук на потемнелый мрамор балюстрады: блёстки Большого канала, лодки... придурки с гитарами, а-а-а...

Покинувший полицейский комиссариат свидетель прогуливался у пристани San Angelo в ожидании вапоретто.

Да, свидетелю тоже не за что было зацепиться, он впервые – как на духу, впервые! – увидел погибшего, когда выпивали они локоть к локтю у стойки бара; даже не опознал в нём русского, за француза принял.

Почему же свидетель скрыл своё участие в аукционе? Не улизнул бы... Надо, чтобы Марио повнимательнее понаблюдал за ним, за его контактами, – решил Фламмини, мысленно делая пометку в блокноте. Хм-м, не похож он на тех, кто готов был бы тратить время-деньги на «осмотр чудес», на выслушивание сказок гидов, нет, он явно – не простая залётная птица. В «Хилтоне-Киприани» поселился; оплатил на три дня вперёд, выложив кругленькую сумму, индивидуальный глассер-челнок, снующий теперь по прихоти клиента между Джудекою и Сан-Марко; привычка к роскоши? Хм, хм, хм, – беззвучно шевелил губами Фламмини, – куры не клюют, рука руку моет.

И как угораздило меня вляпаться в эту историю? – недоумевал между тем свидетель. Мало ему угроз Кучумова, так ещё пристёгивают к незнакомому трупу... И благоразумно ли было промолчать в полиции о настоящей цели приезда, хотя само участие в аукционе серьёзных рисков и даже рутинных заморочек не обещало; сам ведь зарегистрировался по Интернету, посчитав, что и длиннорукий Кучумов не дотянется до него в Венеции. Стоило ли темнить в полиции? Снял пиджак, припекало. Завтра гривастый полицейский затерзает вопросы,

желая докопаться до причин скрытности... Из-за мелкой глупости может сорваться весь тщательно продуманный план. Но начал-то сам он с большущих глупостей, когда кучумовскую рать надумал игриво обвести вокруг пальца, а сам зарегистрировался под своей фамилией на официальном сайте аукциона, да ещё понадеялся при этом на эскорт-защиту от Габриэляна – как ясней ясного уже, подставился, добираться-то из Мюнхена пришлось на свой страх и риск, теперь же, без охраны, и вовсе остаётся он один на один «с абсолютно безопасным городом без насильников и грабителей». Ладно, тут уже ничего не исправить, он – под прицелом, возможно – под оптическим прицелом, но поскорее – к Сан-Марко, там сразу же пере-сесть на глассер; залечь в гостинице и носа не высовывать до открытия торгов, всё спокойно обдумать, тем более – одно к одному? – и день-то сегодня заведомо тяжёлый – понедельник, тринадцатое число. Но пока – три шага туда, три обратно – как же угораздило... на ровном месте... Чьи-то козни или стечение обстоятельств?

И с чего же, с какого неожиданного толчка все благие построения под откос покатались? С известия о смерти мамы? С убийства Габриэляна? Прибавил шаг: изрыгнув рыжий дымок, причаливал вапоретто.

Пожалуй, – вспоминал свидетель, – начиналась эта так угрожающе быстро запутавшаяся история с безобидного интервью о главных лотах аукциона, которое он давал службе ночных новостей на прошлой неделе.

## Контекст

– Республиканцы в Конгрессе заявили, что их целью является недопущение переизбра-ния президента Обамы на новый срок. Растущий дефицит бюджета, который вскоре пре-взойдёт валовой продукт США, а также соглашательская позиция президента по отношению к России, где бесконтрольно правят спецслужбы, а оппозиционерам затыкают рты... Марш на Вашингтон, подготовленный консервативным крылом республиканцев, так называемой «партией чаепития»...

– Тюменские хакеры, взломавшие вчера секретные серверы Пентагона, теперь угрожают серией кибератак крупнейшим корпорациям США...

– Под гнётом долговых обязательств Еврозона трещит по швам, – заявил Макс Керубини, нобелевский лауреат по экономике...

– Банк Ватикана уличён в отмывании денег... Председатель совета директоров банка Марио Драгонетти не намерен, однако, уходить в отставку...

– Время доллара как мировой резервной валюты проходит, – заявил лидер бурно разви-вающегося Китая Ху Дзинтау...

– Правящие в Лондоне консерваторы пытаются погасить скандал, разгоревшийся после секретного размещения Скотланд-Ярдом подслушивающих «жучков» в редакциях таблоидов, которые принадлежат...

– Англиканская церковь извинилась за растление детей в приюте в графстве...

– Французские имамы на своём ежегодном съезде в Париже потребовали от светских властей...

– Удивительно ли, что похоронную музыку заблаговременно заказывают имамы? – зло сверкнул щелевидными глазками бородатый бритоголовый толстяк-комментатор в необъятной сине-голубой куртке с многочисленными молниями и накладными карманами. Христианская цивилизация испускает дух.

– Ещё бы! – отозвался комментатор-визави, узколицый, в строгом костюме. – Террор политкорректности лишает христианство воли к сопротивлению.

Инга Борисовна Загорская очнулась: смотрела детективный телесериал о Венеции, тем паче что сама в Венецию намеревалась вскоре отправиться, но задремала в кресле – уста-

лость последних дней? Рассеянно послушав начало новостей, Загорская выключила телевизор и радио.

– Взрыв шиитской мечети в Пакистане унёс...

– В Ливии, в Бенгази, оплакивали жертв дружественного огня; от бомб и ракет демократической коалиции погибли...

– Сомалийская мафия в Мальмё, третьем по величине городе Швеции, практически управляет муниципалитетом, где в результате свободных выборов победили социал-демократы...

– Утечку нефти из скважины в Мексиканском заливе замедлить не удаётся, буровая платформа обесточена, убытки перевалили за...

– Пилот авиакомпании «Эр-Франс» Доменик Кулле сумел посадить в Париже тяжёлый аэробус на одну стойку шасси...

Германтов, потянувшись, вообразил аврал в аэропорту Шарля де Голля, смятение персонала, побелевшие лица встречающих.

– Революционер-политик и скандальный писатель Эдуард Лимонов заявил в прямом эфире телеканала «Дождь», что презирает лицемерный буржуазный протест, пригрозил вывести своих национал-большевистских сторонников на Триумфальную площадь вопреки запрету мэрии... Лимонова поддержала известная правозащитница, однако против него ополчились бывшие союзники из карликовых либеральных партий... Рок-музыкант Юрий Шевчук спел: «Осень, осень, что же будет с родиной и нами...» Последняя осень... последняя осень...

«Душевно спел, но не по сезону, – сонно подумал Германтов, – уже весна».

Виктория Бызова выключила телевизор, затем и радио: телесериал тянул резину, в новостях была одна и та же буза, а завтра – рано вставать.

– Новосибирская преступная группировка провела сходку с участием московских воров в законе в кабинете вице-губернатора области...

Германтов зевнул: полночь?

И интрига «Преступления в Венеции» выдохлась. Германтов рассеянно поиграл кнопками на пульте: одна обнажённая неотразимая девушка, другая и – ничуть не хуже первых двух – третья... Так, неотразимые мои, брысь.

– Математик Михаил Перельман, по сведениям Рейтер, отказался от премии в миллион долларов, так называемой «математической нобелевки», которую ему присудило авторитетное международное жюри за решение гипотезы Пуанкаре, названной «задачей тысячелетия». Взять интервью у гениального отказника не удалось, он скрывается от репортёров в своей малометражной квартире, в блочной девятиэтажке, на телефонные звонки не отвечает...

Пуанкаре? Не та ли это задача, которую... – даже простенькую мысль клевавший носом Германтов поленился додумывать.

– За нами бескрайняя страна и миллионы обнищавших, но остаивающих свободу и своё достоинство людей! Мы защитим Россию от диктатуры, а конституцию – от путинизма и путинистов, не позволим заткнуть нам рты, долой клептократический режим, долой, долой, долой, пока мы едины, мы непобедимы, долой... Скоро, очень скоро упадут цены на нефть, и тогда... – рослый кудрявый оливковый от тропического загара оппозиционер в дорогом костюме выступал на протестном митинге, где, по свидетельству пресс-службы московской полиции, присутствовало около трёхсот человек... «А недавно, – подумал Германтов, – тысячи были... А главная мечта прогрессистов-протестантов всё та же – чтобы цены на нефть упали, чтобы – чем хуже, тем лучше...»

– Разлив нефти в Мексиканском заливе грозит серьёзными экологическими... – двое волонтеров-«зелёных» пытаются отмыть перемазанного нефтью пеликана с печальными глазами...

– Наличие полутора сотен тонн мазута в танках потерпевшего неделю назад катастрофу на скалах Тосканы круизного лайнера «Конкордия» грозит флоре и фауне обширных участков уникального побережья... – Под угрозой оказался тончайший природный механизм внутри-видового метаболизма, позволявший устрицам в Тирренском море менять пол в зависимости от нехватки или избытка пищи... Так, до катастрофы устрицы мужского пола, испытывая голод, могли... а теперь... «Как, как же теперь? – просимулировал недоумение Германтов. – Голубые моллюски теперь не смогут, проголодавшись, превращаться в розовых, а насытившись розовые – в голубых?»

Ай-я-яй, что натворили...

Но не надо мазать всё чёрной краской:

– Однополые браки готовится легализовать парламент Шотландии, совсем скоро такие браки... Помешались? – показывают сидящих на мешках шерсти болванов-парламентариев в париках с буклями. – А Верховный суд США уже разрешил геям, находящимся на армейской службе, принимать участие в гей-парадах в военной форме, с боевыми наградами...

Ну-у-у-у, – хотелось спать, но щекотал внутренний голос, – усилия настырных гей-активистов не пропали даром, наконец-то половая справедливость и терпимость восторжествуют, – не только первые однополые свадьбы сыграют вскоре, не только на плацу, легализовавшись, намаршируются в своё удовольствие самые голубые из голубых беретов, но теперь – под перезвон орденов-медалей – и гей-парады с бравыми вояками во главе будут на загляденье, парады проникнутся патриотично-боевым духом, а вот ущемляемых в гендерных правах и утончённых сексуальных предпочтениях устриц жаль, до слёз... Германтов уронил голову на спинку кресла. Не пора ли всё-таки спать? И зевнул, выдавив из зева улыбку: до разрешения проблем устричного метаболизма пока мы, конечно, не доросли, но, – плоскогато пошутил внутренний голос, – мы тоже не лыком шиты, у нас есть как-никак гей-славяне.

– Уже в третьей стране Европы, Норвегии, после того как аналогичный случай зафиксировали в Америке, в штате Айдахо, обнаружены мёртвые птицы. Целые стаи, – таранился в камеру очевидец, – как камни, замертво падали с неба на шоссе и крыши... Учёные теряются в догадках... Вслед за прорицателями таблоидов обозреватели серьёзных европейских массмедиа – бумажных и сетевых – согласно заговорили о приближении конца света.

Fin de siècle, fin de siècle... – заждались? А в каком же кинофильме птицы недавно падали с неба? – вконец раззевался Германтов.

И – далёкое прошлое продолжает нас удивлять:

– Миланский исследователь Джузеппе Венти утверждает, что Марко Поло никогда не бывал в Китае, его знаменитая книга, избыливающая подробностями таинственного быта и кулинарии Востока, – плод мистификации.

Очередное откровение от очередного жулика, – вновь растягивал зевок Германтов, глаза слипались. – Как же, как же – рецепты макарон, мороженого, привезённые из Китая, тоже мистификация? Tagliatelle, tagliatelle... аминь. Это ли не креативный вызов, достойный двадцать первого века, – росчерком лукавого пера лишить Италию пасты? А на десерт – мороженого? Ай-я-яй, душными вечерами нельзя будет полакомиться фисташковым мороженым на площадях Лукки, Сан-Джиминьяно... А как любила Катя мороженое, – неожиданно уколола память. И тут же ему подумалось: придётся, чтобы авиапассажиров больше не дурить, «Марко Поло», главный венецианский аэропорт, переименовывать...

Теперь – на сладкое? – новости культуры:

– Знаменитое белое платье Мэрилин Монро и чёрно-красный пиджак Майкла Джексона, выставленные на торги в Лос-Анджелесе, проданы за рекордную цену...

Германтова успешно усыпляла эта актуальнейшая дребедень; уже не в силах подавить очередной зевок, он, чтобы не заснуть в кресле, выключил телевизор и бубнёж радио, отправился в ванную. Поток новостей, однако, не иссякал.

– Виктор Вольман, российский эксперт итальянской секции аукциона Кристи, сообщил нашему корреспонденту, что на ближайшем аукционе в Венеции будут проданы письмо Осипа Мандельштама Ольге Гильдебрандт-Арбениной, черновик статьи Николая Рериха, две акварели Юркуна, автограф Заболоцкого...

– Срочно, срочно, молния с ленты Интерфакса! Прорыв теплотрассы в Ульяновке, спальном районе Петербурга, привёл к отключению от горячего водоснабжения около ста тысяч горожан... Улица генерала Симоняка затоплена, кипятком затоплены также торгово-развлекательный центр «Парадиз», две автостоянки...

Вернёмся к новостям культуры.

– Премьера в театре «Док»... Актёр, читающий монолог Магнитского...

## Параллель

Упомянутый в теленовостях Виктор Натанович Вольман, окончивший, к слову сказать, английскую спецшколу и филфак МГУ, а попозже, в «лихие девяностые», высшую Йельскую школу менеджмента, крупный, одышливый и полноватый, но моложавый ещё, лет тридцати восьми, возможно, сорока, холёный мужчина с внушительными залысинами и редкими рыжеватыми волосами, выключил радио, продолжая поглядывать в телевизор: вечер за вечером мелькал забавный детективный телесериал, но вот и финал серии, на манер промежуточных финалов в сказках Шехерезады – в очередной раз озадаченный комиссар полиции уже морщит лоб, думу думает на балконе комиссариата, вот-вот по фигуре комиссара побегут титры; ха-ха, в ходком путеводителе «Афиши» – взял с полки, полистал – расписывают «абсолютно безопасный город, без насильников и грабителей, наёмные же убийцы в масках, с кинжалами под плащами, – уверяют писаки, – теперь присутствуют только на карнавалах», ха-ха-ха, роли распределены: рекламщики-утешители одним привычно вешают благодные макароны на уши, а телекино на сон грядущий другим впрыскивает адреналин? Исправно к полуночи заваливают Венецию трупами, не иначе как специально отпугивают слаонервных туристов или, наоборот, раздражают любителей острых ощущений и по негласному заказу конторы Кука серию за серией жёстко гонят, чтобы на запах крови продавать экстремалам со всего мира туры? Проверим, проверим, – усмехнулся Вольман, – как там, в «абсолютно безопасном городе», обстоят реально дела с преступностью. Однако, – бездумная усмешка растаяла на губах, он вспомнил об угрозах Кучумова, и ему стало не до смеха, – однако... отличима ли уже реальность от выдумки? У самых ушлых маркетологов мозги отсыхают: как ежевечерне-еженощно обновлять-раздувать конфликты, за какой ещё убийственный криминал хвататься. Да, сколько ужасиков, реальных и выдуманных, равноправно перелопачивается в доверчивых головах. Мне вот надо, – растягивал усмешку Вольман, – чтобы цены на нефть росли, такая вот халявная у меня планида, а революционерам надо, чтобы цены на нефть упали, тогда они свою халяву получают, надеясь, что вслед за ценовым обвалом упадёт к их ногам и кремлёвская власть; надежды юношей питают? Глупцов-юношей, фриков-юношей – если, конечно, это сейчас, когда признаки и даже полярные оценки равнодушно перемешиваются, не одно и то же. Ох, что-то невообразимое творится уже в новостной мешалке: вот и неподкупный Банк Ватикана превращён святыми отцами в прачечную; да уж, взбесился, съехал с катушек мир, повсюду – не слава богу! Мало нам, что клептократический режим бывших партноменклатурщиков на «мерседесах» с мигалками по колдобинам подкатывается к пропасти, а денежки вскоре придётся хранить в юанях, так ещё и в благословенной Америке птицы замертво с неба падают. Вольман подлил себе виски и, встав с кресла с гранёным фужером в руке, по мягкому нежно-розовому ковру подошёл к панорамному окну, сиявшему самодовольной иллюминацией лужковской Москвы, но посмотрел не в окно, а, слегка обернувшись, перевёл взгляд с экрана телевизора – интрига очередного «Преступления в Венеции»

выдохлась, но чем удивлять будут в новой серии? – на письменный стол; на столе был раскрыт ноутбук с фирменно мерцавшим на тёмной пупырчатой крышке надкусанным яблоком.

У Вольмана было много дел.

Очень много...

Но сначала – после глотка виски – заглянуть в электронную почту... О-о-о, – Витя, умерла... – Олег, двоюродный брат, сообщил дату...

Вольман упал в кресло.

Вольман с детства жил в Москве, в новой семье отца, виделся с мамой редко, последний раз – лет пять назад, да и характер у неё был «не сахар», знал лишь, что мама давно болела, но... смерть всегда неожиданна, точно обухом по макушке; теперь ещё и завтра в Ригу лететь, на похороны...

Вольман закрыл глаза.

Покачивался в кресле: вперёд-назад, вперёд-назад.

Дел – по горло, а время сжимается, похоронный день – как отдай...

А ведь помимо рутинной подготовки к аукциону надо ещё прочесть кипу рукописных листков – ксерокопию вручили сегодня.

Хорошо ещё что почерк разборчивый; чернила слегка выцвели, но всё читабельно. А заголовочек – с ехидным прищуром: «Разночтения»; и ещё был вариант, но перечёркнутый крест-накрест: «Разночтения в мышеловке»; возможно, этот вариант заголовка и стоило бы оставить.

Мда-а, факты, давно замещённые мифами, факты, в которые как в факты всё равно уже никто не поверит; реальность и выдумка – сближаются? Реальность и выдумка, сходясь, поигрывают нечёткими свойствами своими, и, как кажется, то, что называется реальностью, снижает... до поры, до времени?

Пока не грянет сенсация?

Грянет и превратит выдумку в непреложную, окончательную реальность?

Ещё как грянет, если, конечно, он сам сенсацию сотворит.

Выход из печати этого, судя по первому впечатлению – бегло пролистал ксерокопию, текст ещё не оцифровали, – мемуарного романа Вольман, собственно, и должен был превратить в сенсацию. Как всякий залежалый товар, роман – так себе... нет, не было в этих неряшливых, торопливо исписанных листках тока жизни, видит Бог – не было; текст явно уступал, возможно, более поздним, но давно увидевшим свет, давно расхваленным изливаниям-откровениям с модернистским душком; да, всё о двадцатых-тридцатых и литературной стойкости обречённых было давно сказано-пересказано, осмеяно и оплакано, всё давно утрамбовалось в головах мифоманов, и на тебе – ещё один бесформенный многостраничный шедевр безумного времени дождался, оказывается, своего часа среди бумаг, которые теперь, после смерти Дианы Виринеи Клименти-Мочениго, итальянской аристократки русского происхождения, выставлялись её наследниками на продажу. Да, шедевр дождался славы около семидесяти лет, а к Клименти попал, когда в глухие брежневские годы был тайно вывезен из Советского Союза, – стопа листов, похоже, подписана псевдонимом, причём игривым псевдонимом, что дополнительно сулит дешифровщику Вольману головную боль, да и стиль, как водится, погримасничает вовсю – ни слова не будет сказано в простоте, это уж точно, так тогда повелось. Однако Вольман назовёт в решающий момент подлинное имя автора – поломает для вида голову, но назовёт, по условиям игры должен будет назвать, – на глазах удивлённой публики разгадает ребусы, собранные из усмешливо зашифрованных фамилий, окарикатуренных портретов небезызвестных в своё время особ, и, найдя ход для пиар-раскрутки, раздует до небес литературную значимость манускрипта; выпуск залежалого романа и впрямь сможет потянуть на сенсацию – в расчёте на сенсацию манускрипт, собственно, и намеревалось выкупить богатое московское издательство, которое для отвода глаз – милая культурная причуда, отвлечение

газетных и сетевых психов, с пеною на губах алчущих неведомой справедливости для всех, от передела активов в нефтяном бизнесе – взяла под колпак Лубянка. Да, от выцветших листков вряд ли запахнет сколько-нибудь заметными деньгами, маленькая нефтяная скважинка при нынешних-то высоких ценах на углероды забьёт по доходам любую из сверхуспешных на рынке, обманно перехваленных прикормленными критиками нынешних книг-пустышек, но для Вольмана интерес заказчика был более чем прозрачен: издательство, ублажая помещанную на заумной, с запашком декадентской гнили, литературе дочь-крези, которая намеревалась прибрать издательство к рукам, взялся крышевать большой чин с Лубянки, вхожий в ближний круг президента. С его подачи и вышли на безотказного креативщика Вольмана, как-никак по первому своему образованию – дипломированного филолога. Соответственно, Вольману, крупному акционеру Лукойла и топ-менеджеру солидной британской инвесткомпании, руководившему слежением за финансовыми пузырями, надлежало отвлечься от делания денег из воздуха, а также отложить на время недурно кормящую его аналитику глобальных рынков, бизнес-рисков и – он, консультант нескольких добывающих компаний, о собственной выгоде не забывал – мониторинг биржевых нефтяных котировок, динамики налоговых льгот в швейцарском кантоне Цуг и кривых офшорных доходов, всё то, в чём почти никто из простых и даже высоколобых смертных ни бельмеса не понимал, тогда как Вольман, прозорливый манипулятор ложными трендами и теневыми миллиардами, заслуженно считался незаменимым «профи», и... Аукцион заведомо жалкий, итальянская секция Кристи и прежде не была избалована мировым вниманием, но это даже хорошо, что аукцион – жалкий, торги вообще не должны поначалу вызвать ажиотаж, он ведь и нейтральное интервью давал, чтобы усыпить бдительность, понимал, что никто из акул книжного бизнеса не клюнет на рядовое письмишко юного любвеобильного Мандельштама к Гильдебрандт-Арбениной; в планировании выгод от операций купли-продажи Вольману как финансисту и психологу, пожалуй, не было равных – сначала надо со скучающей физиономией сбить цену второстепенных бумаг, в перечне которых и затеряется манускрипт; не привлекать к нему внимание и лишь потом, когда стукнут три раза деревянным молотком, взорвать интернет-медийную бомбу; к тому же не всё ясно пока с авторскими правами, во избежание юридических ловушек действительно стоило как бы невзначай прицепить рукопись под скромненькой графой «личные бумаги» к другому, неприметному совсем лоту, зато уж после оформления купчей – да здравствует бестселлер! – дать утечку с жирными заголовками, запустить рекламную кампанию на полную мощность.

Нефть разливается, птицы падают, хакеры наглеют, геи победно маршируют, чиновники набивают карманы... – О, кто-кто, а Вольман отлично знал, какое ныне тысячелетие на дворе!

«Преступление в Венеции», конец – едва улетели титры, а комиссар, покручинившись, покинул нависший над Большим каналом балкон, замельтешили анонсы следующих серий.

Запустить рекламную кампанию, дав залповую утечку в жёлтую прессу, следовало с публикации вырванных из контекста и потому обидно хлёстких цитат – чтобы разжечь страсти, надо сразу, по-наглому, спровоцировать гранд-скандал! – Ха-ха-ха, – Вольман ослабил узел диоровского галстука, причмокнув от удовольствия, сделал большой глоток, – в чём проблема? Он уже представлял себе не только в общих чертах, но и в ключевых деталях технологию раскрутки к базарному дню будущего бестселлера: вовлечь в скандал более чем достойных людей – сына Слонимского, внука Маршака, племянницу Зошенко... Подобрать цитаты с учётом образа жизни и темперамента ранимых родственничков, престарелых, но ещё отнюдь не впавших в маразм, спрогнозировать их обиды и гневные реакции, можно для пополнения возмущённого хора и других заслуженных, но не у дел оставленных старцев вытащить из нафталина, тех, из сжимающегося кружка почтенных питерских интеллигентов, которые тужили, конечно, но – жили-поживали под привычным идеологическим прессом при коммунаках, брызгая ядовитой слюной на своих кухнях, а на людях набирая полные рты воды; теперь же

на любую провокативную наживку готовы клюнуть: никак, ну никак ныне не смогут они смолчать – и что же их, в славном замордованном прошлом своём скрытных, но недавно ещё, когда языки всем позволили развязать, открыто убеждённых антисоветчиков, теперь дружно, скопом, так назад, в «совок», тянет? То, что теперь они там, в промозгло-сыром, сером, как его ни поддумывай, Питере беднее церковных крыс? Бедные, но – гордые, как же иначе. На старости лет их, культурных реликтов, хлебом не корми, дай только повыкрикивать дежурные высокоморальные глупости, им бы только доводить потешные протесты свои до накала фарса: обличать тоталитарный режим и – следом за обличениями – стыдливо-жалобные, смоченные гуманистическими слезами коллективные письма-доносы и письма-просьбы наверх, главарям режима, подмахивать, потом... Вольман усмехнулся: кампанию надо будет вести по нарастающей – до истерического возбуждения блогосферы и сведения в злобно-пугливый хор всех негодующих выкриков моралистов, до итогового рекламного залпа по главным телеканалам перед открытием книжной ярмарки; да, подумал, надо будет заготовить съёмки двух-трёх постановочных сцен с перекошенными ртами, выпученными глазами, агрессивной жестикуляцией, чтобы видеозаготовки эти выдать потом за прямой эфир, прокрутив их в прайм-тайм. А сколько же лет было маме? Шестьдесят восемь или... Достал из бумажника фотографию – молодая, где-то на юге: стройная, в коротком облегающем светлом платье в косую полоску, на фоне пальмы. Крым? Кавказ? И кто же её снимал?

Заказывая по Интернету авиабилет в Ригу, Вольман соскользнул взглядом со стены, обитой вишнёвым штофом, на белую гипсовую, с тонкими вертикальными канавками и раскудрявой капителью колонну – мысленно он набрасывал бизнес-план пиаровско-рекламных спецопераций.

Впрочем, здесь-то всё ясно и просто, всё это – проблемы-семечки; Вольмана даже покорило слегка, что ему, привыкшему глобально мыслить, поручают палить из пушки по воробьям; правда, обижаться не стоило – «абсолютно безопасная» Венеция обещала ему двухдневную передышку...

Что же, грех жаловаться: и дух перевести можно будет в тонушем прекрасном паноптикуме, и лубянского генерала с дочерью его, не напрягая особенно мозговых извилин, под завязочку ублажить, чтобы затем с чувством исполненного долга и новыми силами вернуться к нефтяному консалтингу с финансовой аналитикой.

Исполненного долга, исполненного долга...

А что делать-то сейчас с просроченным долгом Кучумову?

Что делать – именно сейчас, не откладывая? Не отдавать же, выкинув белый флаг, пентхаус.

Отдавать или не отдавать – вот в чём вопрос, а если отдавать, то с какой приплатой? Вот тут-то и придётся поломать всерьёз голову. Но такое ощущение, что поздно ломать: возможно, старый бандюган уже отослал чёрную метку, а если ещё и не отослал, то вскорости отошлёт, за ним не заржавеет, уж точно он с последним предупреждением тянуть не будет; и Кучумову без разницы, по-барабану, как сейчас говорят, недвижимой натурой или в какой-то валюте отдадут ему долг – хоть в условных юанях.

Кучумов, угроза Кучумова – от его разведчиков и неуловимых киллеров на дурачка не спрячешься, все тайные вложения своих должников Кучумов обязательно обнаружит, на краю света самых изворотливых отыщет и грохнет; и стоило ли так рисковать, вкладываться в элитные бутики на Рублёвке? Вот над защитными мерами и надо было бы ломать голову, а аукцион, обречённый на сенсацию мемуарный роман, пусть и игривым псевдонимом подписанный, всё – семечки, какая-то шелуха.

Но от всего этого – не отвертеться; а прежде чем окунуться в подготовительную суету сует – согревающий душу глоток «Бурбона», пальцы запрыгали по клавишам, – Вольман отнял от московского времени три часа и понял, что ещё не поздно: захотел увидиться по скайпу

с Ариной, семилетней дочкой, которую после развода с женой и муторного дележа бабок отправил учиться в Лондон, в столицу беглой русской демократии, тем более что и апартаменты там за бешеные деньги успел прикупить, главные накопления, забыв на минуточку о немалом своём долге Кучумову, уже туда перекинул; девочка болезненно осваивалась на чужбине, скучала...

### Контрапункт

Ни в какие ворота! Сперва – комиссар полиции поблуждал в тумане, потом... Ну-ка: а дальше-то что? Страшилки, разборки? Как скучна наша жизнь... Но кто и с кем всерьёз конфликтует? Ещё страница, ещё... и дальше...

В недоумении?

– Позвольте, и в самом деле не вредно будет забежать вперёд хотя бы страниц на двадцать-тридцать, чтобы спросить – какое отношение к замкнутым рефлексиям-излияниям, помещённым ниже, имеют новостная дребедень с ленты информагентств, убогий теледетектив, какой-то лощёный циник Виктор Натанович Вольман со своими дурно пахнущими бизнес-планами и ночными заботами?

Неужели всё это, включая бессвязные промельки каких-то имён, – рецидив болезненной прививки сюжета?

Или – всего-навсего – захлёстывает нас пёстрая рутина абсурда, того самого абсурда, который, хлынув из виртуальных сфер в жизнь, мешает логически мыслить стареющему комиссару Фламмини?

Однако главный вопрос: какое отношение, – резонно переспрашиваете вы себя, – всё это, столь далёкое от интересов нашего главного героя, может иметь к профессору Германтову, именно к Германтову?

Казалось бы – никакого.

Но, поверьте, всё не так просто...

### Тема

С недавних пор Германтов стал просыпаться рано.

Штора задёрнута, но в кривую щёлку между полотнищами тяжёлой ткани проливается серенький мартовский рассвет, да, март уже... Издали, с моста через Карповку, доносится перестук трамвайных колёс.

В спальне, в тревожном сумраке, сгущающемся в углах, размывающим края платяного шкафа и вертикального бледного зеркала... что ещё там, что? С какой стати в спальню из гостиной, совмещённой с кабинетом, переехал старый отцовский письменный стол с открытым ноутбуком на зелёной суконной столешнице? Почувствовал прорезавшимся вдруг шестым чувством, что спальня хаотично загромождается... А это что? И тотчас же, сразу вслед за мгновенным коллапсом ощущений, увидел каким-то жадно расширившимся внутренним зрением, опередившим глаза – да-да, незачем было б и глаза протирать, – увидел, что в спальне, где всего-то три шага от кровати до шкафа, умещались уже квартиры, в которых он когда-то жил: и – кто наводил на резкость поначалу смутные очертания? – дом на Звенигородской улице, большущий, с заворотом фасада на Загородный проспект, с шикарным угловым гастрономом, его первый городской дом, и ещё – весь-весь, целиком, Витебский вокзал со шпаной, карманниками, послевоенными мешочниками, с фантастическим рестораном с пальмами в кадках и, конечно, с запахами пыли и гари, платформами, паровозами; а как – как из-под кровати, будто из-под моста, зависшего в мутной темени, могли выплывать, наползая одна на другую, разламываясь, крошась, плоские жёлтые льдины невского ледохода?

Спальня бесконтрольно переполнялась, в ней даже необъяснимо умещались уже города разных стран, тех, где довелось Германтову побывать на своём веку, во всяком случае, те места в странах и городах, которые будто бы произвольно, но предусмотрительно когда-то избирал для этого играющего с пробуждением сна видеоискатель-взор.

Вон там, за расплывчатой голубизной, за каскадом террас Сан-Суси и каменными цветочными вазами Люксембургского сада – осенний пляж в Брюгге с одиноким полосатым шезлонгом, за Шартрским и Миланским соборами – срослись в дивного готического монстра – львовские крыши, башни костёлов, бульвары, парки, кладбища, да, Львов – с Высокого замка.

Но ведь стены, потолок – не резиновые, того и гляди стены и потолок, распираемые изнутри спальни, разваливаясь, разлетятся во все стороны, кирпичный бой, бетонные обломки повалятся... Опасливо подтянул лёгкое пуховое одеяло, захотел с головой накрыться и уже не на шутку запаниковал. Как, как мне с постели встать? Удастся ли ужом пролезть в щёлку между пыхтящим паровозом с красными, заплывшими жирной грязью спицами на колёсах и мраморным углом сдвоенного собора? Вдобавок к острым этим опасениям, сомнениям испытал неловкость – за ним наблюдали: сквозь многослойные силуэты архитектурных памятников, природных и городских ландшафтов, платформ и огнедышащих тяговых механизмов МПС, неправдоподобно загромоздивших спальню, на Германтова поглядывали с сочувственным любопытством – каков он после них, спустя годы? – его бывшие возлюбленные, даже те далёкие юные возлюбленные, чью девичью свежесть и торопливые объятия, подаренные ему мимоходом, он успел позабыть. С удивлением – чего ради вновь обнажились, вернулись? – узнавал ничуть не изменившихся, по-прежнему ничуть не стеснявшихся интимных статей своих Сабину, Валю, Милу... ба-а, да это же Инна, да, ещё и щедрая на ласки, любвеобильная арфистка Инна небрежно запахивает после телесного шторма-штурма атласный алый халат и тянется к сигарете, заявилась в его спальню, покинув туманы памяти, будто и не расстались они почти пятьдесят лет назад! Из сумрака спальни так же призрачно выступали тут и там, узнаваемо приближаясь, давно отнятые смертью лица родных – всё ближе лазурное платье с вырезом на груди, плечи, шея, финифтяные бусы, улыбка – склонилась над изголовьем постели, как над колыбелью, молодая мама, выпукло блеснул лоб Якова Ильича, что-то отвечавшего с усмешкой Аняте, а вот Сабина в нарядном скользком своём белье, подойдя к зеркалу, молча принялась расчёсывать волосы. Тихо, но внятно, с безжалостной подлинностью зазвучали голоса, слова, давным-давно, в детстве ещё, услышанные и до сих пор – забывременно записывались на нейронную плёнку? – зачем-то сохранённые памятью со всеми индивидуальными нюансами тембров и интонаций, со всеми содержательными подробностями сказанного когда-то, однако – томительная секунда оставалась до пробуждения? – заглушив экспансивной речью своей переключку знакомых голосов, небрежно, как-то походя, отодвинув на задний план нестареющих дам-девиц в неглиже и покойных родичей, точно были все они, героини-герои прошлого, второстепенными персонажами, отыгравшими свои соблазнительно-сентиментальные мизансцены, в спальне и вовсе объявились двое чернобородых чужеземцев.

Один, с экономными, замедленно-выверенными движениями, монументально-коренастый, большоголовый, с лишённым мимики, достойным кисти иконописца восково-жёлтым ликом, был вроде бы в скромном вполне, хотя, если присмотреться, затейливо скроенном, удлинённом и складчато-свободном, с расклёшенными книзу рукавами, коричневатом сюртуке с широким отложным белым воротником. Лёгкую и быструю, но плечисто-внушительную фигуру другого – тёмные глаза сверкали молодой хитрой удалью и весёлостью – облегал франтоватый, даже роскошный, из винно-красного бархата с золотистым шитьём, камзол. Непрошенные гости не замечали тонувшего в постели Германтова, куда там, им явно было не до него! Озадаченно потыкав пальцами большой и тяжёлой кисти в клавиши ноутбука, коренастый пододвинул странную игрушку к соседу, и тот, как пианист-виртуоз у незнакомого

инструмента, длинными нервными пальцами осторожно тронул клавиатуру; затем, покачивая головами, они уже о чём-то горячо спорили, что-то живо – один, впрочем, хранил при этом суровость лика и монументальность осанки, тогда как возгласы франта сопровождалась пластичной жестикуляцией – обсуждали на своём языке, по-хозяйски прохаживаясь взад-вперёд вдоль длинного, неведь откуда взявшегося и неведомо как втиснувшегося в загромождённую и без того спальню антикварного резного стола с тонко исполненными тушью чертежами, мелко-мелко исписанными бумажными свитками, разбросанными поверх чертежей и свитков картонами с сочными оранжево-розовыми и нежными, серебристо-сине-зелёными масляными эскизами; тут же, меж бумагами, картонами – початая бутылка, блюдо с недоеденной дичью.

«И кто же, кто позволил им залезать в мой компьютер?» – беспомощно спросил себя Германтов.

Однако – не поразительно ли? – Германтову, задетому самоуправством и надменно-нагловатым невниманием гостей, тем не менее мнилось, что они, как в условном площадном театре, не только громко выясняли отношения между собой, не только с комедийной заразительностью разбрасывали свои осколочно-острые реплики-репризы по сторонам, дабы не дать заскучать незримо присутствующей толпе, но всерьёз обращались и к нему одному, дрожащему от волнения.

– Не гневайтесь, мой старший друг, не гневайтесь! – восклицал, вскидывая лёгкую длань, франт в бархатном камзоле. – Прекрасному вас не дано унижить...

– О нет, Паоло, Прекрасное унижено само в своей глубокой сути и от униженности этой умирает. Прекрасное грешно уничтожить Прекрасным! – убеждённо, с болью в немигающих очах возражал ему тот, кто назван был старшим другом, втягивая тяжёлую голову в батист отложного белого воротника; да, Германтов понимал музыкальную речь ночных визитёров, как если бы из-под одеяла изловчился читать титры, бегущие в сонных колебаниях мути под потолком, однако... вдохновенно-страстные, пафосно-театральные препирательства экзотично разодетых бородачей мало-помалу снижались в тональности и теряли свою энергию, выхолащивались, в осадок и вовсе выпадали какие-то нескладные, какие-то усыхающие, опресненно-безвкусные, если касаться слов языком, будто бы компьютером переведённые на русский фразы.

Ох, неспроста всё это, неспроста, – растерянно проскользнула в расщелине сна и исчезла мысль.

Стены спальни между тем не разламывались, лишь медленно-медленно, торжественно расступались, и, шипяще смыв с платформ струёй белого мягкого пара суетливый вокзальный люд, паровоз азартно задёргал колёсным шатуном, с протяжным сирым гудком покатило восвояси по краю отступающей ночи, а города, дома, священные камни истаивали, испарялись, и фигуры родичей, сопровождаемые причёсанной, надевшей юбку с блузкой Сабиной, уменьшаясь, терялись в укывисто-клубящейся удалённости, а вблизи в пепельно-голубом тумане растворялись, пока совсем не исчезли, плотная штора, окошко с форточкой, да и сам-то туман уже разрывался в клочья, уносился куда-то расчищавшим горизонты, освежавшим чувства ветром рассвета; в распахнутое высоченное арочное окно, слепившее солнцем, залетали смех и пение, брэнчанья струн, всплески вёсел. Так и подмывало вскочить с постели, прошлёпать по полу босяком, выглянуть и – увидеть Большой канал.

На мосту через Карповку колёсами протучал трамвай.

И тут же к далёкому ритмичному перестуку колёс деловито подключился под окном скребок дворника – вжек, вжек, и сразу за скребком – пронзительно, панически, словно запоздалое оповещение об атаке инопланетян, – пищалка противоугонной сигнализации: ви-и-и-у, ви-и-и-у, ви-и-и-у...

«Зеркало, точно мазок мастихина», – подумал некстати Германтов, окончательно просыпаясь.

Да, прежде в столь ранние часы он, несмотря на почтенный возраст, не знавший бессонницы – вскоре ему, вопреки внешне-обманчивой молодости и добываемой на корте спортивной подтянутости, исполнится семьдесят три, – крепко и безмятежно спал; обычно он читал или писал допоздна, укладывался за полночь, благо его лекции в Академии художеств начинались в одиннадцать, после первой лекционной пары часов, или и вовсе после полудня: на кафедре, составляя расписание занятий, учитывали, что по утрам знаменитый профессор-искусствовед, мэтр-концептуалист, как уважительно-иронично величали Юрия Михайловича, для краткости – ЮМа, между собой аспиранты и продвинутые старшекурсники, не любил спешить, ибо привык постепенно вживаться в заботы дня, а на лекциях своих, умных и артистичных – иные из лекций вынужденно высоко оценивали даже германтовские недоброжелатели, которых был легион, – ясное дело, не потерпел бы зевавших с недосыпа студентов.

И что же, сова-полуночница к утру чудесно преобразалась в жаворонка? С чего бы это? Пути и цели неисповедимы... Однако в программе ли, самом механизме биологических часов что-то радикально переменялось, привычка – по боку: ранним утром безотказно включался в нём беззвучный будильник.

Да, стоило рассвету забрезжить, необъяснимо-предупредительная внутренняя вибрация заведённо обрывала сон.

Что там, в анналах нерядовых побудок? Вставайте, граф, вас ждут...

Да. Не иначе, как и Германтова ждали великие дела...

Открывая спозаранку глаза, пытаясь покончить с назойливыми видениями и роением случайных мыслей, он торопился ещё до кофе сосредоточиться на скрытых противоречиях стены и фрески, издавна терявшихся в хвалебных ли, ругательных оценках инерционного восприятия, но ныне, совсем недавно, увиденных прозорливым Юрием Михайловичем, если угодно – ЮМом: отчётливо увиденных, будто метафизическую тьму расколола молния, в волнуящее новом свете, тем паче что абстрактные, казалось бы, противоречия между твёрдокаменными принципами и вольной кистью зримо, причём с редкостной полнотой, выражали и олицетворяли, как осенило, два великих венецианца, зодчий и живописец – современники, друзья, хотя вопреки близости своей – такие разные по творческим устремлениям, пожалуй – художественные антиподы. Германтов торопился сосредоточиться на комплексе идей, призванных не только посрамить ходячие представления и поверхностные восторги, но и кристаллизовать потайные, растворённые в былых гармониях сущности...

Идеи вкуче с попутными соображениями вели... Файл «Соображения» в сверхбыстром портативном компьютере распухал неудержимо... И как же столько всякой всячины уместилось в спрессованной безразмерной памяти? Так-то, едва родившись из тьмы, идеи, довольно-таки безумные и сами по себе, обрастали попутными и, как нарочно, престранными соображениями, но – будто одушевлённые! – вели к ещё непрояснённой до конца цели, подчиняли себе разнонаправленные позывы.

И властно подчинив себе прежде всего внутренний голос Германтова, требовали: сосредоточиться, сосредоточиться...

Да, теперь или никогда, теперь или никогда.

Да, март уже, до отлёта – всего-то ничего оставалось.

Он, физически крепкий, здоровый и – в такие-то солидные годы! – что называется, полный творческих сил, вовсе не торопился подводить жизненные итоги. Но интуитивно понимал, что, переминаясь у невидимого порога, готовится шагнуть в пространство своей главной книги. По драматизму, оригинальности и остроте идей, блеску стиля будущая книга обещала превзойти всё то, что уже написал Германтов об архитектуре и живописи, а он написал немало, причём смело и ярко написал, если пока не знакомы с его, заметим попутно, отлично издан-

ными и недешёвыми поэтому книгами, поверьте на слово или, заглянув в интернет-библиотеку, где выложены многие его тексты, бесплатно скачайте что-нибудь на выбор для чтения и удостоверьтесь в том сами; если же поленитесь в серьёзных материях копаться и разбираться, то попробуйте-ка в Гугле хотя бы сосчитать ссылки на его имя. Он, как и подобало Козерогам – гороскоп не соврал! – был целеустремлённым и чрезвычайно амбициозным, его парадоксальному искусствоведческому дару «предвидеть прошлое» – грезились издавна, с юных лет – суждено было когда-нибудь перевернуть коснеющий в «правильных», то бишь общепринятых оценках-суждениях мир искусства. И вот образ, да и способ грядущего переворота начинали склеиваться из разрозненных частных, волнующе прорисовываться мысленным взором и даже брошюроваться в привычную предметную форму. Многостраничный стусток идей-вопросов, идей-пружин, идей-стрел, будущая книга: он её видел – и это вовсе не сказка для легковёрных, – именно видел ненаписанную свою книгу изданной, превосходно изданной! Пуще того: книгу ещё не переплели, не выдержали под прессом, страницы с лесенками строчек ещё трепетали в сознании, а он осязал подушечками пальцев льдистый глянец суперобложки, шероховатую твёрдость обложки, лёгкую прохладу тонкой гладкой бумаги и втягивал ноздрями дразняще-свежие типографские запахи, перелистывая свою главную книгу, такую желанную; не мог не подивиться соразмерности её частей-разделов, невообразимой, изобретательно-сложной уравновешенности всей её композиции, её объёмности и невесомости. Видел, осязал, обонял, однако – легко ли объяснить такое? – пытался раз за разом ненаписанную свою книгу вообразить, а мечты волнующе обгоняли спешившие к материальной конкретике многостраничные образы... Кстати, как подметил кто-то из мудрых оценщиков Прекрасного, истинное творение сравнимо лишь с чудным дворцом, воздвигнутым на острие булавки; недурно, а? И вот настал час: теперь – вовсе не когда-нибудь в туманном будущем, – теперь, пока годы не успели сбить прицел мысли, а мечты о совершенстве замышленного не увяли, Германтову надлежало всего-то мобилизовать свой немалый опыт построения обратных временных перспектив и укрупнения в них художественных тайн минувших веков, чтобы затем, резко приблизив удалённые времена, освоившись в призрачной анфиладе обратной перспективы, найдя точку схода основных её линий и убедившись, что искомая точка эта находится в нём самом, где-то в мозговой извилине или, пуще того, в зрачке, перейти к аналитическим выкладкам и концептуальным обобщениям; надлежало взять голову в руки, сосредоточиться, чтобы привести в действие, дабы перевернуть-таки закосневший мир, волшебный рычаг.

Опыт, немалый опыт; да ещё – оковы времени, возраста? Никогда ещё опыт не спасал от беды...

Груз опыта... балласт опыта?

Разбить оковы, а балласт – за борт и, доверяясь порыву, взмыть?

Ну да, на кой ему синица в руке? Взмыть, взмыть, догоняя журавля в небе...

Дворец на острие, журавль... Образ книги манил, уточнялся, но пока всё же не укладывался в единственно возможные, окончательные слова.

Он – уверенный в себе, по мнению многих, тщеславно-самоуверенный, – теперь искал и находил мельчайшие изъяны в давних и текущих своих умозрениях-рассуждениях, придирался даже к рабочим заготовкам, если не сказать – к болванкам идей, предварительным и чисто игровым допущениям неокрепших мыслей, отвлечённым картинкам, нежданно и неудержимо, докучливее, чем спам, всплывавшим из запасников памяти, как если бы приспичило ему – в порядке планирования мирового переворота? – мгновенно прочистить мозги и отбросить за ненадобностью всё отвлекающее, всё побочное из того, что нафантазировал, узнал, понял, сформулировал для себя за долгую свою жизнь. И всё чаще попытки оптимистичных самовнушений – разве не всё хорошо, прекрасная маркиза? – как и наказания утренней самодисциплины, разъедались тоской и мнительностью, болезненными, с замираниями сердца, сомнениями.

...Ви-и-и-у, ви-и-и-у, ви-и-и-у, ви-и-и-у – обрыв...

Пищалка – слава богам! – заткнулась.

Но за стенкой безвестный школяр-пианист, забыв о времени суток, заиграл «Собачий вальс».

Ещё повезло, не колотил в барабан...

А Германтов думал: бегут, нервно кружат и обманчиво, будто б навсегда, замирают на месте, но всё же бегут, бегут, заведённые, описывают с взаимно скоординированными скоростями круг за кругом ненавистные секундные-минутные-часовые стрелки, а как же выглядит циферблат судьбы, если он – не мнимость, если он в каком-то измерении существует? И – если всё-таки существует – как меняется на нём знаковый шифр-узор, отзываясь на повороты, сбои и гримасы судьбы?

Вообще-то Германтов отличался не только хорошим физическим здоровьем, за которым, кстати, регулярно следил – не далее как вчера проверялся у уролога, с неделю назад – у кардиолога, – но и здоровой психикой, отменным самообладанием, не хандрил, не впадал по пустякам в мизантропию, не мучился мировой скорбью, в общении, на людях, при своей-то амбициозности, целеустремлённости и вовсе мог бы служить эталоном сдержанности и невозмутимости. Однако здоровье тела и духа вкупе с завидными поведенческими навыками ничуть не мешали ему находиться в плену суеверия, согласно коему холодная рука Зла норовит отобрать у творца в решающий миг творения его торжество, его... А пока накатывало волнение, бросая то в жар, то в холод, влекущее желание, которое он теперь испытывал, вопреки кажущейся размытости адресата, было, к слову сказать, эмоционально куда сильнее и прицельнее – бывает ли так? – прежде пережитых им любовных желаний; будто и не прошёл он, почтенный и увенчанный премиальными лаврами, охотно цитируемый учёный муж, мэтр-концептуалист и прочая, и прочая в своём прстранном, содержательно неопределимом, призрачном, по сути, деле-призвании искусствоведа огонь и воду с медными трубами, а впервые и только что услышал дразнящий зов замысла, будто впервые пробирала такая дрожь...

Опять двадцать пять: Германтов вдохновенно к своему манящему творению устремлялся; прислушивался к разрозненным подсказкам небесного суфлёра, выкладывал из догадок, словно из цветистой смальты, мозаику смыслов-образов и – молился, молился жалко, как молятся атеисты, не зная, к кому обращаться, кого молить о том, чтобы не поломали амбициозно-благие планы злые или равнодушные силы; боялся накладок, зловредного стечения обстоятельств, способных сорвать намеченную им на середину марта – по окончании венецианского карнавала, когда прощально рассыплется огни в чёрном небе, схлынет с площадей и набережных крикливая разряженная толпа, – поездку «на натуру», в равнинно-холмистую, со старинными виллами меж рошицами, полями и виноградниками, область Венето, лежащую к северо-западу от Венеции, благословенную, хотя природно неброскую область Венето, куда он, само собою, неоднократно уже наезжал. Мягкие зелёные ландшафты, светлые городки с сельскими празднествами под пятнистой солнечно-сизой сенью платанов на уютных их площадях и, конечно, неотделимые от природной оправы старинные виллы, памятники утончённому патрицианскому быту, там, на terra ferma, на суше, или на «твёрдой земле», как говаривали с покровительственными улыбочками-ухмылочками прижившиеся среди волн, ряби и блещущей глади гордецы-венецианцы, издавна были ему хорошо знакомы, но теперь, после удара молнии, он обратил взор свой к одной-единственной вилле в обширной коллекции тех старинных вилл, той, прославленные расписные интерьеры которой по стечению обстоятельств – прибыл не ко времени, поцеловал замок на воротах – пока своими глазами не видел. Так-то и раньше исследовательский нюх Германтова не обманывал, он привык доверяться своим художественным предчувствиям, теперь же и вовсе не мог унять пыл: взыскующий взор неудержимо потянулся к отлично сохранившейся вилле Барбаро в Мазере, близ Тревизо,

вилле-фреске, чудесной, несомненно, чудесной и – благодаря чудесности своей? – подробно, если не досконально, изученной.

«Собачий вальс» выдохся, закрылась, глухо стукнув, крышка пианино; слушал, как затихало эхо.

Потом слушал тишину... Капало из крана?

И ещё с посвистами – порывисто – взывал ветер.

И прислушался: негромко, но различимо – в паузах между свистящими порывами ветра – закаркали на разные голоса вороны; и вот уже слитно и плывуче зазвучал грай всей возбуждённой стаи, праздновались, похоже, вороны свадьбы.

Исследовательский нюх не обманывал... Не мог унять пыл, однако... Что ещё за напасть?

Художественный соблазн? Искушение? Приступ вдохновенной твердолобости, обострённый старческими чудачествами, *idea fix*? О, в крохотной вилле таился грандиозный художественный сюжет, в нём была свёрнута протяжённая драма искусств, да, пожалуй, и вся культурная история постренессансной Европы...

Но сколько же можно заклинать себя, толочь в ступе сладко-кислую жижу желаний и пугливых предостережений...

– В Мазер, в Мазер, – перебивал сомнения и боязливые суеверия внутренний голос, – теперь или никогда!

Там, в Мазере, добравшись до виллы Барбаро, хотелось всё-таки верить Германтову, услышит он ключевую подсказку Неба, там, на натуре, в ауре самого памятника и сложатся окончательные слова...

*Idea fix, idea fix...*

А где же холодность аналитического ума? Он ведь числился как-никак – с реестром налоговой инспекции, во всяком случае, не поспоришь – в научных сотрудниках. «Вы, Юра, – вскоре, всего лет через пять-шесть, когда он полнее себя раскроет-проявит, покажет, на что способен, многие из близких коллег, знакомых и даже кое-кто из приближенных только шапочно начнут с чуть шутивным почтением, а затем, отдавая должное, и всерьёз называть его ЮМом, по первым буквам имени-отчества, так вот... Вы, Юра, сразу себе подрежьте крылышки и очертите рамки», – в один голос наставляли его в незапамятные времена студенчества нудноватые факультетские корифеи, возглавляемые профессором Бартеневым, когда новичок, зелёный ещё, резвый, кудрявый и самовлюблённый смутьян, заострил перо вовсе не для терпеливого покорения академических ступеней и степеней, а для того, чтобы с ходу ошарашить город и мир неожиданным насущным словом. «Не выдавайте за научные прозрения бесконтрольные игры воображения», – покачивал головой вообще-то благоволивший к юному смутьяну Бартенев. «И не спешите опровергать и отвергать классиков, строителей нормы, – подключаясь, хором долдонили ему бартеневские ассистенты, а у него, гордо и отважно гнувшего свою, заведомо отнюдь не прямую линию, будто бы заложило уши. – Свыкайтесь, Юра, с ролью беспристрастного истолкователя художественных произведений, вовсе не их мятущегося соавтора». Когда это было... Теперь же ему и по возрасту, мягко говоря, зрелому, если не перезрелому, и тем паче по высокой и почётной должности, заслуженно занимаемой им на кафедре, давно полагалось-вменялось охладить пыл и образумиться. Ему бы не забывать о затверделом упрямстве фактов, оприходованных наукой, ему бы ясно и строго мыслить, да так, чтобы в системе доказательств себе и неосторожного шага влево-вправо от укатанной стези стереотипов не позволять, а он цветными туманами упивался.

Странно всё это – снизойдёт ли, не снизойдёт заоблачная подсказка... очень странно; идти туда, не зная куда? Нет, нет, он знал, куда влечёт... рок событий? Типун на язык. Да, знал, несомненно, знал, куда надо ему идти, точно знал, что, где и как искать, чтобы достичь своей, такой притягательной цели. Пора было зубную щётку и рубашки укладывать в чемодан; однако нетерпение и поисковое напряжение по мере ситуативного приближения к цели росли при всех

его познаниях, изрядно к тому же пополненных и уточнённых при подготовке к поездке, довели до дрожи.

Вроде бы цель – близка, он дрожит от нетерпения, скоро, скоро вожаемые объёмы-пространства вкупе с раскрасивыми росписями виллы Барбаро станут достоянием въедливых глаз, преобразятся в свете концептуальных идей, хотя...

Странность этих мечтаний-ожиданий прежде всего проявлялась в том, что он дрожал от волнения-нетерпения, как первопроходец, хотя исследовательское поле давным-давно было вытоптано.

Да он и сам уже знал назубок контекст – да-да, это не эмоциональная обмолвка, действительно назубок; знал контекст, как знают и запоминают нечто законченное, конкретное и, главное, давно наукой освоенное, – тут никакого нет перехлёста. Компьютерный файл «Историческая сцена и биографии» описывал круг активно действовавших в угаданной им драме и лишь косвенно причастных к ней, но ко времени выглянувших из-за кулис забвения лиц, а описав круг, приблизив и, следовательно, укрупнив избранных героев, будто бы и самого Германтова приглашал как посвящённого в этот идиллический круг истлевших столетия назад, но услужливо к нужному моменту воскресших в телесных и творческих своих ипостасях богоподобных баловней Провидения, тех, чьи пристрастия, черты характеров, ролевые маски сейчас именно Германтову в свете его замысла могли бы быть особенно интересны; в дополнение к собранию оживших портретов файл был буквально набит ещё и бытовой, политико-социальной и художественной фактологией того достославного венецианского века, когда творили гиганты. И, конечно, верилось Германтову, натренированному идти против течения лет, что он не только знал формально контекст, не пренебрегая даже пёстрым множеством необязательных мелочей, сведения о коих в лучшем случае выносятся в примечания, набранные петитом, но и приближался к тревожному пониманию разрушительных художественных тенденций, издавна вызревавших за счастливыми декорациями ушедшей эпохи великого и, как верится до сих пор, жизнестойкого и жизнерадостного искусства. Ему верилось даже, что вот-вот он вдохнёт её, эпохи той, пьянящий заново воздух и... Останемся, между тем, на рациональной почве: он ведь уже видел на экране монитора всё то, что могло бы поразить и сразить его там, в Мазере, много-много раз в тончайших подробностях и едва ль не под лупой видел – на достоверных, внешне, по крайней мере, неотличимых от подлинных, чертежах и развёртках, на изумительных, отлично передающих цветовые нюансы росписей фотографиях; в них, переливчатых росписях тех, ярких и радостных, вряд ли кто, кроме въедливого и сверхзоркого Германтова, отыскал бы признаки тлетворно-разрушительных, нацеленных в будущее, «дальнобойных» тенденций. В памятьливом компьютере, в файле «База», содержались к тому же детали архитектурных обмеров виллы: манёвр мышки, слабое нажатие клавиши – и лёгкие наполнялись свежайшим, вдохновлявшим до сих пор воздухом прошлого: увеличивался, заполняя собой хоть и весь экран, любой из выисканных профилей карнизов, любой фрагмент дивных фресок... И почему же ему, так основательно оснащённому чудесными визуальными аргументами, было не по себе? Что могло подтвердить и прояснить смутные, безадресные пока подозрения, вызвать новые опасения, напугать? И – забудем временно о спутанности мыслей и душевных тревогах – что дополнительного к богатствам компьютерной памяти сулила ему натура? Шевеление теней на ноздреватой штукатурке... запахи цветения или увядания... пение птиц и шорохи листвы... дождь, солнце, ветер... облака, бегущие над холмами. И чего ещё не доставало ему, знавшему контекст, владевшему особой поисковой оптикой и, в пику угрюмым педантам, питавшему неодолимое пристрастие к оригинальным, если не сказать – сверхоригинальным, суждениям-построениям, суждениям-провокациям, суждениям-прорицаниям, скрепящим так, как один он умел, жанры углублённого исследования и воспаряющего эссе и – при всём при том – ломающим норму? По Германтову, норма охраняла равновесие банальностей и ложных представлений, он же, по своему обыкновению, посягал на это привычное рав-

новесие ради порождения непреднамеренно-новых идей – не зря многие его идеи считались безумными, не зря! – он готовился и на сей раз эффектно выпрыгнуть из скучных, заведённых в цеху искусствоведов порядков; итак, вернёмся – что ещё помимо случайных черт на трепетном лице природы понадобилось ему именно там, в Мазере, у реальных, виртуозно вмонтированных в пейзажи фасадов и внутри декоративных, сплошь расписанных, иллюзорно-растительных и гротескно-театрализованных интерьеров, высматривать для удовлетворения своих разыгравших на старости лет амбиций, когда даже жития заказчиков и первых владельцев виллы братьев Барбаро, Даниэле и Маркантонио, блестящих и успешных во всех своих главных начинаниях интеллектуалов венецианского чинквеченто, до дня были выписаны биографами, а уж саму-то виллу несколько веков осаждали желавшие подивиться на миниатюрное чудо-юдо зодчие со всего света – вспомним хотя бы близких нам Кваренги и Камерона, которые отправлялись в долгий путь из России, по несколько недель вытрясали души в почтовых каретах ради урока зримой гармонии, сравнимой разве что с летуче-прекрасным сном. И уж, само собой, более чем хватало разного рода романтических бродяг – искателей художественных приключений, паломников от искусства, которые, приобщившись и наглазевшись, поразившись и восхитившись, щедро делились затем с культурным человечеством в салонах Европы своими восторгами; повторим: к нашим дням вилла Барбаро была уже не только на разные голоса воспета счастливыми очевидцами как реальный островочек земного рая, но и дотошно обмерена и, главное, отснята-оцифрована со всеми её сводиками, нишками, карнизными гуськами, полочками и, конечно, мельчайшими – то трепетно-прозрачными, словно вкрапления в твердь камней цветистого воздуха, то материально-густыми – мазочками краски.

Всё это, однако, вопреки текущим сомнениям-опасениям, по большому счёту ничуть не смущало Германтова.

Ну что с ним поделаться?

Года, известно, к суровой прозе клонят, а он, без пяти минут юбиляр, словно пылающий страстями мальчишка, спонтанно доверялся и покорялся возносящему поэтическому порыву; вершин достиг в научной карьере, поседел – пожимали плечами, чего ещё ему не хватало? – но никак не мог утомониться; да, не утратил способности удивляться, а уж как любил удивлять...

Ну, скажите, не авантюра ли затевалась им? С первых строк своей новой книги он намеревался удивить уже выбором своим, намеревался ткнуть указательным пальцем в известную всем, кто хоть сколько-нибудь сведущ в предмете, хваленную-перехваленную точку на необозримой карте искусства, чтобы затем, удивив минималистским выбором, приняться как бы невзначай срывать священные бирки и этикетки; да-да, сия точка, исток идей и энергий будущей книги, образно говоря, ещё и должна была послужить ему, лепщику чудного текста-дворца, булабочным остриём.

Авантюра?

И – не забудем – *idea fix*.

Только и остаётся, что повторять: да, затея проще некуда, однако в его авантюрном духе! Историки и знатоки искусств всех просвещённых веков и народов устали восторгаться, а он, зрящий в корень, пронизательный, как никто, развернёт старинный камерный и будто бы замкнутый художественный сюжет в актуальную вселенскую параболу и – удивит, обязательно удивит, не исключено, что и ошарашит и тех, кто образован и внутренне готов к переосмыслению заштампованных парадоксов синтеза архитектуры и живописи, и, разумеется, тех, дышащих в затылок неучей с равнодушными глазами, кто острому взгляду-ракурсу на шедевры давно минувших лет предпочитает жвачку из Интернета, кто поспешил на нём, Германтове, поставить крест, посчитав человеком прошлого! Заранее услышал эканья-меканья с якобы вежливыми откашливаниями, увидел кривые скучающие усмешки, представил, как ревниво листают его будущую книгу коллеги невысокого полёта, как, пролистав, а то и прочтя с пятого

на десятое, рассыпавшись в дежурных похвалах при встрече с ним на кафедре или в академическом коридоре, иначе её потом меж собой оценят.

– Чему удивляться? Для Германтова по-прежнему нет ничего святого.

– В этой книге он усугубил недостатки всех своих прошлых книг: уход в крайности, явно избыточная философичность, перегруженность деталями.

– А громоздкость композиции?

– Непонятно даже, что на чём в этой машине держится.

– И, как всегда у него, телега впереди лошади.

– Конечно, это же его фирменный принцип: он ставит искусство впереди жизни.

– Да ещё неуместные личные излияния.

– Добавьте сравнения, которые он берёт с потолка.

– Фирменный стиль ли, печать психопатии, как хотите, так и обзывайте, – палец медленно вертится у виска. – Он ведь – не забыли? – даже не постеснялся Джорджоне с Хичкоком сравнивать!

– Да, он в своём разнузданно-разудалом постмодернистском репертуаре, язык без костей, а выводы, как всегда, притянуты за уши, – откликнется с гаденькой гримаской тот ли, этот из близких доцентов, перебирая, будто чётки, корешки-вершки каталожных карточек. Роль интерпретаций растёт, спору нет, однако Германтов, похоже, вконец свихнулся, фантазии, которыми он без стеснения упивается, одним махом отменяют объективные факты.

– Всё хуже! Наш многоуважаемый ЮМ не отменяет, а выхолащивает факты и жульничает, заигрывается фишками; он не концептуалист, которым слывёт, он шулер и подтасовщик.

– Наплодил фиктивных сенсаций...

– Да ещё сумел им придать надлежащий лоск...

– Почему-то сенсации-однодневки – живучи, почему-то любые измышления и идейные подставы ему прощают...

– Сила внушения? Он-то уверен, что всё, что ни напишет, сойдёт за новое слово, но мы почему играем по его правилам?

– Считает ниже своего достоинства хоть что-то доказывать! Спровоцирует драку, чтобы кони с людьми смешались, а потом ехидно на кучу-малу посматривает.

– И когда всё это начиналось?

– Давно. Помните его веснушчатую пассиву, Гарамову – видную такую, с норомом? Так отец её, говорят, был большой шишкой во внешней разведке, под дипломатическим прикрытием за границей жил, он-то, говорят, и потащил волосатой ручищей Германтова наверх.

– Но как же столько лет Германтову удаётся дурачить публику?

– Изворотливая отсебятина – на каждой странице!

– Отсебятину-то как раз и выдаёт он за самобытность, да ещё и обнажается, бравидура самобытности ради своими изъяснами, подмешивает к наукообразным рассуждениям личные откровения.

– Да, личные излияния-откровения.

– Эксгибиционист!

– Несомненно. А всякий замысел нашего псевдоискреннего безответственного ЮМа – вымысел.

– Ненаучная фантастика?

– Антинаучная.

– Причём вовсе не безобидная. Своими провокациями-сенсациями он убивает сам жанр искусствоведения.

– Убивает? Это уж чересчур, скорее – измывается над традицией. Но жанр по милости неразборчивого в средствах Юрия Михайловича опасно мутирует.

– Да, в «Стекланном веке» вдребезги всё, что вроде б устоялось уже, разбил.

– Он, – со вздохом, будто последним, и с уморительно-скорбным видом, – ворует наш воздух, вскоре нам нечем будет дышать.

– А какое самообладание? Горазд взбивать из пустоты пену без тени сомнения на лице, артист.

– И вечно снисходительно-презрительная у него мина.

– Законченный сноб!

– Да... трезвая самооценка ему не грозит, а как глянет... Не знаю, как вы, а я чувствую, что под взглядом его превращаюсь в пигмея.

– И не иначе, как все мы, все, перед ним виноваты.

– Когда он и свысока глядит, то всё равно думает о чём-то своём.

– Исключительно о себе любимом и выдающемся круглые сутки – во сне и наяву – думает!

– При этом пыль в глаза не забывает пускать.

– Смешивая пыль с перцем!

– Позёр, во всём позёр – и в лекциях своих, и в книгах.

– А в какой артистичной позе, чуть склонив голову, он любит перед лекцией между сфинксами постоять! – палец вертится у виска. – Наш задумчивый гений на берегу пустынных волн...

– Да, не совсем нормален он, не совсем, я частенько из окон зальной анфилады за ним наблюдаю... Может быть, на него там, у воды, что-то возвышенное, что нам не понять, нисходит...

– Помните его книгу о Кандинском? «Купание синего коня»... Синий был, по-моему, всадник!

– А конь – красный!

– И вовсе не у Кандинского!

– Ему бы сначала удивить-ошарашить, а к середине книги – надейтесь, господа, надейтесь – что-нибудь соблаговолит объяснить с натяжками...

– Позёр и фразёр!

– Это бы ещё полбеда! Вспомните лучше его «Письма к Вазари». Чем не рекорд самолюбования, панибратства и высокомерия? Вспомните, как он мысленно прохаживается с Вазари по коридору-мосту над Арно, как он поучает Вазари. Пародия на самого себя... А в этой книге, последней, – завистливым шёпотом, – и вовсе все сомнительные рекорды свои сумел переплюнуть.

– Намёк улавливаете? Вазари открывал дверь в мировое искусствоведение, Германтов, наш последний из могикан – закрывает дверь за собой.

И кто-то, отложив газету, бросит не без злорадства:

ЮМу уже за семьдесят, так? Похоже, уходя от нас, решил хлопнуть дверью.

И непременно кто-то с кивком добавит:

– Услышат ли хлопок? Давно все объелись псевдосенсациями, осточертели цинизм его и гонор, толкающие раз за разом опробовать новые пиротехнические эффекты.

– Новые? Думаю, он окончательно исписался.

– Если честно, прощальный хлопок услышать могут в прекрасной Франции. Там с распростёртыми объятиями Германтова встречают.

– Но и там прежде не всё обходилось без шероховатостей, с налёту не сумел соблазнить французов своими бредовыми догадками насчёт растреванности Джорджоне... Ему чуть ли не дали от луврских ворот поворот. Премию-то за домыслы о Джорджоне с помпой вручили ему в Италии, вот где понежился в ореоле славы...

– Да, ёрничал, не стеснялся с наихудшей стороны себя демонстрировать, лез на рожон, вот и не склеивался у него альянс с Лувром.

– А теперь? Неужели и щепетильные лягушатники заглотят наживку, эту итоговую чудовищную книгу обманов на «ура» примут?

– Вот тут я не удивлюсь... Его в Париже принимают уже как международную штучку! Да и с упёртым Лувром «водяное перемирие» действует; музейщики гордыми принципами не спешат поступиться, однако не прочь Германтова к «своим» агентам влияния за натуральный прононс причислить.

– Ещё, наверное, узнали теперь про двойную фамилию, умилились...

– Не поверю, что он от них утаивал вторую половинку фамилии, с первого знакомства хотел понравиться.

Ну а в заключение кто-нибудь из подающих надежды на административную карьеру, кто-нибудь из молодых да ранних кандидатов наук, выталкиваемых наверх ректоратом, успешно подменившим партком в своей борьбе за посконную идейность в искусстве, для общего согласия-успокоения непременно с напускным сожалением промолвит:

Германтов всё-таки – дутая величина.

Затем, как водится, не заставят себя ждать и поношения-осмеяния в желтеющей прессе под безобидным девизом: «Не всё то золото, что блестит».

Пусть почешут языки... плевать хотел.

Впрочем, завистливое злословие бездарностей не могло не поддерживать в нём боевой дух.

Фильм готов, его только надо снять, объявил однажды один из мэтров французского кино. Так и у Германтова: книга готова, её только надо написать; и он напишет, выбросив мысли свои и накопленное волнение на экран монитора, а затем – на бумагу: напишет, причём быстро, на одном дыхании, но, разумеется, без аврала – с чувством, но – с толком, расстановками...

Увидит своими глазами виллу Барбаро и – напишет!

Прочь, прочь сомнения. И плевать на сумрачные намёки воображаемого циферблата судьбы. Германтов верил в исключительность и глубину замысла, в магическую силу собственной проницательности; намеревался в очередной раз успешно применить эксклюзивное своё ноу-хау: приземлиться в ближайшем к вилле Барбаро аэропорту, в Тревизо – приземлиться, увидеть и, преобразив общеизвестное в оригинальное, – удивить и, стало быть, победить.

Короче, воображение разыгрывалось.

Предвидя на свой лад почти пятисотлетнее прошлое, вытаскивая на свет божий подспудные тенденции и расшифровывая тайные умыслы стародавних творческих озарений и мук, Германтов намеревался непосредственными впечатлениями от утончённо-прекрасного и заслуженно – пусть так, заслуженно! – воспетого памятника вечному гедонизму испытать на логическую прочность как интуитивно-эмоциональные, так и умозрительные допущения кабинетного этапа своей работы и после удачного их испытания, после освоения визуальных неожиданностей, которые, несомненно, ждать себя не заставят, плеснув вдруг в глаза живой энергией объёмов, плоскостей, линий и красок, перевести пугающие, уводящие за познавательные горизонты допущения относительно скрытого, но саморазрушительного конфликта камня и кисти в концепт, поисковый, конечно, и, возможно, чересчур далеко заводящий мысль концепт, но убеждающий, покоряющий как раз своей безоглядной смелостью; итак, если совсем коротко, жребий брошен! Перед решающим вояжем в Мазер Германтов твёрдо знал, что от задуманного-нафантазированного ни за что уже не отступится, однако – плюй, не плюй на сумрачные намёки, – суеверно боялся всего, что могло бы помешать ему достойно, с учётом своего высокого научного реноме, и при этом ярко – непременно ярко, ошарашивающе ярко, да-да, удивлять, так удивлять! – завершить главное в своей жизни дело.

Правда, бояться «всего» – значит, ничего не бояться. Не так ли, ссылаясь на древних, говаривала Аня?

А ещё она ссылалась на весёлую народную мудрость: кто чего боится, то с ним и случится. Чего же тогда он боялся?

Чего?

«Нас всех подстерегает случай...» – блоковская строка услужливо выплыла из запасников памяти и – всё, занозой в мозгу застряла.

Но если нельзя бояться ни «всего», ни «чего-то» конкретного, то не глупо ли бояться случайностей, заметных и незаметных? Из случайностей ведь и соткана жизнь, вся-вся, мистическая и материальная, нежная и грубая, обнимающая и терзающая нас жизнь, и, кстати, все её заведённые исстари и потому внушающие доверие самоповторы, все её кажущиеся закономерности есть не что иное, как до бытийной непреложности стусившиеся случайности; в конце концов, я, ты, он, все мы – плоды случайностей, если угодно, плоды недоразумений; чего же тогда бояться? Соблюдения железнодорожного расписания или опоздания поездов? Закрытой или раскрытой наугад книги? Письма ли, песни, усмехнувшейся или всплакнувшей в радиоэфире, дождя, солнца, встречи на улице, женской улыбки, взгляда?

Или есть случай и – Случай?

Случай с большой буквы, Случай, провиденциальный по происхождению своему, порождает причину, а уж затем – пучок мелких случайностей; это, если угодно, обусловленные всевластной причиной следствия, множество сиюминутных последствий.

Случай с большой буквы – Случай как шаловливая ли, карающая рука Бога или хотя бы, не в словах дело, рука судьбы? – бросает кости, и выпадает причина, а уж затем причина сама порождает нечто мелко-случайное, вроде бы беспричинное; да ещё все индивидуально помеченные случаи каким-то образом интегрирует в силовой узор время, уподобляя судьбы всех нас, случайных и таких разных, металлическим опилкам в магнитном поле.

«Нас всех подстерегает...» – а вот следующая строка вылетела из головы, хотя прежде память не подводила.

Вездесущий – неустрашимый и непобедимый – Случай.

Бывает ли случай счастливым? Бывает, бывает, только сейчас радостно-везучий случай такой в расклады помрачённого сознания не входил. А вот коварный и... непреднамеренно равнодушный Случай как исток случайностей...

Случай как безликое орудие рока, поджидавший где-то там, впереди, собственно, и внушал Германтову суеверный страх?

Случай-навигатор, разрывающий и перенаправляющий цепочки событий; случай-помеха, случай-стимул... что ждёт его? Случай сам по себе или последующий разгул случайностей – то лавинообразных, то рассредоточенных, их подвижная неумолимая совокупность-соподчинённость, но не тех сиюминутных случайностей, из коих соткана нейтральная материя дней, а тех, что врываются в накатанную повседневность, ломают заведённые порядки, понуждают спотыкаться на ровном месте?

И снова: Случай как причина, как исток слитно-неупорядоченной череды случайностей-следствий, так вот, Случай и случайности – не противоречат самому чувству пути? Ну да, путь ведь редко бывает прямым и ровным.

Или – всё же! – противоречат, ибо случайности всегда наготове задуманное индивидом порушить, а избранный им путь пресечь?

Тревога разливалась по спальне...

Падение пресловутого кирпича на голову можно квалифицировать как частный – примитивный, глупый или – часто говорят – слепой случай. Зато густая сеть случайностей, не отличающих добра от зла, чуждых нашим идеалам и вымечтанным гармониям, но синхронизирующих в конце концов появление тайно приговорённой головы в нужном месте и падение на неё кирпича, продукт дьявольски-умной дальновидной расчётливости, всеохватная и скрытно-анонимная, будто бы фиктивная сеть эта, ни начал, ни завершений не знающая, сотканная будто бы

в параллельном мире, однако опутывающая всех нас, счастливых и несчастных, от рождения до смерти, если бы удалось её демаскировать, а потенциальные её воздействия адресно смоделировать и конкретизировать, предъявила бы каждому из нас убийственно-живучую, динамичную, вроде бы непреднамеренно узорчатую, хотя по сути своей строго узаконенную свыше, скоординированную с циферблатом индивидуальной судьбы пространственно-временную карту-предвестие неизменно рискованных межчеловеческих отношений-взаимодействий; более того, если верить хиромантам, разгадывающим ребусы жизни по сплетениям линий, адресные карты-предвестия, шифруясь, отпечатываются у нас на ладонях...

Так-так, у Наполеона Бонапарта в канун Бородинского сражения разболелись зубы... Всё привычно: волевой взгляд непобедимого полководца из-под зелёной треуголки, брюшко, белые лосины, короткие лакированные сапожки, однако порядки французских войск дрогнули, и – после огненной сечи – восклицательный знак! – Лермонтов написал героическое «Бородино»...

Но это лишь малая доля хрестоматийных фактов, вычлененных из бескрайней густой сети событийных случайностей-закономерностей. Вычлененных из реальности коллективными творцами исторической мифологии, так сказать, задним числом, постфактум. А можно ли предвидеть...

Сейчас, когда повис на волоске мир и того, что с нами всеми, суетливо-доверчивыми землянами, будет завтра, никто из самых болтливых авгуров глобализации не знает, науку, исследующую природу случая и – шире, природу случайностей, – наспех пришлось выдумывать.

Тем более что поисковый зуд измучил самих учёных; пусть почешутся, поищут-потешатся.

Случилась, к примеру, небесная катастрофа, столкнулись два облака, две аморфно-неповоротливые кучи ваты, разрываемые на клочья ветром... Игра случая, стихия случая? Белая клубящаяся диффузия на синем бездонном фоне. И можно ли понять и точно описать итог наглядного аморфного столкновения? Да и какой момент посчитать итогом, когда картина небесного боя динамична и ежесекундно меняется? Случай на случае и случаем погоняет, а профессора кислых щей не дремлют; Германтов раздражался и... побаивался подлинную причину своего раздражения объяснить себе и назвать, не иначе как интуитивно желал переложить вину за смутные свои страхи и предчувствия на туманности новейшей науки, в которой он сам ни черта не смыслил.

Как понять назначение зыбучей по основаниям, но самонадеянно серьёзной в обширных притязаниях-претензиях и обещаниях своих синергетики? Как овладение всеобщим шифром для прочтений – по выбору ли, предварительному заказу – любой из сокровенно-индивидуальных карт-предвестий? Как поиск управляющего ключа сразу ко всей мистически-скрытной, но опутывающей нас сети случайностей, потенциальных и проявившихся, или всего-то выделение и маркирование локальных точек, в которых вдруг пересекаются векторы случайностей – подчас многих, бессчётных случайностей, – пересекаются, меняя в этих точках свойства и устремления событий? И можно ли хотя бы составы-качества таких, выделенных из вездесущей сети устремлений Случая, выразить в любых условных единицах количественно, чтобы затем, оперируя числами-весомостями, прогнозировать качественные событийные изменения? А если и можно, удастся ли пойти дальше фиксации самих пересечений, сложений попутных и вычитаний встречных сил-скоростей, перемножений их и делений? Не ахти какая сложная арифметика. В собирательном же итоге чудодейственного синергетического эффекта – средняя температура по больнице? Или и вовсе – ноль? В моменты иллюзорной оцепенелости сети аннулируются, сбрасываясь со счетов небесной канцелярии, и все прежние, потенциальные силы-скорости – так же, как в электросети сбрасывается напряжение? Ох, не его ума дело! Сколько, однако, ни гонись с компьютеризованным копьём за ускользающей субстанцией Случая, добычей охотника-копьяносца станет лишь очередной локальный самообман; множество

подстерегающих нас случайностей никуда не исчезнет, а их стимулы и подвижные мишени, то бишь потенциальные жертвы случая, так и пребудут до поры до времени – или навечно? – непроявленными, неназванными.

Из пустого, – в порожнее?

Ну да, ну да – ехидно улыбаясь, хотя никто не мог бы увидеть его улыбки, – нашёл укоряющую его самого, да и всех абстрактных недотёп-дознавателей, зацепку: не случившееся – тоже случайность? А если так – можно ли распознавать-исследовать не случившееся?

Вороний грай – сравним хоть с чем-нибудь этот стайный, плывучий, зудяще-дрожащий крик? Вспомнилось не такое густое, не такое близкое, как сейчас, не подплывающее вплотную к оконному стеклу, а далёкое и приглушённое, но тоже зудяще-дрожащее и тревожное, сплошное какое-то, как музыка всего неба, звучание гигантской – миллионы подвижных точек, собранных в подвижное пятно, на розоватом фоне – стаи скворцов над вечеревшим Римом...

Но теперь-то вороны, как казалось ему, в один голос для него одного кричали – докричаться хотели?

И почему же, почему птицам жить надоело и они падают теперь с неба?

Сухо, сухо во рту... и в горле першит.

Попытался сглотнуть слюну... нечего было сглатывать.

Вновь прислушался к капели из крана.

На кухне капало или в ванной?

Но почему, если претенциозная новоиспечённая наука сама по себе не виновата ни в чём, ибо отстранена сия якобы объективная наука от нас, суетных смертных, ибо не внятна – и тем паче – не подвластна ей душевная наша жизнь, так раздражался Германтов в сумраке своей спальни? Ведь и прежде он возгорался, испытывал художественные искушения и – сомневался, ещё как сомневался в успехах собственной прозорливости, но такого, как сейчас, разброда мыслей и чувств с ним ещё не бывало... Прежде он неизменно остужал, по крайней мере, фокусировал и направлял в осмысленное русло творческий пыл; одерживал и над своей горячностью, и над своими пасмурными сомнениями победы, прибегая в решающий момент к железной самоорганизации, а сейчас, что сделает он сейчас? Безвольно попятится?

Чем, однако, разбужено такое волнение?

И чего же всё-таки он так боялся, чего? Что же звало и – притормаживало, тревожило и пугало? Он ведь не экстремал, не щекотать нервы отправлялся в джунгли Амазонки, где в любой мутной луже подстерегают пытливых путешественников крокодилы, пираньи, а в колчанах аборигенов, прячущихся в кустах и на ветвях деревьев, – отравленные ядом кураре стрелы. И – в отличие от кафедральных девиц, чьё чирикание задел как-то краем уха, – не мечтал он минувшей рекордно вьюжной зимой о ласковых пляжах на Красном море, где в последнее время акулы-людоеды повадились лакомиться курортниками. О, рассмешил самого себя, до слёз рассмешил – крокодилы и акулы в речках Венето? В качестве доказательств полной безопасности предпринимаемой им поездки он выставил перед мысленным взором несколько благостных картинок прошлого, и, беспечно выбрав одну из них, поплыл по Бренте из Венеции в Падую сквозь премилые, допотопные, открываемые-закрываемые вручную шлюзика и разводные мостики; кайфовал под палубным тентом за стаканчиком лёгкого вина, пока нос кораблика лениво взрезал зеркальные отражения прибрежных ив.

Ну... Что именно, что за экзотичное, похлеще мифического единорога, да при этом ещё и озлобленное чудище с бесщёчными клыками, скажите на милость, могло бы подстеречь уважаемого профессора-искусствоведа на цивилизованных воздушных, водных и наземных путях? В самом деле, что, как и, главное, чего ради могло бы помешать осуществлению его пусть и дерзких по концептуальному замаху, но безобидных для вековых устоев мироздания планов, когда паспорт с шенгенской визой и медицинская страховка – в кармане, билеты на самолёт, туда и обратно, заказаны?

За последние лет двадцать с хвостиком – с той революционной поры, как отменили райкомы и всё забурлило, – он, лёгкий на подъём, вволю наездился и налетался по миру, в далёких и даже экзотических, заокеанских побывал странах, но теперь-то объект его влечения располагался относительно близко, в каких-то двух часах лёта от Петербурга, а маршрут краткого по времени, всего-то недельного, при нынешних ускорениях тщеславий, когда и кругосветки не редкость, более чем скромного путешествия был ему хорошо знаком по прежним поездкам и схематично прост. Венеция, Виченца, Мазер: маленький неправильный треугольник, вычерченный железнодорожными рельсами, три вокзальных точки-вершины, если глянуть на карту – рядышком, от одной точки-вершины треугольника до любой из двух прочих – рукой подать. Маршрут скромного путешествия прост, а где она, лёгкость? К сегодняшнему утру из турфирмы, услугами которой он пользовался, чтобы самому не рыскать по Интернету, подбирая пристойную нешумную гостиницу и удобные местные поезда, ему обещали перекинуть в электронную почту для окончательного согласования компьютерную распечатку с уточнённым венецианской фирмой-контрагентом, разбитым на дни и часы с минутами планом-графиком всех заселений-перемещений. Разве стандартная всевластная бумажка сия не отключает постоянный ток времени? О, эта штука посильнее не только «Фауста» Гёте, но и Юлианского с Григорианским и Восточного календарей вместе взятых; да, несколько экскурсионных дней жизни на безликой бумажке подробно и наперёд расписаны, а он и тут ждёт подвоха... И разве прежде внушали ему недоверие такие распечатки? Сухие и отрешённые, обесточенным хронометражем своим изначально отвергавшие любые сбои в ритмике мироздания: прибытие в аэропорт... трансфер до... завтрак в отеле с... отъезд в...

Обычная подготовительная рутина.

И «Евротур» – фирма надёжная, ни разу не подводила, тут-то чего бояться?

По правде говоря, сейчас, проснувшись, ощутив, что всё вокруг него набухло тревогой и пугающе-странным образом переменялось, как если бы какой-нибудь тихий бесплотный провокатор, нагнетая в духе Хичкока атмосферу тревоги, продолжал под покровом темноты вредоносно раздвигать-сдвигать стены, искажать пропорции спальни, заполнять её чем заблагорассудится да ещё переставлять без спроса у хозяина мебель, он не боялся, что вожденная расписная вилла вдруг по мановению злого волшебника исчезнет с лица земли и по приезде нечего будет ему осматривать и высматривать. И – глянем в равнодушные глаза правды – навряд ли боялся он уже каких-то досадных случайностей, грозивших порвать канву простейшего и скромнейшего путешествия, каких-то ситуативных накладок. Нет, вот уже с полчаса он никак не мог отогнать липучую мысль о скорой смерти, словно роковую весть принесли, не дождавшись прибытия Германтова в Мазер, внезапно воскресшие герои виновники дерзких его идей, Палладио и Веронезе, которые посетили его этой ночью.

Палладио и Веронезе, Андреа Палладио и Паоло Веронезе...

Они не вдохновляли уже, не помогали углублять и развивать проникающие за видимости идеи – предупреждали?

Хуже того – предостерегали.

Вот и лёгкость ушла. Тягостно на излёте духовных сил; а уж как тягостно осознавать истечение своего срока. Да ещё и вдавливают голову в подушку густо клубящийся в спальне сумрак.

Как печально всё, как печально и безутешно... Замаячил финиш, а горестные мысли, будто замурованные, только кругами ходят вокруг да около.

И никого – никого! – нет уже рядом с ним.

Кому, кому достанется большая квартира на Петербургской-Петроградской стороне, редкие ценные книги, рукописи?

Неужели Игорю?

Кому же ещё...

На лучшей половине кафедры – Аля, лаборантка с улыбкой Джоконды и хроническим, на грани гайморита, насморком, год за годом с треском проваливавшая вступительные экзамены в Академию, а также смотрящие ему в рот и, похоже, тайно влюблённые в него бесцветные ассистентки и аспирантки – Германтова называли не только ЮМом, но и – за глаза – одиноким волком; ну да, Вера тоже ведь была аспиранткой, хотя... обесцветить Веру язык бы не повернулся! Вспомнил дурацкую, со смешочками и прибаутками, игру в фанты на кафедральной пирушке накануне Восьмого марта, когда Вере выпало прочесть стихотворение наизусть. Как жарко засияли её глаза, как раздумывалась она, читая: «Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу...» Она будто бы тогда читала с вызовом, от его имени – он будто бы из небытия уже обращался к ней: я кончился, а ты жива...

Давно это было, а сердце опомнилось, заметалось, аритмично заколотилось.

Сколько же лет с того марта до нынешнего марта прошло?

Любопытно, что с Верой сейчас?

Где она, с кем?

На худшей половине кафедры ни единокорые, ни тем более благодушные во взглядах на Германтова-ЮМа, как мы уже отмечали, не наблюдались, напротив... Легко ли назвать одним на всех именем или доверительно-уважительным прозвищем-аббревиатурой явно инородное да ещё с симптомами мании величия тело? Усмешливые – бывало, что и озлобленные – болтуны улавливали в Германтове образное сходство с неординарными пернатыми – с белой вороной, рекордно упрямым и самым самодовольным из индюков, павлином, распускающим, надо не надо, хвост; ещё и приговаривали частенько: «С него как с гуся вода». Ну да, что было, то было: не состоял, не участвовал, не привлекался, не расталкивал локтями, не подсиживал, не наушничал, не предавал, ничего конъюнктурного не сочинял, под диктовку идеологического принуждения не писал, не подписывал... И не подхалимничал, не пресмыкался – не зависел от покровителей, ибо таковых не имел, без протекций-рекомендаций, исключительно благодаря своему усердию и уму поднимался по спирали успеха и, свысока посматривая на околонуточный серпентарий, конечно, знал себе цену. «Такой, – цедили сквозь зубы, – от скромности не умрёт... а какой позёр... Да, да, напомним – позёр». Среди затаивших неясные обиды коллег он прослыл также человеком в маске: да уж, с учётом ситуаций-обстоятельств ловко маски менял: то он в невозмутимо-защитной маске, то уже надменную нацепил или, пуще того, презрительную. И даже человеком в футляре, добавляя к футляру едкие эпитеты, обзывали нашего неординарного героя; порой, правда, блюдя публично нейтральность, но – исключительно для объективности! – подчёркивая замкнутость и гордую отчуждённость, помещали Германтова в непроницаемо-прозрачный футляр, хотя чаще, дабы намекнуть на склонность к внешним эффектам в полемике ли, на лекционной кафедре, в претендовавших на сенсации книгах, да ещё и сарказма добавить в характеристику, запирали его, непримиримого и колкого, когда осмеливались неловко задевать тупым оружием оппоненты, в изукрашенном в духе боевого оперения футляре или – Юрий Михайлович ведь и редким для нашего вульгарного безвременья эстетом был! – в вычурном футляре, изысканно инкрустированном или ещё каком. Едва заводилась речь об агрессивном обаянии Германтова, развязно-ехидных златоустов хватало, иные из языкастых студентов неотразимого пожилого мэтра вообще с озорными улыбочками в гламурных плейбоях числили, однако – заметим справедливости ради, – оснащая своего профессора налётом гламурности, хлёсткие, но недалёкие вьюноши протыкали перстами небо, поскольку взыскательный в вопросах вкуса профессор гламур на дух не выносил, хотя безупречные, но неброские линии чуть небрежных его одежд сами за себя говорили, а уж сердечные томления сохнувших по нему – сравнение с плейбоем после семидесятилетия своего, пожалуй, могло бы ему польстить – лаборанток-ассистенток-аспиранток студенты чуяли за версту. И, само собой, Нарциссом его называли тоже. Обычно повстречать Германтова можно было бы на деловитом пути его в Академию художеств: на Большом проспекте Петроград-

ской стороны, на Тучковом мосту, на Первой линии Васильевского острова или, когда на углу Румянцевского садика сворачивал он направо, – на набережной Невы. Но если повезёт проследить за Германтовым, когда изредка и с какой-то особенной степенностью шествует он по Невскому, по главной славной нашей петербургской коммуникации, когда при этом не накрыт он большим зонтом и не скрыт благородно-серебристый боксёрский ёжик под сдвинутым на левую бровь французским чёрным беретом, а светит солнце – шествует он, нетрудно догадаться, по солнечной стороне проспекта, – то и действительно нельзя будет не заметить, что, не теряя ни на миг самоуглублённости, боковым зрением он, моложаво-стройный и спортивный, неизменно элегантен, успевает ловить свои отражения в витринах или окнах автобусов.

Но пока хватит о внешнем виде, поведенческом сходстве с экзотично-особенными пернатыми, о футлярах и масках, жестах.

Тем более что зазвучал подспудный мотив.

У Германтова, и впрямь смахивавшего по внутренней конституции своей на одинокого волка, пусть и изрядно сточившего свои зубы, не оставалось, если не считать иностранца Игоря, близких родственников, а он до сих пор малодушно отгонял мысли о завещании, как если бы намеревался жить вечно. Органика одиночества, однако, уже не могла защитить от наплывов горечи. «Сам виноват в этом гнетущем чувстве потерянности, – нащёпывал себе, – сам» Высвободившись из социальных связей – не участвовал, не состоял, не подчинялся, не подхалимничал и прочая – рвал, походя, и бытовые путы, замыкался, чтобы жить по-своему, разумеется, ради достижения самых высоких целей. Переоценивал исключительность своего «я», своего высокого назначения и личной своей свободы, якобы гарантировавшей ему свободу думать и писать так, как не дано никому другому, и вот – додумался-дописался: один, совсем один, финишировал в пустоте, и чем искупить теперь собственную вину в том, что энергия заблуждений, как ни устремлялся вперёд и вверх, предательски иссякала, а пустота делалась неодолимой? Поздно. Одинокий тихий финиш никого на земле уже не мог затронуть, даже на трёхкомнатную квартиру никто не покушался. Сам виноват: сам ведь хотел не хотел ребёнка – теперь уже смутные давние желания-опасения не прояснить, – а получилось-то так, что Катя сделала аборт. Ещё Анята-провидица желала ему соответствовать высокому плану-предначертанию. «Понимаешь, Платон полагал, что душа тянет жребий и, вытянув, вселяется в новорождённое тело, после чего человек всю свою жизнь, зачастую даже не сознавая того, действует по предназначению», – ну да, Анята, желая ему оправдать в полной мере высокое своё назначение, будучи, как могло казаться, тайно посвящённой в программу, которая выпала по жребию его душе, тем не менее, остерегала. «Будь самим собой и сам по себе, доверяйся путеводной своей звезде, иначе не мужчиной будешь, а тряпкой, только при этом, Юрочка, крепче держись за жизнь, но не застёгивайся на все пуговицы и не будь, прошу тебя, законченным эгоцентриком. И учти, Юрочка, – Анята общалась с ним, первоклашкой, как со взрослым и умным, – учти, зло, – убеждала, – это мировая субстанция, а добро всегда индивидуально, поэтому и противостоим мы, каждый поодиночке, на свой страх и риск, целому миру». Он, однако, пренебрегал противоречивыми советами, заранее пожалев себя, всё своё добро при себе держал – убоился плача по ночам, запаха мокрых пелёнок, слюняво-сопливых детских болезней, предпочёл созерцание собственного пупка... И к чему, к скольким горестным неожиданностям примитивный эгоизм затем привёл? Судьба не побаловала простыми сюжетами. Хотя в завязках сюжетов была к нему, не успевшему ещё нагрешить, вполне благосклонна, казалось, учитывала поначалу небесное заступничество Аняты, Сони – судьба хранила, и он, чуя защиту свыше, покорялся как безбедно-текучей плавности повседневности, так и своенравию неожиданных порывов ветра времени, не рыпался, когда случался поворот или испытующе приближались – поморщился от романтического клише – пенные буруны порогов, и как же везло ему! Что бы ни случалось с ним, какое бы горе ни сваливалось на него, а поток дней выносил туда, куда по воле выпавшего жребия устремлялась его душа. Именно так: интуитивно подчиняясь

предначертанию жребия, он, максималист в духовных своих запросах, во внутренней жизни, активный и амбициозный прежде всего за письменным столом, плыл себе и плыл по бытийно-бытовому течению; пристало ли ему в своей вполне удачливой юности опасаться подвохов будущего? Да, отец таинственно исчез тогда, когда по милости НКВД исчезали многие, возможно, что был убит. Да, мама поспешно вышла за другого, но вопреки классической, с психическими травмами и, хуже того, явлениями призрака-отца интриге маму и отчима, в коварстве шекспировских героев не заподозренных, он искренне любил и не мучился вопросом: отравила ли мама папу? Не выпало ему никаких драматично-фрейдистских вывихов и истерик; к тому же мама и второй её муж рано умерли, Германтов, если и были бы к тому все горькие предпосылки, не успевал при их недолгой совместной жизни вырасти в Гамлета; как ни странно, тень отца Гамлета была, а самого Гамлета – не было? Или всё-таки Гамлет был, хотя и престранный? Шанский, даритель прозвищ-оксюморонов, ведь не только красного словца ради называл юного Германтова самоуверенным Гамлетом... Но если был, какой-никакой, а всё же был Гамлет, то и была у него, согласно ролевой схеме вечного сюжета, возлюбленная...

Была, была...

Он похолодел от схематичного сходства финала Катиной судьбы и...

И его судьба, выходит, вмонтирована в какой-то общий узор: он зависим и уязвим, а его собственная Судьба, пока что незавершённая, вкрадчиво поигрывая случайностями, выкладывает из событий и лиц пазл его жизни?

Да, и с Катей поначалу всё у него складывалось гладко, по сути просто, без бытовых заусениц, досадных притираний характеров, и, главное, ясно: из сонма радостных мелочей компоновался счастливый калейдоскоп – золотистые, резко и горячо темневшие к лету веснушки у переносицы, на скулах и на плечах, нежная и светлая, будто бы прозрачная кожа; вздрогнул, ощутив наново лёгкое прикосновение к Катиной щеке, медовый запах её волос, выбившихся из-под синей с белой каймой косынки. Затем, переполняясь благодарным умилением, заглянул в подвальчик «Севера» – в сутолоке сладкожек Катя надкусывала буше, перемазалась расплавленным шоколадом, – и сразу вдохнул могильную сырость глины, замоченной в цинковом корыте в неряшливой, уставленной запылёнными, с отбитыми носами, гипсами мастерской, там, на скульптурном факультете, под крышей, где впервые Катю увидел во всей переменчивости её красоты. Ловкая и воодушевлённая, она сильными, нервными, нежными пальцами мяла-месила глину – большой серо-зелёный ком, брошенный на рабочую подставку для лепки будущей скульптуры, похожую на высокую сужавшуюся кверху табуретку. Катя мяла-месила глину так, как издревле женщины месят тесто. Что могло быть естественней и проще любви с первого взгляда? Он и она, вдвоём, им извне ничто не мешало, ничто! И будто бы не стоял никто между ними! И ничто будто бы не предвещало беды. Но как же всё потом усложнялось в череде беспричинных размолвок, какой потянулся болевой шлейф. Катя про всё на свете забывала, когда лепила, она остро чувствовала игру внутренних сил скульптуры, всегда неожиданно выявляла в каждой своей новой вещи её скрытую органическую подвижность. Образ в Катиных скульптурах созидался каркасом, невидимым, но экспрессивным живым каркасом, словно внезапно распиравшим изнутри, а то и – казалось вопреки невидимости своей! – вламывавшим или пронзавшим там и сям внешнюю оболочку фигуры или лица. Однако сама Катя не пожелала уподобляться глине в его руках, не пожелала, чтобы он мял и менял, подгонял «под себя» врождённо строптивый её характер, терпение лопнуло; если бы не лопнуло у неё терпение, если бы Катя была жива, они были бы до сих пор вместе? И согласно, взявшись за руки, дружно одолевали бы все бури, депрессии и умерли бы счастливо в один день? Если бы да кабы... Но он же только Катю любил, только Катю, одну её, да, да, – упрямылся Германтов, догадываясь, впрочем, что обелить себя не получится. Да, при всём своём непостоянстве, при всех спонтанных увлечениях оставался однолюбом; после Кати без видимых причин, как-то незаметно для самого себя расстался с Лидой, которую потом так и не смог

забыть – будто внутри что-то надорвалось, нечаянно, независимо от его желаний, и не изжить уже было боль потери. Но он ведь трусливо спасся и от сближения с Верой – интуитивно избегал серьёзных привязанностей? О, теперь он бы многое переиграл и уж точно всё бы отдал за то, чтобы, как когда-то, положить после сладких ночных трудов невесомую голову Кате на грудь, покачиваться на спокойных волнах её дыхания, улавливать ритм её сердца; он вновь ощутил Катину тепло, на минуту им овладели фантомы её чувственной прелести. Смех и грех, что, собственно, он смог бы теперь переиграть, отдать? Плаксивая песнь старой шарманки; и вспоминается почему-то как раз то, что он хотел бы забыть. Теперь, когда нити исчерпанных жизненных сюжетов сплелись-спутались в сознании, как многолетняя паутина, а мгновенная развязка – не так ли обрываются киносюжеты с обрывом плёнки? – близка, он один, волк ли, не волк, но совсем один, посторонний и никому не нужный, наивно ищет просвет во тьме. Один, ибо не только никого из родных не оставалось у него на земле, а любимых своих сам он, походя, как бы незаметно для себя оттолкнул, но и горстка друзей давно рассыпалась в прах: потерялись из вида, вымерли потихоньку, иные эмигрировали, так и не уяснив, от чего и к чему бежали; эмигрировали, однако по сути получается – тоже вымерли, пусть ещё кто-то из них и доживает в стерильно-скудненьком комфорте свой век. Полно, были ли у него друзья? Сразу вспомнился ему покойный ярчайший Шанский: эрудит, умница и вертопрах, каких мало. Да, вроде бы друзья были, правда, какие-то пунктирные, от встречи до встречи... Но разве сам он смолоду не тяготился необязательными по тем, прежним своим ощущениям, встречами, многословными затяжными застольями и охотами за ночными такси, не окутывался отчуждающим холодком, пока не напоролся на закономерный итог – один на один с бесплодной старческой маятой, с непредставимой, но неумолимо встающей за краем сознания тьмой?

Сердцебиение затихало.

Казалось, и вороны угомонились.

И – приподнял голову над подушкой – трамвайные колёса не перестукивали, вода не капала?

И куда-то катились, катились тем временем, сталкиваясь и расходясь, чуткие к импульсам-командам случайностей колёса судеб.

Попытался представить себе земной шар, густо иссечённый кривыми бессчётными колеями; выделится ли хоть чем-то в многовековых переплетениях планетарных следов его прихотливая колея...

В тишине ему послышались свербящие звуки: робкое собиранье из волн-частиц рождающейся мелодии какой-то незнакомой ему музыкальной темы. Ну да, невесело подмигнул себе Германтов, как если бы уже стоял перед зеркалом, тема судьбы в симфонии поначалу звучит потаённо, чтобы затем, под конец... Ну да, всё, что с ним должно было случиться, уже случилось – чего бояться? Оставалась самая малость... А струны-нервы натянуты, и ему, словно ребёнку в темноте, страшно.

Явь бывает пострашнее страшного сна... невесть какое открытие.

Мысль вильнула, устало кинула спасательный круг: одиночество как средство самозащиты и само-то по себе надёжнее, чем толстокожесть и заскорузлость. Зачем ему эти обиходные аналоги бронжилета? Он ведь давно ни с кем не сближался, замыкался в себе; что ж, одиночество вполне может оградить от случайных контактов, по крайней мере, он сейчас, художественно, отключён от бед и треволнений других людей, которых, как водится, подстерегают свои болезни, несчастья и бытовые неурядицы, свои случайности; он относительно независим, хоть какой-то плюс. Да, он ни от кого уже не зависит. Да, никто не утешит, никто ему не поможет, но и он ведь ни за кого не отвечает, к тому же никого не изводит своими комплексами. Ну да, спасибо за внимание, – как сникающий автомат, говорит он, дочитав лекцию, – все свободны; а уж как сам он теперь свободен... И вокруг – пустошь, словно глобальный аноним-террорист подорвал беззвучно вакуумную бомбу.

Зачем, куда?

Из пустого – в порожнее?

Две привычно сомкнутые картины – жизни самой и сознания как её зыбкого отражателя – необратимо уже расщеплены на бессвязные частности, «порядки вещей» распались на элементы, которые произвольно перекомпоновываются, общие цели и ориентиры утеряны, а глобальная тишина в ответ на новые большие вопросы – высшая форма политкорректности.

И куда же ветры во всемирном-то масштабе подули? Куда все мы, верующие и атеисты, дети задышавшей на ладан христианской цивилизации, подгоняемые ими, ветрами теми, прогрессивно и покорно катимся? И почему нарастает угрюмый соблазн во всём том, что недавно ещё характеризовало воодушевлявший всех нас прогресс, усматривать жестокие симптомы деградации? Ну да, книга бумажная, как заметил ещё Гюго, убивала зодчество как книгу каменную, но ныне-то уже электронные массмедиа добивают, как долдонят так называемые эксперты, книгопечатание, а Интернет разделяется, как с управляемым так и наглоюще неуправляемым телевидением... Туда ему и дорога, телевидению во всех его разновидностях, на тот свет? Ну да, загребуще-подминающий прогресс – всё прогрессивнее, ну да, этапы большого пути-прогресса предьявляются как череда мокрых дел: путь цивилизации – путь убийств, в прицеле всегда – культура, а общекультурные потери щемят, как потери сугубо личные.

Зарылся лицом в подушку.

Так-так: эсэмэски, отменяющие надобность в живой речи, рубленое косноязычие Твиттера; бедная людоедка Эллочка завистливо ворочается в гробу – так отстала.

Проще и короче, проще и короче! – новый девиз, ибо только непрерывным упрощением-сокращением гарантируется непрерывное ускорение.

Так-так-так: всего лишь всё повторяется на кругах своих? Восходит солнце, заходит солнце и прочая, и прочая. Да, ещё лет сорок назад Шанский на какой-то пьянке в своей котельной, казалось, с немалым на то основанием, предложил простую и красивую формулу поступательных перемен-повторов: каждым поколением оплакивается вырубка во имя прогресса «своего» вишнёвого сада. Но теперь-то электронный топор дровосека-цивилизатора так технологично и с таким ускорением застучал, что...

«Двадцатый век... ещё бездомней».

А что же сказал бы поэт о веке двадцать первом, – ещё и ещё бездомней? Это, как ныне выражаются, тренд?

Однако давно, очень давно, готовились ускоренные безликие безобразия, разомкнувшие, как кажется теперь, вечный круг.

Один философ с больной душой, прозрев под напором вроде бы незаметных для здорового большинства перемен, ещё века полтора назад возвестил: Бог умер. Затем, уже в ускоряющиеся без руля с ветрилами времена, под конец двадцатого века, другой философ от кошмаров века на миг опомнился и, подводя промежуточные итоги якобы возносящего нас всё выше, к свету, и инерционно превозносящего себя просветительства, всем нам оптимизма добавил: Человек умер. Ну да, чем ему, Человеку с заглавной буквы, взлелеянному, как возвышенный гомункулос, просветителями, было воодушевляться в нынешнюю эпоху – нормативной тягой к комфорту, усреднённым материальным благополучием? Знакомствами в социальных сетях? Псевдосенсациями? Пережёвыванием информационной жвачки? И что ему, Человеку, не сморгнув, надлежало теперь отстаивать? мир, который фантастически быстро загромождается «кнопочной» пустотой? За что ему, Человеку, просветлённому и оптимистично-возвышенному по изначально-мифическому назначению своему, было теперь идти каждый день на бой? Не за что, поскольку идеалы обесценились-улетучились, а так называемых гражданских прав-свобод, декларативно готовых подменять каждому обывателю-потребителю внутреннюю свободу, теперь – от пуза; вот его, индивидуального, отдельного Человека, и вынесло из времени победивших масс – где ныне бал правит сытый автоматизированный охлос, уважи-

тельно названный средним классом, – само время; вынесло воровато-тихо, без рыданий скрипок, ногами вперёд... Вечная память.

Но... мало-помалу, вслед за идеологами с пеною бешенства на губах и сами идеологии благополучно вымирали, так?

А можно здесь поподробнее?

Можно, можно... Почудилось, что окончательно идеологии умерли, когда распалась одна из ядерных сверхдержав и закончилось лобовое, как у двух встречных баранов на узком мосту, противостояние коммунизма с капитализмом, так?

Да!

Однако быстро лишь сказка сказывается; поначалу-то большие идеи, обернувшиеся безбожно-бесчеловечными фашизмами-коммунизмами, пролившими реки крови, на счастье нам, потерпели крах, все выжившие в войнах, лагерях принялись вспоминать минувшие дни, причитая: это не должно повториться, это никогда не должно повториться. А молодая-то бездумно свободолюбивая поросль в Европах-Америках ни к кому из набивших исторические шишки, как от века повелось, не прислушивалась, с чистого листа понеделники свои начала... Ох, в мироздании от века вдохновляюще-напутственно звучала заигранная пластинка! Волна за волной поднимались новые поколения: с разными скоростями в разных, но умножавших скучное благополучие своё «цивилизованных» странах: под универсальными демократическими и гуманистическими лозунгами, в ритмах социально-политической машины неслись они, новые поколения, десятилетие за десятилетием, в победоносную пустоту «закончившейся Истории». Свято место, однако, пусто не бывает – так ведь, старый брюзга? – вслед за вакуумным взрывом нахлынула виртуальщина! Культура, век за веком неся потери свои, и вовсе под шумок информационных помех синтетической медиасреды обанкротилась как планетарная ценность, ибо вклады в неё мельчали, а возвышенные мертвецы-символы уже не могли её защитить: вечные вопросы по объективной причине отсутствия Бога и Человека за ненужностью своей как-то сами собой отсыхали-отпадали на древе жизни. «Цивилизованное человечество» охотно соскальзывало на путь наименьшего сопротивления – ни высоких смыслов уже не обнаружить было, ни перспектив, а виртуальная свистопляска и сетевая разноголосица, если бойко и маскируют ныне глобальную дремоту идей, то, дробно разлетаясь повсюду и убыстряясь в никуда, лишь добавляют отдельным страдальцам мировой скорби, усиливают в них чувство опустошительной безысходности; обрели с подачи креативщиков всех мастей информационную сверхпроводимость, ура-ура, но содержательность-ценность распространяемой информации, если это не специализированная информация, стремится к нулю. Зато скорость проводки через быстро ветвящиеся сети мегабайтов унифицированно-разнообразнейшей чепухи неудержимо растёт, а вроде бы индивидуальные интернет-дискуссии сутяг-блогеров, вспениваясь злобой, делаются тем непримиримей, чем очевидней их мелкотемье; конечно, формализованный-оцифрованный до крупницы отходов глобальный мир опаскудел, христианская цивилизация испускает, как в новостях вчера возвестили, дух. О, такой мир продвинутого «кнопочного» варварства и покинуть можно без сожалений, о, мир словно нарочно и своевременно так опаскудел, чтобы уходить было бы тебе, ЮМ, полегче, но ты-то, ЮМ, хотя и поскуливаешь, а в полном ещё порядке, ты всё ещё в белом. Как усугубляется к старости эгоизм, упивающийся горчаще-сладостным солипсизмом, кажется – тебе одному, исключительному, особенно остро кажется, – что и доживать-то свой век выпало на кладбище ещё недавно направлявших жизнь, однако же внезапно уценённых и обезличенных, ибо и славные имена второпях позабыты, подлинностей – н-да, подлинностей, замещаемых тускнеющими знаками прошлого и – зажмурившись, их всё равно увидишь, – инерционно мельтешащими над тёмным горизонтом неоновыми рекламами потребительства.

Всякая умозрительная схема – убога?

Взвесь слов лишь замутняет суть?

За стенкой запустили Галича:

Мы проспали беду,  
Промотали чужое наследство,  
Жизнь подходит к концу,  
И опять начинается детство...

Дослушал.

Да, загнал сам себя в капкан: кому, многоуважаемый, но не по делу скулящий-скорбящий ЮМ, предъявлять счета, если и Бог, и Человек – мертвы? А точны ли гнетущие и сугубо личные ощущения упадка и всеобщей дезориентации, не точны, – всё равно что-то тревожно ноет, стонет, скулит где-то глубоко-глубоко внутри, в душе?

Тема судьбы перебирает ноты – там, внутри...

Подбирается минорный, но – провожающе-ударный аккорд?

Куда ни кинь – всюду клин.

В извечно тупиковой дилемме старости – жить противно, помирать страшно – угнездилась было иллюзорная отдушина: вдохновлённый замыслом, взволнованный и удивлённый прорвавшимися сквозь хаос очертаниями будущей своей книги, он нашёл полноценный заменитель терпким терзаниям последней любви или, к примеру, трепету общения с внуками; конечно, внуков не было и не будет, не суждено возрождаться ему в потомках, а опрометчивая старческая любовь, слава тебе, Господи, ни в коем случае ему не грозила, куда там... О как на склоне наших лет... А если без элегичности, если с бьющими по ушам оперными страстями – у любви, как у птички, крылья, не смешно ли? Уролог вчера бубнил: для активизации обменных процессов в простате необходим регулярный секс, это лучшая профилактика застойных явлений. Смешно: регулярный секс теперь ему предписан лишь как медицинская процедура.

И что толку тасовать в памяти былые головокружения и счастливые остановки сердца? Однако стоило скользнуть взгляду по фотографиям на стене...

А из-за стены с фотографиями зазвучал вдруг, но сразу оборвался фортепианный пассаж; проклюнулось бодро радио – через годы, через расстояния...

Так есть всё же отдушина или нет её?

Из крана капает или за окном?

Март, сосульки... В Венеции карнавал выдыхается, гуляки ждут не дождутся парада гондол с факелами и буйств финального фейерверка; всё, как исстари заведено: освещённый Риальто, толпа; пьяненькие усталые ряженые вскоре с деланной неохотой разоблачатся, сдадут в прокатные фирмы выдавшие виды, пропитанные вином и оливковым маслом исторические костюмы-платья, и наступит его, Германтова, черёд. Он полетит – или не полетит, ибо – всего-то! – мечтает о недостижимом? Конечно, не случившееся – тоже случайность; надо бы сосредоточиться, а он попусту изводит себя.

Ну да, изводит, ещё как изводит, раз за разом запуская мысли свои по кругу! Тысячу раз прав рецензент-ругатель из «Фигаро». Разве нудное нытьё, страхи-тревоги и неприкаянность, маята – не симптомы маниакально-депрессивного психоза?

Усмехнулся кому квартира достанется? Больше некому, Игорю достанется, пасынку, израильскому офицеру-спецназовцу – вот какой фокус-мокус, похожий на высунутый язык или, пуще того, на смачный кукиш, покажет гордецу Германтову судьба. Игорю, Игорю квартира достанется, если он, конечно, захочет доказывать свои права наследника на кругах бумажного нотариально-судебного ада. Интересно, что творится в защищённой шарообразным шлемом с космическими антеннами башке Игоря, командующего теперь спецоперациями в Газе? И зачем ему, воину пустыни в электронных доспехах, профессорская квартира на Петроград-

ской стороне, набитая французскими книгами по философии и искусству? Водил за ручку маленького Игоря в Эрмитаж смотреть Матисса... А сначала гуляли по Петропавловской крепости, вышли через Невские ворота к водному блеску, плеску, захлебнулись сплошным встречным потоком света – расплавленное солнце хлестало гранит.

Глупейший вопрос – зачем Игорю квартира? Затем, чтобы выгодно продать: судя по рекламам, недвижимостью дорожат.

Вот он и наймёт плута-риелтора, по-быстрому продаст квартиру, книги отвезёт букинистам, мебельный хлам выкинет на помойку.

Почему так сухо во рту?

Как когда-то, незадолго до смерти, признавалась Аня? Душно жить, Юра, душно, не вдохнуть никак полной грудью. Кто бы мне провентилировал лёгкие и отвесил напоследок фунтик чистого кислорода? Или – ещё лучше – попросту бы меня спрыснул живой водой.

Да, сушь... и душно жить, страшно; воздух – спёртый, страх – липкий.

Состарился незаметно для себя самого?

Скоро – семьдесят три. Приближается рубеж настоящей, с безысходной духотой и всеми мерзопакостями одряхления, старости? Промелькнет еще пара лет, на факультете закатят фальшивое юбилейное торжество с речами-восхвалениями, генеральную репетицию панихиды, на которой потом штатный пошляк уж обязательно скажет, что прощается с эпохой. Скажет, скажет... И что же, пока покорно, как говаривала Аня, поднимать лапки кверху? Поднимать лапки и ждать, оцепенело ждать, пока не накроет тьма? Нет! Просто-напросто надо сосредоточиться, ничего из того, что запланировал, нельзя уже откладывать на потом... Да, долой уныние! Только напряжением ума и всех чувств он переборет липкий страх смерти тогда-то, если сосредоточится, терпеливо обживая-заполняя пустоты замысла, и просвет во тьме блеснёт, желанный просвет.

Да, – заворочался, перевернулся на спину, – есть ли в электронной почте обещанная распечатка?

Далась ему распечатка... Сегодня ли пришлют, завтра – какая разница?

И тут, под посвисты весеннего ветра, тихо задрезжал голосок Ани, она продолжала излагать свои бесхитростные премудрости: «Казалось бы, привилегия молодости, – говорила Аня, – надежды, а старости – разочарования, но даже и в старости мы на что-то продолжаем надеяться, это глупо и нечестно, нечестно по отношению к себе, но в нас заложен инстинкт самообмана... нам, – улыбнулась, – хочется верить, что любовью ли, искусством можно заслониться от смерти».

И ещё с виноватой улыбочкой тогда изрекла Аня: «Мы, Юрочка, престранные существа, мы все, как один, живём по заветам сказки: иди туда, не зная куда, найди то, не зная что... Верим в свободу воли, а пляшем под дудку фатума; мы слепцы в розовых очках, понимаешь?»

«Сосредоточиться пора, март уже; сосредоточиться, сосредоточиться, – заклинал тем временем, доводя до одури, внутренний голос, – сосредоточиться на идее, а не разводить нюни, всё лишнее, всё-всё – прочь из головы, прочь».

Idea fix?

Несомненно, idea fix.

Но почему человечья жизнь в основах своих, в беспросветных глубинах, куда внезапно заглядывает разум, так страшна? Почему, почему, передразнил себя Германтов, да потому, что оканчивается на у: карга с косою стоит наготове за любым намёком на счастье. «Добро – индивидуально, – уверяла Аня, – понимаешь?» Добро – индивидуально; возможно, так и есть, но до чего же – вдруг кольнуло – индивидуальна смерть, её сжатая в предсмертное мгновение аудиовизуальная партитура! Сколько людей – столько вариантов смерти; каждому – свой! Каждому – то ли озвученным промельком в сознании, необъяснимо отражающим какою-нибудь из несуразниц минувшего, то ли в натуре, предметно явленной перед меркну-

щим, растерянно-рассеянным взором, – уготован свой неповторимый конец, даже большим одной и той же болезнью, умирающим на одинаковых кроватях в одной и той же больничной палате, хотя ничего им возвышенно-исключительного конец этот не обещает, ничего. Смерть абсолютно индивидуальна, но для всех нас, всех без исключений – издевательски-унизительна: у каждого из нас своё прошлое, свои изводящие воспоминания, чьи хаотичные вспышки и угасания, прихотливо переключая слабеющее внимание, меняют оттенки потолка, халата медсестры, облака за окном, задают исподволь ударный ли, еле слышный, но – последний аккорд и задают итоговый, чрезвычайно значимый угол зрения, в секторе которого, согласно, к примеру, восточным верованиям, перед каждым из покидающих сей мир может со сверхскоростью промелькнуть и вся цепь его прошлых и будущих воплощений. И при всём при этом, подумал безбожник-Германтов, никакой оценочной моральной окраски, сулящей за гробом выслуженные праведно-неправедной жизнью муки или блаженства. Индивидуально, хотя и произвольно, без осязаемого участия ума и сердца, с помощью тайных каких-то психо-мистических инструментов избирается во вселенской фонотеке безошибочный внутренний звук, так же индивидуально, но опять-таки поверх мыслей и чувств самого индивида, выделяется в ансамбле вещных пустяков и то, что умирающий увидит за миг до того, как закроют ему глаза и начнут хлопотливо избавляться от охладевшего, никчемного тела; увидит в неуловимо-кратком музыкальном сопровождении зашпешившей на свободу души то, чего не дано увидеть другим. Кому-то в награду за геройства-подвиги, бытовые мытарства, физические муки и душевные драмы в качестве плачевно и по сути брезгливо венчающего жизнь убого-предметного иероглифа выпадут фаянсовая «утка» на полу, ребристая батарея и стояк отопления, кому-то – допустим, за жестокости, ложь, подлости и предательства – войлочные, со стоптанными задниками, задвинутые под соседнюю кровать шлёпанцы.

Так-то, повторял и повторял он, как если бы удивлялся немудрящему своему открытию. Поцелуями в диафрагму только голливудские сказки итожатся, у раскадровки всякой судьбы, выясняется под конец пути, – особый, но непременно безутешно-пустяковый финал. И пусть смерть на миру красна, общего как для уходящей эпохи, так и для каждого из нас «звука лопнувшей струны» или «всхлипа», предсмертного эпохального всхлипа «на весь мир», всхлипа, собравшего и сгустившего как миллионы тихих личных самооплакиваний, так и хорошей плач по цельной культуре, нет и уже не будет. Дождаться суждено лишь заключительной, адресованной тебе одному, презрительно-издевательской, насмешливой или плаксивой зрительно-тональной ремарки.

Прощальной ремарки, посвящённой тебе, но лишь обозначающей, не требуя отклика, ибо откликнуться ты не успеваешь всё равно, твой уход?

Вот-вот: жди заключительную ремарку.

Пока он ворочается в постели, прощальную и окончательную, как точка, ремарку-картинку с затухающим ли, оборванным резко звуком для него, специально для него всё ещё сочиняет, если уже не сочинила, предусмотрительная судьба?

Какова она, та финальная, назначенная ему свыше картинка-нота? Что выпадет ему, именно ему, одному, увидеть-услышать, что? – испытал жутковатое любопытство Германтов, словно захотелось ему приблизить свой зримо-звучащий последний миг.

А за этим мигом что, что? «Он повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна темноты...»

Что за скорбная навязчивость с утра пораньше, чуть свет?

Приоткрытая филёнчатая дверь, гроб с кукольным тельцем тёти Анюты на чёрных кожаных сиденьях четырёх, два против двух, стульев, у гроба – незнакомые, бедно одетые старички и старушки, очевидно, знавшие когда-то Анюту по активной стадии её жизни; одному из старичков сделалось совсем плохо, он нюхал, шумно и влажно шмыгая, нашатырь; ну да, мама была на гастролях в Новосибирске и не смогла приехать, Сиверский пропал в Москве на бес-

конечной достройке вроде бы давно отстроенной и уже отмеченной главной премией страны высотки Университета; конец метельно-сырого февраля, хилые еловые веточки вместо живых цветов... Кто-то из старичков покрутил ручку патефона, полился тихонечко, с плывучими шипениями, поскрипываниями и потрескиваниями, траурный марш, ну да, Анюта обожала Шопена. Он-то напрасно водил Игоря по Петропавловской крепости и Эрмитажу, не в коня корм, а вот Анюта, сверхнаивная упрямецца, Анюта-идеалистка, непреклонная Анюта-праведница, Анюта-провидица, безнадежно больная, едва передвигавшая ноги, когда-то, получается, не зря показывала ему Витебский вокзал. Он был занят собой, гуляя с Игорем, да и всегда – и до запомнившейся почему-то прогулки с Игорем, и после – был занят только собой, своими драгоценными нетленными идеями, а она... Настолько был занят собой, что даже не дрогнул, не то чтобы прикрикнул на Игоря, когда тот случайно разбил один из двух синих венецианских бокалов, оставшихся от Анюты. А она? Не зря Анюта, когда мучительно-медленно брела с ним по Загородному в сторону Витебского вокзала и обратно, в сторону их дома, к Звенигородской, говорила и говорила. Никакой учебной морализации, просто-напросто делилась своими бесчисленными изумлениями, накопленными за долгие годы, вроде бы беспорядочно о том и сём говорила, о самых разных разностях заводила речь, а ни словечка – мимо; получается, о главном для неё самой и для него, и без умилений-сюсюканий, говорила, серьёзно; и права оказалась – его, немногое тогда понимавшего, оцарапали, изранили даже её слова, так больно оцарапали-изранили, что до сих пор застряли в стариковской памяти, бередают. И запела мама – со сцены ли, с пластинки, хотя голос её доносился откуда-то сверху, из-за потолка; круглолицая, с гладко зачёсанными наверх тёмными блестящими волосами, с васильковыми огоньками глаз, – гори, гори, моя... Да, она пела и на домашнем застолье в ту незабываемую новогоднюю ночь, да, она пела, Оля Лебзак обнимала её за плечи, и мама тогда едва ли не всю ночь пропела, и как же теперь, теперь, нежно и требовательно трогали внутренние струны, доносясь из прошлого, вопрошавшие слова, прощальные интонации: глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь ли лица, давно позабытые? А наутро болела голова, и ёлка осыпалась, мама веником сметала в совок иголки, заодно выметала из углов конфетти. И что же стряслось с отцом, что значит – пропал? И дым папироски закрутился над пишущей машинкой, над стопкой казённых листков, взятых для перепечатки домой со службы; сестра Анюты и дальняя кузина отца Соня, Соня-пулемётчица, как с обязательным вздохом называла её соседка, проживавшая за стенкой, оборвав дробную очередь букв, читала ещё не выучившему таинственно звучащий язык Юрочке вслух по-французски Пруста. Правда, Юрочка выростал уже из коротких штанишек, быстро выростал, но Соня и грудного младенца бы соблазнила музыкой прекрасной французской речи: нескончаемая и полифоническая, тонко нюансированная прустовская мелодика была, по внутреннему убеждению Сони, куда полезней детскому уху и тем паче восприимчивой и трепетной детской душе, чем, к примеру, рифмованные назидания Маршака с Чуковским. Соня... так и не разгаданный сфинкс. Дым папироски улетучился, материализовался ноябрьский, дождливый, с облетевшими каштанами Львов, мокрый, с чёрными лентами и увядшими букетиками, желтоватый холмик не без труда найденной свежей Сониной могилы; да, опоздал на похороны.

В который раз уже вздрогнул. Почудилось – Катя укоризненно посмотрела с настенного застеклённого фотопортрета.

Как нелепо погибла Катя, как нелепо.

Череда гробов, могил...

Наболело... И вдруг боль прорвалась, будто б вытекла из него, растеклась, он будто бы уже тонул, пуская пузыри, в собственной захлёстывающей боли.

Каким самовлюблённым отстранением – нам-то ещё жить и жить! – сопровождаем мы умирание других... И как ничтожны перед шагом в забвение все те сиюминутные заботы, которыми мы засоряем дни.

Странно-то как, внутренняя боль его – снаружи, накатывает извне волнами, захлёстывает; так хочется пожалеть себя. Или – пуще того – оплакать. Дал волю эго... Но тут же вновь испытал ещё и укол стыда. Стыда за всё, что сделал и не сделал, за всё, что убеждённо ли, бездумно написал и наговорил?

Сколько раз намеревался начать с чистого листа в ближайший понедельник, но понедельник за понедельником исчезали в прошлом, а так и не начал жить по-другому: тему судьбы не переменить.

Спихватился... Итоговая расплата за то, что высокомерно ставил своё увлечение искусством впереди жизни? И конечно, заслонялся искусством от жизни-смерти, использовал его как щит: натуральная жизнь обращается в тлен, тогда как эфемерности искусства – вечны; великие художники и писатели и вовсе считали подлинной реальностью лишь самое искусство.

Ну да: «искусство сильнее природы», и прочая, и прочая в том же духе.

Великие художники, писатели... наивно-выспренние их манифесты... И он, паразитирующий на чужом творчестве фантазёр-шелкопёр, он, не пожелавший подрезать себе крылышки, туда же?

Да, да, туда же: в зазор между сущим и постигаемым врывается воображение, он фантазировал и фантазиями своими решительно менял картину давно известного. Да, вспомнил, ведь и в раннем детстве ещё он привык смотреть на лес за окном сквозь другой лес, морозом нарисованный на стекле, а привычка-то – вторая натура; вот и смотрел сквозь свои фантазии и на обыденность, и, конечно же, на искусство... В утробе его компьютера вынашивалась, а затем – из шелестяще-лёгкого дыхания принтера – рождалась особая, неповторимая – но! – подлинная реальность, никакие аргументы не убедили бы Германтова во вторичности, тем паче – во второсортности своего призвания, хотя он интерпретировал-препарировал чужое творчество. Художник – отвлечёмся от имён, веков, стилей, оценим всего лишь упрощённую методическую модель – стоит себе у мольберта, взволнованно поглядывает на натуру и пишет пейзаж, преобразая то, что он, художник, переносит на холст, движениями своей души, которые, собственно, и управляют палитрой, кистью; а он, Германтов, тоже взволнованный, ещё как взволнованный-взбудораженный выдумщик-фантазёр, в свою очередь, со своей индивидуальной призмой-фантазией наготове стоит за спиной художника, именно – художника, не копииста, стоит и смотрит из-за спины его. О, тут есть болезненный, по крайней мере, щекотливый для нашего героя момент, есть, он, такой амбициозный, и вдруг – за чьей-то спиной, хотя... Он не признаёт ведь строгих иерархий, он уравнивает художника-творца с Богом, а уж за божьей спиной даже самому передовому – «безбашенному», по оценке иных студентов, – профессору-концептуалисту постоять не зазорно; впрочем, и заведомая скромность позиции не мешает ему на всякий художественный акт смотреть чуть-чуть свысока, будто бы с очередной, но приподнятой именно для него, Германтова, ступени непрестанно длящегося творения: написанный ли художником, ещё только пишущийся на холсте пейзаж или любой фрагмент этого пейзажа, скажем, облако, выписанное на холсте, для Германтова, в силу упомянутого уже уравнивания им статуса творцов, небесного и земных, остаётся таким же недовершённым и живым, таким же первозданным, как и облако природное, принадлежащее кисти Бога и отрешённо плывущее как раз сейчас за окном. Так вот, пусть и из-за спины живописца, а смотрит он на исключительную и досель небывалую, издавна сращивавшую внешнее и внутреннее, однако теперь ещё и подчинённую актуальному взгляду его, Германтова, натуру. О, поверьте, он возвысится и даст волю фантазии, он её, небывалую натуру ту, теперь по-своему перепишет: вытащит тайны из неё, даже те тайны, о которых не подозревал сам творивший её художник и... и потому вовсе он не на вторых ролях! В самом деле, кто такое оспорит? Разве искусство, весь необозримый мир искусства, где нет ничего раз и навсегда устоявшегося, где во всякую эпоху заново сплавляются образы природно-предметной, внешней действительности с душевными порывами художников, «ведов» всех мастей и активных про-

нищательных зрителей, – не восхитительная натура? И разве он, Германтов, фантазёр и концептуалист, не обладает холодностью и страстностью взгляда на эту всегда неповторимую, всегда для него магнетическую натуру – холодностью и страстностью, теми необходимыми контрастными качествами восприятия, которые объединить в своём ищущем взгляде способен только первооткрыватель-художник, сравнимый с Богом?

Конечно, художник, соискатель и открыватель новых гармоний, стоя перед мольбертом, в собственном, заострённом волнении-вдохновении восприятию внешней действительности сталкивался вдруг – будто в первый раз и в последний – с вечно подвижным божьим миром как с хаосом, преодолевал затем хаос на свои страхи и риски, превращал-преображал хаос в свой единственный вариант космоса, а наш уникам-искусствовед, наш мэтр-концептуалист, соглядатай тайных творческих импульсов, вроде бы приходил на готовенькое... Однако не всё так плоско; не страдая от скромности, Германтов выстраивал впечатляющие взаимосвязи условных, вроде как стоящих за спинами друг за дружкой ключевых для развития искусства фигур и пульсирующих преобразований хаоса в космос, космоса в хаос, снова – хаоса в космос... преобразований, которые замыкают в вечный поисковый круговорот творческие усилия Бога-создателя, Художника и, наконец, Истолкователя-интерпретатора; то есть о себе и немаловажной роли своей истолкователь-интерпретатор Германтов, понятное дело, не забывал; поскольку цепочка символических фигур, творящих-транслирующих самое искусство, и непрестанно его же преобразующих, замыкалась в круг, то ситуативно получалось, что и сам Бог, небесный наш Бог-творец, на очередной стадии круговых преобразований хаоса в космос вполне мог очутиться за германтовской спиной.

Короче, космос никому не дано было присвоить или, пуще того – закрыть; само же искусство, воплотившее и продолжающее воплощать во всём корпусе произведений своих – старых ли, новых – многовариантный космос, никогда, повторим, для Германтова не застывало, он ведь воспринимал искусство как околдовывающий, прекрасный, меняющийся в наших ищущих глазах мир.

Ну а сам он, профессор Германтов, он же, напомним, ЮМ, добровольно – но не без оглядки на выпавший ему жребий! – подключённый к этому возвышенному метаморфизму, был во власти странных притяжений-отталкиваний...

Да, он ощущал, конечно, внутренний дуализм, порой болезненно ощущал, но человек творческий всё же давненько победил в нём человека обыденного; он использовал искусство как щит, да, благодаря искусству интуитивно отстранялся не только от плакучих мыслей о смерти, на его глазах косившей родных, знакомых, но и от своенравия самой жизни, бьющей наотмашь и опрокидывающей, пленяющей, опутывающей, как ядовитыми лианами, связями и привязанностями. Не доверялся страстям, довольствуясь пунктиром влюблённостей, которые сулили лишь краткие, зато житейски безопасные взлёты освобождения; избегал любви, да, избегал, опасался мук и подвохов чувств, спонтанно слепых поступков, тех, последствия коих и приблизительно нельзя было просчитать. Он не желал, да и не смог бы, наверное, если бы и пожелал, отдаваться всецело страсти, терять голову от любви; в решающую минуту, готовый будто бы сжечь мосты, сам себя он хватал за фалды. Такой вот тревожно сомневающийся, по-научному, психастенический был у него характер; делая первый шаг навстречу любви, он умудрялся не забывать о путях отхода, а усложнённые цепочки мыслей-остережений удушали мечту, обескровливали живое чувство...

– Ты ни горячий, ни холодный, Юра, ты какой-то прохладно-тёплый, – прижавшись, словно измеряя температуру, шептала Катя. – И ещё ты обтекаемый, тебя ничего не задевает, – с обидой вздыхала; но когда это было!

А уж после Кати – да, да! – никаких обременительных союзов, никаких. Плыл и плыл по течению. Зато в текуче-невнятных, ничем личной свободе не угрожавших, будто бы промежуточных, хотя и волнующе сопровождаемых женскими лицами обстоятельствах – Лида, Вера,

почувствовал, и сейчас, как если бы, оставаясь прежними, телесно-зримыми в памяти, перевоплотились в глубинные фантомные боли, не покидали его; так-так, внезапно память-паучиха вплетала в паутину прошлых жизненных сюжетов новые, радужно взблескивавшие нити, и внезапно же прорезались и непредсказуемо – самопроизвольно? – закручивались сюжеты идей, да, как-то сами собой прорезались, закручивались! И озарялись вдруг горизонты: встреча с нежданно-непредставимой женщиной заново зачинала и по изменённой траектории запускала жизнь. Но сейчас он спохватывался, отказывая жизненным сюжетам и в толике самостоятельности и самооценности. В который раз он мысленно повторял: влюблённости важны были для него вовсе не сами по себе, влюблённости одаривали вдруг озарениями и, конечно, тонизировали сознание, высвечивали заманчивые идеи и помогали ему находить себя; и что тут новенького? Всё как у поэтов, вдохновляемых на лирические подвиги-откровения встречаемыми ли, попутными, задним числом распределяемыми ушлыми литкритиками по творческим периодам, музами; как у поэтов?

Он, и стихка-то за век свой не накропавший, – туда же?

Страдать, страдать... Ну да, опять о том же, о том же: жизнь подлинную, с героистами, трагедиями, страстями, и подлинное, оплаченное жизнью самой, искусство – было такое время! – связывала невидимая, но обязательно кровавая пуповина, а ныне и жизнь, и то, что инерционно называют ещё искусством, скучно и вполне комфортно агонизируют. Вот и он тихо-мирно растратил свою жизнь на искусственные, писчебумажные, как балагурил Шанский, страдания? Но ведь издавна слово росло в цене, слово, возвышаясь, распространяясь, покоряя умы, всё активнее вытесняло живое дело из ценностных координат вечности. Разве и великие вершители Истории этого не понимали? Фридрих Великий, например, не боясь обвинений в кокетстве, говорил, что важнее написать хороший роман, чем выиграть войну. Роман? И он туда же, взапуски-вприпрыжку, не боясь передержек? Роман идей и страстей, Роман с большой буквы, идеалистично-неистовыми защитниками культуры в двадцатом веке – были, действительно были ещё недавно такие наивно-претенциозные времена! – заряжался высокой целью. Роману, обладавшему в литературной иерархии высшим жанровым чином, вменялось не только до – это куда бы ещё ни шло! – но и после гулагов-освенцимов жертвенно противостоять надвигающемуся электронному варварству; и что же, эта наивная цель – навсегда? Ну да, оснащённое сверхбыстрой, обгоняющей самую себя электроникой и, похоже – если по хваткам и профанирующей нахрапистости судить, – непобедимое уже варварство, пусть сменяя маски, пусть и кичась просветительски-цивилизаторской миссией стрижки под оцифрованную гребёнку народных стад, вечно бы надвигалось, а Роман, тот самый, полузабытый уже «неформатный» Роман идей и страстей, всё реже рождающийся, понуро теряющий энергетику и тиражи, в реальности куда подальше, за телеящик и Интернет, задвинутый, по веревке последних из вымирающих мечтателей, однако, вечно бы не сдавался, плоскому сетевому варварству потребительских масс отважно противостоял, вслушиваясь пусть и в затихающее эхо высоких слов. И он, Германтов, многоуважаемый по инерции, реликтовый ЮМ, выгородивший для себя прескромную жанровую нишу, по причине нулевого общественного темперамента ни минуты не помышлявший о своём участии в спасении скукоживающегося культурного мира, – туда же?!

Боже, не мог справиться с собой Германтов, зачем ему эти дешёвые самооценки с натугой? Да ещё он зачем-то вспоминает про давно сданные в архив идейные благоглупости, а надо бы поскорее встать, открыть компьютер...

И почему-то самые простые мысли облепляет какая-то претенциозная шелуха.

Хотя... шаг в сторону, на обочину столбовой, скоростной дороги цивилизации, по которой строго по правилам, без вихляний, несутся одинаковые колёса: жили-были классические романы, с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами, с описаниями природы, а ныне? Ныне идейно и художественно отощавшему роману, роману-дистрофику, подайте на худо-бедность,

прежде всего острые – колюще-режущие – интриги, конфликты? Пожалуйста! Всё вокруг по прихотям всемогущего масскульта мельчает, размножаясь делением, однако и стандартизованный марионеточный человечек как-никак продолжает рыпаться. Даже на фоне компьютерных игр-стрелялок, за которыми не угнаться никак уже на бумаге, не переводятся криминальные интриги и толкающие сюжет конфликты: есть возбудители конфликтов бродячие, под копирку кочующие из текста в текст, ибо кочуют они меж наскучившими полицейскими протоколами, есть – наспех рождённые моментом, есть высосанные из мизинца... Но он-то, Германтов, укрывшийся в своей тесной специальной нишке, как улитка в костяном домике, чем отличается от успешных нынешних романистов? Тем уже, что на сиюминутные межчеловеческие интриги и любовные интрижки не отвлекается, конфликты же, уникальные всякий раз конфликты, высматривает не в жизненной череде дней-ночей, где всё трагикомедийно повторяется, ибо ежесуточно восходит-заходит солнце, а на зыбких стыках жизни с искусством, ещё чаще – в самом заведомо неповторимом искусстве, где с течением времени ничего из найденного и открытого не мельчает, пожалуй, что укрупняется. Высматривает пронзающие века, и – навывлет, в грядущее, сквозь и наш, жестоко и никчемно так стартовавший век – идейно-художественные конфликты. Ну да, давно испытанный им, многократно, уточнений ради, переформулируемый для себя и неизменно служащий мишенью для критических стрел приём! Он, самовлюблённый самозабвенный писака-интерпретатор, понимая, что творческое сознание старых мастеров невозможно реконструировать – а можно ли ныне, на сеансе психоанализа, отыскивать травмы в подсознании пациента, скончавшегося пятьсот лет назад? – актуализирует прошлое, как если бы стало оно именно сейчас изменчивым и подвижным, помещает то ли, это ли из прославленных произведений в новые исторические контексты, по сути преобразует произведение «взглядом из будущего» и обнаруживает в нём то, что прежде от внимания ускользало.

Аналогия, конечно, прихрамывает.

Но он ведь романист в своём роде – разве не так?

Он, странствующий по бездорожью времени, сочиняет «искусствоведческие романы», при том что отменный вкус уберегает его от дешёвых заигрываний с сюжетосложением; недавно даже на «искусствоведческий роман-детектив» сподобился, и никто из персонажей в том запутанно-завлекательном романе идей, творческих страстей и концептуальных предположений не крал бесценные полотна из начинённых видеокамерами и хитроумно защищённых охранной сигнализацией музеев, не расшифровывал с помощью мистических практик древние коды красоты, не... О! – О подобной лабуде он и не позволил бы себе заикаться, «Улики жизни» совсем о другом – торопливая жизнь непроизвольно метит своими потайными следами и заведомо чистое искусство. Ну да, он в поисках художественных конфликтов путешествует по полотнам, каменно-пространственным лабиринтам городов, а тут и там найденные им человеческие следы, хотя бы и «отпечатки пальцев», изобличают присутствие конкретных судеб-историй внутри художественных фантазий. – Сами по себе следы могут быть значительными или незначительными, однако в перипетиях самоценных путешествий по ландшафтам искусства такие следы-знаки лишь ориентируют его, истолкователя-интерпретатора, взгляд. А теперь, на сей раз, что... Детское его фото в сугробах, старенькая закладка в книге, письмо с расплывшейся в лиловое пятно строчкой или ещё какая-нибудь милая мелочь вдруг наметит направление поиска? Смешно, до слёз горячих смешно: – чем меньше ему остаётся жить, тем грандиознее замыслы; комично-безумный вызов небытию? Теперь он, в преклонных – напомним, предъюбилейных – своих годах, суеверно побаиваясь рутинной мести случая за моральную слепоту и прочие прегрешения, и вовсе отправляется в путь за авантюрным романом...

Судьба складывает пазл жизни, почти сложила уже, и параллельно складывается другой пазл, романный? И этот второй пазл конгруэнтен... подвернулось – к месту ли? – математиче-

ское словечко, которое когда-то обронил Липа, растолковывая по телефону какую-то из своих идей; и этот второй пазл конгруэнтен первому...

Ну и что? Лишь удачно себя запутал.

Можно ли будет разные и внутренне противоречивые послы сложить, как пазл, хоть к какому-то совместному закономерному итогу свести?

Да ещё – при смутной боязни того, что путь, спонтанно ли, по указке жребия избранный им, но корректируемый судьбой, был изначально ложным?

Ка-ар-р-р – как громко! – пролетела мимо окна ворона.

Который час?

Щёлка света будто бы потеплела...

Вторая реальность – эфемерная, воображённая – уже с детских лет была для него куда интереснее и важнее первой, а по мере взросления Юры Германтова мир художественных иллюзий и вовсе превращался для него в подлинную реальность. «Ты какой-то странный, какой-то неправильный», – когда-то удивлённо сказала ему Сабина. Да. Многие и после Сабины принимали его за двуное существо из другого мира. Отражения предметов затмевали сами предметы, психика, настроенная на волну мнимостей, всё изошрённое помогала ему принимать подмены зазеркалья за сущее. «Но что с моим „я“ творилось при этом, что? – заворочался в постели Германтов. – Что за трансформации-деформации со мной при этом происходили? Не подменялось ли незаметно для меня самого, преуспевавшего в играх с подменами, моё „я“, мой сущностный стержень? Быть может, и сам я мало-помалу превращался в иллюзию в штанах, становился „ненастоящим“?» Кто я, каков я – не поздно ли возвращаться к детским вопросам? Известно, «я» выявляется, проявляется и растёт в борениях жизни, то есть в активных контактах с внешним миром, допустим, но... Он предпочёл яростному миру – мирок? Мирок, заключённый к тому же в заколдованный круг? Слова, слова... Ничего себе – мирок! Как бы не так. Его-то «внешним миром» как раз и было искусство, бесконечное, вечное. Но его «я» вовсе не ситуативно укрывалось в искусстве от агрессивной, норовящей ныне свести на «нет» всяческую индивидуальность, вспененной повседневности. Он, собственно, и жил-то полной жизнью как раз в искусстве, которое любил, в тайны которого проникал, о, он опьянялся ими, доведившими до головокружения тайнами, не было бы преувеличением сказать, что живопись, архитектура на него зачастую воздействовали, как изумительный, не позволявший быстро протрезветь алкоголь. В искусстве обрёл он полноценную для себя среду обитания – и внешнюю, и, само собой, внутреннюю, ибо именно искусство давно уже формовало и вело по неисповедимым путям его «я». Да, по неисповедимым! Недаром Шанский прозвал его «мэтром альтернативного искусствоведения». В итоге – несколько блестящих книг и тусклая, с подкладкой из позднего стыда, наскучившая самому себе биография; да и неизвестно, сохранят ли блеск книги. Что если и эту, сильно и смело замышленную книгу, да-да, книгу-авантюру, не иначе как авантюру, и впрямь воспримут как невразумительный хлопок дверью? Хлопок – и обрыв, вечная тишь, гладь; но ведь сперва книгу, пусть и сложившуюся, сброшюрованную загодя, в конструктивных мечтаниях, надо бы ещё написать, сперва приехать надо в Мазер, увидеть; кому надо – ему?! Он топнет ножкой, припугнёт Небеса, играющие молниями зловредных случайностей, – и неминуемый обрыв хотя бы отсрочится?

Ублажая его одного, замедлят свой бег часовые стрелки?

А как поведёт себя циферблат судьбы? Навязчиво наглый, однако – непредставимый образ.

Выбился из колеи, никакие поведенческие навыки, которыми отменно владел, уже не могли ему помочь справиться с необъяснимым страхом; чем ближе дата отлёта – тем страшнее...

Всё ближе, ближе были «пятна темноты»?

И сдавливалось дыхание.

И – кап, кап, кап; по капельке и еле слышно, но безудержно утекало время; нарочитая метафоричность? Куда-то подевалась самоирония... И – где оттенки ощущений, нюансы раздумий? Неужели всё, что предпринимал и писал, – впустую, поскольку оказался он сам пустышкой? В опустошающемся сердце-сознании нудно прокручивалась одна и та же закольцованная мысль-эмоция: ну да, упадёт последняя капля... ну да, быстротечная повседневная пестрота зримо оборвётся, как обрывается киноплёнка, и – далее, за судорогой невнятицы – чёрная сплошная дыра; вместе с заслуженным концептуалистом-покойником дыра проглотит привычно пришпиленное к глазам, всё, что всю жизнь было ему так дорого: полотна, города. Сохранят ли блеск книги... Хм, вот так доблесть – поверхностный блеск. Как стояли на полках, на видных местах, так и будут стоять классические книги Вазари, Рёскина, Тэна, Вёльфлина, Беренсона – можно продолжить перечень славных имён, но первый ряд, похоже, заполнен, ему в нём по гамбургскому счёту уже не найдётся места; кто когда-нибудь вспомнит «альтернативного», но самонадеянного истолкователя-интерпретатора, высунувшегося из пены постмодернизма? Сверчок, знай свой шесток. Душно, а страх никак не перебороть; по ощущениям – страх липкий и холодный, как струящийся вдоль позвоночника пот. Страх; верующие не боятся смерти, а он боится, следовательно, он – неверующий, ну да, простенький силлогизм, над которым посмеивалась Аня. И донёсся далёкий её смешок, и ощущения будто бы поменялись, страх физически не осязался, не остужал, но... Не без мучений преодолел в юности внутренний кризис самоопределения, было дело, зато позднее, до и после сорокалетия – самого кризисного, как принято считать, возраста – легко покорял женские сердца, строчил книгу за книгой, при том что не была ни одна из них скороспелой, и на тебе: все прошлые жизненные страхи, боли потерь, до сих пор растворявшиеся в потоке дней, сконцентрировались в остаточном кусте, но как-никак ещё отпущенном ему времени, и не хватало уже сил, чтобы справиться с густевшим, студенистым каким-то страхом. И поздно, поздно, вот оно, ключевое для понимания треволнений-терзаний слово – замирало сердце, поскрёбывало-покалывало в виске от прокручиваний отупевшей мысли-эмоции, – поздно кидаться в крайности и совсем уж глупо ждать спасительных козней нечистого, надеяться на продажу изношенной души дьяволу, дабы подзарядиться энергией зла, но – вывернуться, выйти из позорного договора и употребить чёрную энергию на благое дело. Впрочем, карта этого бродячего сюжета давно побита, допустимость такого нравственного финта, кстати, ещё и у Аняты вызывала сомнения. Дьявол смешон? Вспомнился темноватый неф собора в Ассизи, на своде которого Джотто изобразил дьявола прячущимся за облаком. И на мозаике во флорентийском Баптистерии дьявол так утрированно ужасен, что разбирает смех: у дьявола мощные рога, из ушей торчат змеи, а из зубастой пасти и вовсе торчат ноги несчастного... Ох, страшен ли, смешон, жалок вечный искуситель, однако сам он, Германтов, не прибегая напрямую к оптовым inferнальным услугам, благополучно, оказывается, год за годом распродал свою душу в розницу, малыми порциями. Но неужто и мизерной частички живой души не оставалось в нём? Успеет бы до истечения дней своих той последней частичкой оплатить исполнение невинного, одного-единственного желания: прилететь в Тревизо, пересесть, не медля, на электричку, приехать в Мазер, увидеть... Страх неотделим от надежды? Он, пугливо-нетерпеливый, успеет вскочить в уходящий поезд, тревизанские холмы вскоре поплывут за окном вагона?

Успеет ли, не успеет...

Почему Анята уводила его от вокзальных цыганок, предлагавших «за копеечку» погадать ему по ладони?

Страдать надо было, – вспомнил, – страдать, а он-то что за долгие годы кроме неизбежных личных горестей выстрадал? Ни в войнах, ни, слава тебе господи, в революциях не участвовал. А свои годы на пустопорожние игры ума растратил? Ему, чересчур, на взгляд многих, благополучному, удачливому, уведённому заботливой судьбой от бытовых и карьерных трений, крушений, не говоря уже о стихийно обрушающих жизнь саму трагедий, не выпало даже

и толики драматизма – ни ударов, ни словов: никто не тиранил, не предавал; грех жаловаться, он даже искусственного обострения ради – захотел себя уколоть, но что получилось? – возвёл на кафедральных коллег напраслину, сварливо разыграв обсуждение ими ненаписанной своей книги. Коллеги отнюдь не были столь примитивны, напротив, иных он высоко ценил, и они ценили его идеи, стиль, юмор; вспомнились дискуссии о «Купании синего коня»...

Так, политико-идеологических торможений, тем более – преследований-гонений счастливо избежал: не обыскивали, не допрашивали и не арестовывали, не пытали в застенках КГБ, не измучивали в психушках, даже не лишали постоянного заработка, вот он, эффект обтекаемости – ни тюрьмы, ни сумы; и как тунеядца нельзя было его притянуть, осудить, сослать, чтобы превратить в культовую фигуру или приподнять хотя бы биографию ненароком... За какие выпады против священной государственной безопасности аполитично-добропорядочного преподавателя Академии художеств, не лезущего во славу абстрактной свободы на выдуманные баррикады, не членствующего в союзах-партиях и в самом деле тихо и мирно – при всех-то внутренних бурях – колдующего над вечными загадками Ренессанса, могли бы упечь за решётку или сослать за сто первый километр? Ладно, на поздний сталинизм детство пришлось, но его, обтекаемого, ничто и в туповатых буднях брежневского абсурда опасно не задевало, а сдержанные усмешки, вовсе не зубоскальство, были его реакцией на тот анекдотичный абсурд, не более того. Да и с чего бы на баррикады лезть? Тексты, сочинённые им и, – как было этого не признать? – избегавшие заезженных тем, не черствели-плесневели вынужденно в столе, не уродовались цензурой, взявшей измором многих; чуть ли не от роду обзавёлся он морально неподсудной, автоматической какой-то и вовсе непостыдной самозащитой; не зря Шанский как-то, удивлённо присвистнув, назвал его независимым конформистом... Как объяснить? Да, да, ещё раз – так индифферентно выглядел, что узколобая, но вездесуще-длиннорукая власть так и не попробовала до него дотянуться? Да, на баррикады из высоких слов, воздвигнутые непреклонными говорунами-идеалистами, алчущими повсеместной немедленной справедливости, не лез; какие там баррикады... Не будучи наделённым и каплей диссидентского пыла, не качал политправа понапрасну, не подмахивал протесты и не обличал однопартийный гнёт вслух, хотя бы потому, что врождённое умение абстрагироваться от внешних давлений позволяло ему этот уже ставший бескровным, «вегетарианский» брежневский гнёт-абсурд просто не замечать, однако... И – ещё, ещё раз: чрезмерно не осторожничал, не приспособлялся к всеобщей туповатой усреднённости, предсказуемости, да, узкие рамки единственно верной идеологии, как ни удивительно, не смогли ощутимо ограничить его. Каков же итог? Ничто всерьёз ему не угрожало извне, не мешало думать и писать впрок то, что хотел, вот и получилось так, что обделены глубиной динамикой и животворной противоречивостью книги? За что тихо, но напряжённо с собой – только с самим собой! – боролся, на то и напорлся. И при полутора-то десятках замеченных-отмеченных книг – ни научной школы не оставлял он после себя, ни учеников. Хотя при чём тут наука, школа, что за вздор? Чего нет, того не было и быть не могло: искусствоведение – чересчур скользкая дисциплина. И никого, даже витийствуя на кафедре лекционной аудитории – энергией и вдохновением подпитывал на лекциях вид из окна: плавная, саблевидно-длинная дуга василеостровской набережной, толчея кораблей, барж, а в мгlistой дали, в просвете меж мачтами, снастями, судовыми трубами, портик Горного института, – так вот, даже витийствуя на кафедре, никого не намеревался он направленно просвещать или – пуще того – обращать в свою труднообъяснимую для непричастных, непередаваемо вольную, но твёрдую веру и – само собой – никогда не метал бисер, вообще ни строчечки, ни словечка он не написал для других, специально-адресно – для других.

Высокомерие?

Спесь?

В очередном порыве гордого самобичевания Германтов, слегка оторвав от простыни плечи, вновь упал на спину. Кто хотел бы и мог, тот и сам... Всем не угодишь, на вкус и цвет

товарищей нет... Да и гусь свинье не... Да и как, как у него могло бы получиться иначе? Каждую свою книгу писал без оглядки на традиционные подходы-методы и авторитетные мнения, не зависел и от модных поветрий и уж точно не пытался отвечать на мутные общественные запросы; сам – неожиданно для себя! – находил-формулировал свои цели, а в сочинительстве доверялся воображению и личному вкусу. Ладно, бог с ним, стилистическим блеском. Однако надолго ли и сверхсмелые его идеи-концепты сохранят в архивной пыли остроту и свежесть?

Так-то: тщетность и слов, и дел, сложенных из слов – из чего же ещё?

Из тускнеющих, черствеющих, опресняемых временем слов.

– Ты ненормальный, ты ненормальный, – зашептал внутренний голос, а Германтов посетовал: какой-то бес учинил под утро дебош в мнительном полусонном моём сознании... и тут же... – Нет! Нет ненормального и нормального, – успокаивали Германтова слова Фуко, как если бы тот, оживший, глядя сквозь сильные линзы больших очков, не пробивал его убедительной силой мысли своей, а отпаивал валерьянкой, – нет ненормального и нормального, есть только многообразие.

Ты, ЮМ, всего лишь продукт многообразия, нестандартный, но – продукт, понимаешь?

И что же, было бы лучше – за самобичеванием следовал сеанс реабилитации, – если бы когда-то, очутившись на той ли, этой из внезапных развилок, он мог бы по-аптечному точно взвешивать бесчисленные pro и contra, чтобы оценивать каждый свой поворотный шаг, осознанно – и прислушиваясь к подсказкам совести – выбирать отдельные «боковые» отрезки-направления на своём непрямом пути? И всё бы у него в итоге, под счастливый конец жизненного пути, получилось вовсе не так, как получалось у большинства простых смертных в грубой суетно-скучной реальности, счастливых концов не знающей, а наоборот, то есть – правильно и достойно? Если бы любовных обмороков и семейно-бытовых передраг он бы не убоился, рожал и воспитывал бы детей и занимал бы «активную жизненную позицию»: ввязывался бы во все тяжкие на стороне добра, искал бы управу на зло, боролся и побеждал, жил бы год за годом смело и ярко, на всю катушку, и особенно нечего было б ему сейчас стыдиться, но высокоморальные страсти-мордасти вкупе с подвигами праведного жития затмили бы всё, что открылось ему в искусстве, всё, что он написал об искусстве?

А если хотя бы мысленно обострить изначальный жизненный выбор: любовь или искусство... Он не делал сознательного выбора, но бессознательно, получается, всегда выбирал искусство?

Поздно – так ли смотри, иначе, но и в досужих играх ума поздно спорить о том, что исходно и подлинно, что вторично, поздно себя обманывать, пробуя искусство и жизнь механистично менять местами; с детства ещё, да, с раннего детства, был назначен ему свой единственный путь, и столь высоко ценит, столь увлечённо трактует-препарирует он искусство вовсе не потому, что ему жизнь не удалась...

А если так, то справедливо ли сводить жизнь к хронике постыдных ошибок? Хотя отчего-то никак не найти предлога для оправданий.

И снова провернулся круг мыслей, а он услышал донёсшийся откуда-то издалека, из детства, скрежет колёс по рельсам, увидел почему-то сверху, как если бы смотрел из окна, тёмно-красный тяжёлый двухвагонный трамвай-американку, медленно сворачивавший с Загородного на Звенигородскую... С какой стати? Думал-то он совсем о другом; кружили, заведённо кружили проиллюстрированные до сих пор непоблекшими картинками мысли, но так и не смог понять – почему же не сошлись они с Лидой? Что помешало им? Всё давным-давно минуло: и солнечная встреча с буханьем черноморского прибоя, и зимнее прощание. Доисторическая, если отсчитать годы, потеря – немотивированный, молчаливый разрыв; сквозь метель – мутная желтизна городских огней, промёрзший автобус, уходящий в аэропорт; а чем скорей истекает время, тем болезненнее уколы воспоминаний; он холодел, а страстные, горячие призраки преследовали его.

Стыдно, пусто и – неисправимо; стыдно...

Вот и с Верой расстались как будто без явной боли: тихо, мирно... Недолгий и безобидный флирт, не суливший горьких осадков. Думал: хорошо, что сближение не дошло до последней близости. Но неловкость осталась, почему-то стыдно... за инертность и свою необъяснимую трусость стыдно? И за оскудение чувств, уже не способных на протяжённость? Уже?! Как же, как же, его и прежде ведь, до Веры, хватало только на потное постельное вдохновение. А, снова всё то же – страсть, всепоглощающая, подчиняющая себе всю жизнь страсть трусливо приносилась им в жертву бытовому покою и творческому Абсолюту; не химера ли этот надуманный Абсолют? И почему же Вера выбрала то стихотворение, именно то? «Я кончился, а ты жива...»

Что она имела в виду?

Прижался щекой к подушке; и ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу... а под конец, дочитывая, Вера смотрела ему в глаза: «И это не из удализма или из ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной...» А он не внял, не внял призывному её взгляду, уклонился, ответных нужных слов не нашёл; вспомнилось, как молча, опустив головы, брели они поздней осенью, в пасмурный, с низкими слоистыми тучами день вдоль залива из Комарова в Репино. Неровные полосы пены набегали, огибая валуны, на мокрый пустынный пляж; ломкие чёрно-серые ракушки-замухрышки, слизистые комочки тины, гильзы гниловатого тростника. Вера, поэтичная натура, и тогда, у залива, читала Пастернака ему, и тоже с намёком: «Мне далёкое время мерещится, дом на Стороне Петербургской...» Далёкое время, безнадежно далёкое. И нет уже на свете живой души, с которой он смог бы сблизиться: только собственное прошлое с «пятнами темноты» всё ближе, ближе. И нет свежести чувств, давно нет, а уж как давно распрощался с неуравновешенной молодостью, с замашками-промашками её, с ветром в лицо и дразнящими синкопами неизвестности: из соцветий бывшего собран лишь бесполезный гербарий; одно и то же, одно и то же повторяется, скукотища, поморщился Германтов, как если бы сам он к повторам этим был не причастен, а откуда-то снаружи, покинув его черепную коробку, внутренний редактор лишь безуспешно порывался вычёркивать забуксовавшие мысли. Хм, что за наскучившая чепуха лезет и лезет в голову? Дом на Стороне Петербургской – а кому его квартира в этом доме достанется, кому... Да кому угодно, ему-то какая разница. И кто бы мог подумать? Игорёк-то, вроде бы ребёнок-заморыш, до школы был застенчивым и тихим, аутистом, сказали бы сейчас, в бравого вояку вымахал... Крупный и красивый мужик... И совсем чужой, славный, отзывчивый, разумный, необъяснимо-близкий, но уже – чужой... Чужой? Но как же теперь он похож на Катю.

Противная сухость во рту... Надо сдать анализ на сахар.

Стыдно и... страшно.

Чт если сейчас, именно сейчас, когда он ворочается в постели, Случай изготовился бросить кости?

И что же выпадет ему, что?

Сам ведь виноват, что не минимизировал вероятные вмешательства Случая: не получалось активно, на всю катушку, жить, так жил бы себе спокойной растительной жизнью и не тужил, да ещё – жил бы от рождения в одном месте-гнезде, не покидая его, да любил бы весь свой век одну женщину, да исповедовал бы, верный заведомо светлому идеалу, одну идею... Как всё могло бы быть просто.

И – пусто тоже и при таком раскладе – пусто, только, наверное, совсем по другим, чем при наполненной боями и приключениями жизни взахлёб, причинам; что в лоб, что по лбу... И хотя абсолютного вакуума даже в физике не бывает, навряд ли мог бы родиться и сформироваться в зияниях того ли, этого варианта итоговой опустошённости какой-никакой роман – ищи-свищи.

Боже, что тебя так донимает спросонья, ЮМ?

Тот вариант, этот... Мог родиться, не мог...

А кости-то вот-вот запрыгают по воображаемому столу: ворочайся, не ворочайся, а чему быть – того не миновать.

«Нас всех подстерегает случай... нас всех подстерегает случай...» – забыл рифму и следующую строку. Что-то с мозговыми сосудами? Надо бы выкроить время на томографию. Альцгеймер подкрадывается незаметно.

И тут же опять провернулся круг.

Да, абсолютной пустоты не бывает, её нигде не сыскать, а коли так... Да, догадывался Германтов, пробуя – безуспешно – выделить и слотнуть слюну, именно сгусток концептуальных идей, вроде бы отвлечённых, далёких от сиюминутных интересов и нужд, от безостановочных, на манер заведённо-механического дёрганья шатуна, движений будней, но таких необходимых ему идей, был и возбудителем страхов, сомнений, упрёков совести, и лекарством от них. Пусть так, так... Идеи, книги, главная последняя книга, а как... Как всё то, что выпало ему пережить и написать, увидеть вместе, в органичной, и жизнь саму, и искусство питающей нераздельности? Резко перевернулся на другой бок – Так ведь только вместе и можно увидеть, только – вместе! Разве в каждой его книге об искусстве не зашифрован роман, жизненный, причудливо сплетённый из внетекстовых связей роман?

Так, да не так.

Смешивались, спрессовывались в нём самом уже почти семьдесят лет бытовой сор, пейзажи, лица, объятия, поцелуи, слёзы, пиры, похороны, идеи, порывы, желания, мечты, устремления, впечатления, фильмы, полотна, книги... Но нет у многосоставной, долговременной мешанины, в которую воплотились годы, пропорциональных членений, иерархий, нет композиции и, стало быть, направленного тайного содержания, длящегося и сплывающего разнородные, реальные и иллюзорные, частицы минувшего, тоже нет; ему, признанному дешифровщику-истолкователю композиций, сделалось обидно за бесформенность своей жизни, обходящейся без сквозного смысла. И впрямь, можно ли было бы, к примеру, сочинить и довести до ума роман про столь невнятную, как у него, как бы вынутую из жизни жизнь? Причём с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами, с описаниями природы. Но почему – нет? Вот и заголовочек для такого условного мемуара-романа о жизни, вынутой из жизни, тотчас же прошмыгнул с услужливой издёвкой в сознании: «Семьдесят лет одиночества»; всю жизнь ведь он сам по себе, ему не за кого спрятаться, не на кого свалить вину, не на кого опереться, он – наедине с собой, только с собой.

И вопреки всем невнятиям «отдельной» жизни, в ней, в жизни его, есть... есть престранный, но прочный, сгибаемо-упругий, но прочный стержень. Сам удивился: разве не подтверждает наличие такого стержня эта умственно-чувственная маята на рассвете? Есть контроверза.

Контроверза!

Разве он не слеплен из противоречий и разногласий с самим собой?

Разве в контроверзе – не суть натуры его, не ею ли порождается и стихийность внутренней жизни его, и доминанта «я»?

А развёртывание контроверзы как содержательного посыла и торит, собственно, его индивидуальный путь? И как же нет сквозного смысла у жизни его, когда есть и озвучание контроверзы – тема! Музыкальная тема, тема судьбы с наибольшей полнотой выражает неуловимый смысл жизни, поглощённой искусством, а книги, его книги суть вариации главной темы. К тому же... Он-то – профессор он или не профессор? – должен бы знать, что композиции бывают неявные, скрытые, к тому же во всякой индивидуальной, отдельной жизни, как, к слову сказать, и во всяком сколько-нибудь качественном романе, пусть бессюжетном, свободном, непременно должны обнаружиться, если повнимательнее вчитаться-всмотреться, завязка, кульминация и развязка; так-то, жизнь, как и роман, в скрытом строении своём являющие

нам подвижность противоречий, – трёхчастна? И что же, неявная у него когда-то получилась жизненная завязка – завязка из смутных обещаний, совсем не такая, какая сразу захватывает внимание в безыскуснейшем криминальном чтиве? Так-то, тянулась, тянулась и растянулась – резиновая? – почти на семьдесят лет, завязка, и только сейчас, подступаясь к своей главной книге, он приближается к жизненной кульминации; кульминации из... противоречий?

Что касалось развязки, которая, если играла судьба по романным правилам, пряталась пока что за кульминацией, но с неумолимостью оевала уже Германтова препротивнейшим холодком, то о развязке ему сейчас решительно не хотелось думать.

А Пруст смерти не боялся. Как он, зная, что умирает, сказал, диктуя? «Отложим главное на последний миг: я дополню это место перед своей смертью...» Урок интеллектуальной отваги.

И уж точно тебе, ЮМ, не повредит урок иронии или, если угодно, самоиронии; всего-то несколько строк, не забыл?

Скользя к небытию  
по склону гладкой жизни  
попытайся принять приличную позу

сражаясь с вечным злом  
один в пустынном поле  
старайся не простудиться

споткнувшись о порог  
у входа в мир иной  
не чертыхайся.

Так-так-так...

Тук-тук-тук – еле слышно простучали вдали, на мосту, колёса. И – в тишине – кап, кап, кап. И заплясали на обоях алые блики, жарко и весело затрещали смолистые поленья в белой кафельной печке. Перед красноватым, озарённым огнём холстом – Махов, сосед-художник, чей мастихин на глазах у маленького Германтова чудесно превратил когда-то в зеркало белёсый мазок; огонь в печке, огонь – на холсте...

Щёлка меж полотнищами шторы всё заметнее высветлялась, зеркало заплывало тусклым блеском.

Шкаф возвращал себе дневную материальность.

Хотя лица, призрачные лица девиц, родичей, выдвинувшись вновь на передний план, похоже, вовсе и не покидали текуче-сумрачной, безразмерной спальни, вот вновь склонялась над изголовьем постели мама, за нею... В пыльном и тревожном присутствии теней, говорящих знакомыми голосами, можно было, наверное, уловить и добрый, по меньшей мере, обнадеживающий сигнал.

Сигнал-напутствие родился из тревог невротика? Сигнал-напутствие и – наперекор ему, сигналу, – подстерегающий случай?

Мысли расползались...

Но ни одну из них не смог бы окончательно выкинуть из головы...

Вплетались новые нити, вплетались-сплетались-переплетались, и вот уже память, вся безграничная память, как старинный ветхий гобелен, неожиданно прорывалась, и наспех схватывал её грубый шов, на протёртости и прорехи торопливо ставило заплаты убежавшее время.

Возвращалось мутноватое соображение о двух конгруэнтных – проще говоря, зависимых, взаимно подобных – пазлах.

Но ведь пока пазлы только складываются в условных плоскостях реальности и искусства, их сложением – извне откуда-то – заправляет судьба, а когда сложатся они окончательно, то и...

Не лучше ли, пока жив, на себя надеяться?

Интуиция, эмоция, логика; вот она, никогда прежде не обманывавшая его, им самим на деле успешно проверенная триада: интуиция, эмоция и лишь затем – логика. А сейчас-то Германтову логика не помешала бы и в самом начале. Противопоставлял стимулы возвышенного и повседневного, пробовал искусство и жизнь менять местами. А была ведь какая-то загадочная, но решающе важная связь между бередящими, волнующе-влекущими в кухню стародавних художественных тайн идеями и вроде бы смиренно наблюдающими за ним, ещё не выпутавшимся из шелковистых сетей сна, лицами, посланцами недавнего прошлого? И если была такая связь, и прямая связь, и обратная, то, нащупав её, неуловимую, ускользающую, возможно, удалось бы и сквозной смысл в своей жизни обнаружить на старости лет; так, так, ведь и внешне бессюжетную жизнь судьба наделяет подспудным сюжетом, который проявляется под конец жизни, так? И, значит, вскоре проявится он из невнятицы внутренних бурь, невидимых миру катастроф, из круговоротов сомнений? Как просто: биографию уже структурирует библиография его книг? Да, сочинённые книги, включая, разумеется, и последнюю книгу об унижении Палладио – сочинённую, но ненаписанную пока, неизданную, – образуют многогранную магическую призму; сквозь неё, повернутую к памятьливому взору, этакому третьему глазу, то этой гранью, то той, можно было бы рассматривать – опять-таки в обратной перспективе – минувшую свою жизнь; и отражательно-преломляющая грань призмы, представленная последней книгой, возможно, сулила бы промельк в преломлениях картин-смыслов особо значимых содержаний. Вот ведь как получилось: думал, что лица, поцелуи, слёзы давно и окончательно были вытеснены в кулисы с авансцены сознания куполами, каменными ландшафтами, росписями, полотнами, а с недавних пор, оказывается, всё наново и актуально соединилось, всё снова вместе, на авансцене. Но как же, как сможет увязываться старинный и темноватый – темноватый при брызжущей яркости воплощения – несколько веков назад превращённый в миф художественный сюжет, который, пересочинив его, этот сюжет, на свой лад, вознамеривался Германтов резко осовременить и развернуть в будущее, с сугубо личными мотивами его поведения, с фабулой его собственной судьбы и судеб близких ему людей?

Как сможет увязываться...

Да и есть ли вообще такая, сколько-нибудь конкретно увязывающая природно-чуждые и удалённые материи связь?

Есть связь, есть... Во всяком случае, должна быть.

Причём связь – ускользающая, но прочная, тесная, к тому же выявляющая и в прожитых временах, и в манящих за горизонт идеях главное: нерасторжимость разнородных стимулов-смыслов на скользкой границе реальности и иллюзии. Да, да, связность, даже сомкнутость, а то и слитность как главное для него: разве не существует общий – двуединый? – смысл творческих устремлений и отмеренных судьбой лет? Если сейчас, готовясь в растрёпанных чувствах к поездке в Мазер, и стоит сосредоточиться, то, прежде всего, на свойствах этой неуловимо действенной связи между книгами своими, написанными и ненаписанной ещё и их, книг, интуитивными жизненно-бытовыми стимулами. С годами прошлое приближается, уточняется в своих смысловых рисунках; глупо было бы не воспользоваться тем, что прошлое уже – невыносимо близко.

Ведь и Пруст, вспомнилось как раз Германтову, верил, что для создания чего-то значительного надо обозреть собственную жизнь.

## Часть первая

### В вольных университетах

#### **Картинки из разных, – детских и взрослых, – лет, а также фантом-папа, отчуждённая мама и jovиальный Сиверский, палладианец**

С чего она начиналась, жизнь?

С того, что сразу врезалось в память, – с зимы, снежной, как в бескрайнем, белом-белом, узорчатом и пышно-нарядном, замороженном царстве Берендея, зимы... – вот он, Юра Германтов, свидетельствуя о подлинности воспоминания, тонет в снегах сказочной той зимы, на маленькой серенькой фотографии: короткое пальтецо, башлык, деревянная лопатка в руке, сугробы.

И будто бы в эвакуации, в деревне на севере костромской области, не сменялись времена года, будто он там, в заповедной лесной глуши, дремучей хвойной стеною подступавшей к домам, не радовался лету, – не одолевал ажурной упругости папоротников, не блуждал в густо-пахучих, пронзённых лучистой голубизной, зарослях можжевельника или – в колючих, затянутых радужной щекочущей паутиной малинниках; о, он знал в лесу ягодные места, пил сладковато-прозрачный берёзовый сок, сочившийся из-под надрезанной коры в консервную банку, пьянел от шума ветра в берёзах, взбегавших к небу по зелёным пригоркам...

В радости лета он, однако, окунулся после так поразившей его, так запавшей в память зимы.

Снег был легчайший и мягкий-мягкий, словно бескрайняя перина с лебяжьим пухом, или скрипучий, как крахмал, или, при устоявшихся морозах, слежавшийся, твёрдый и колкий, с шероховатой, взблескивавшей ледяной корочкой, и – при этом – холодный-холодный на ощупь, обжигавший до красна пальцы, и – вот, казалось, спустя миг всего, – чуть подтаявший сверху, солнечно-тёплый, как топлёное молоко; а назавтра – уже почему-то сухой и будто бы мелко перемолотый, как порошок, а потом, – мягкий и рыхло-липкий, годный для лепки снеговиков. Снег непрестанно менял и цвета свои, вот он, белый-белый, только что украшенный лишь рельефным узором птичьих следов, испещрялся ещё и неровными яркосиними полосами, вот синие полосы, сближаясь, срастаясь при снижавшемся солнце, делались лиловыми, но вот и окончательно размазывались по снегу, теряли яркость, будто бы линяли тени стволов, ветвей, а под вечер – снег уже был розовым, почти краплачно-красным, будто бы сплошь залитым клюквенным киселём, и – спустя час какой-то – лазорево-изумрудным при полной, вроде как фосфором натёртой луне, взошедшей над обложенной ватой, припорошенной блёстками елово-сосновой чашей, или – делался снег пепельно-белёсым в чёрной ночи, омертвевшим каким-то, но – с жёлтыми пятнами электрического света, косо падавшими, если повернуть с немалым усилием массивный фаянсовый выключатель, на снег из окон. Те снега, чистые, ослепительные, многокрасочные, – со всеми своими цветоцветовыми контрастами, оттенками, – до сих пор перед глазами, до сих пор расстилаются у подножия запорошенной таинственно-мрачной чащи, на которую, кстати, он привык смотреть сквозь другой лес, тоже таинственный, но вовсе не мрачный, а нарядный, серебристо-льדיстый, нарисованный на оконном стекле морозом.

И смешанного зрелища этого, когда лес накладывался на лес, действительно, он не мог забыть.

Ну да, сложилась произвольно нелепая, но по-своему точная фраза-формула: прошлогодние снега не желают таять...

В снегу тонули по окна избы, снег накрывал их пышными шапками, а брёвна, доски, наличники зарастали пухлым сиреневым инеем... Вороны, гортанно перекрикиваясь, перелетали с ветки на ветку, с деревьев медленно и торжественно падали тяжёлые хлопья. И вдруг ветер принимался сдувать снег с крыш, над коньками их и печными трубами в самые ясные дни взвивались вьюги. И сельские мальчишки прыгали с высоких зубчатых заборов в сугробы, вздымалась и долго-долго плавала в воздухе белая, блестящая, алмазно загоравшаяся на солнце пыль... Все снежные переокраски и цветоносные трансформации с волнением подмечал Германтов, ничуть не завидуя их, деревенских сорванцов, показной удали.

Странный мальчик – он, здоровый, физически вполне развитый мальчик четырёх лет от роду, предпочитал, отслеживая все нюансы оттенков и фактур снега за окном, листать журналы с картинками.

И это перелистывание картинок стало вторым, пожалуй, не менее ярким, чем первое, снежное, впечатлением. Стопка потрёпанных дореволюционных журналов обнаружилась на книжной полке в комнате большого, потемневшего от времени бревенчатого дома с окошками в резных наличниках и прогнившей гонтовой крышей с лишаями мха, где Германтова поселили с бессловесной маминной тёткой, – мама отправилась в эвакуацию с театром, с концертными бригадами должна была выезжать на фронт и не могла взять Юру с собой. В тех журналах попадались разные гравюры с впечатляющими каменными ландшафтами, преимущественно, Парижа с обязательной наполеоновской аркой на Елисейских полях и Рима с не менее обязательными античными руинами, что, несомненно, чудесно предвосхищало будущие профессиональные интересы Германтова. Но тогда запомнились ему прежде всего почему-то две гравюры со штриховыми видами двух других городов, причём именно те две гравюры, которые потом с удивлявшей Германтова повторяемостью встречались ему год за годом на страницах книг и журналов... Эти встречи с давними знакомцами воспринимались им потом как направляющие его к неясной цели знаки упрямого чародейства.

Итак, ему, четырёхлетнему, навсегда запомнились снега военной зимы и две старинные, – восемнадцатого века – гравюры с видами Петербурга и Венеции.

\* \* \*

Как мешали ему теперь, ночью, точнее, на рассвете, пробелы между рваными фрагментами собственного автопортрета!

Ведь даже краткая биография, подумал, предательски распадалась под разновекторным давлением рефлексии; казалось, сколько-нибудь значимые картинки детства, которые он сам пытался складывать сейчас в хронологической последовательности, чтобы увидеть траекторию всей жизни своей, обрести некий сквозной сюжет, и те раз за разом дробились, а осколки-обрывки перемешивались чьей-то властной рукой... И чем заполнить пробелы ли, «пятна темноты», запавшие в душу, как выявить в противоречивых детских томлениях изначальную направленность натуры? Ни будущую целеустремлённость, ни тем более амбициозность в маленьком Юре Германтове нельзя было разглядеть.

\* \* \*

Он не знал своих бабушек и дедушек, их не было в живых, когда он родился, и это незнание не могло не обеднить его эмоциональный мир, ибо дедушки-бабушки омывают детскую душу особой, отличной от родительской любовью.

Но по сути он не знал и своих родителей.

– Ты будто подкидыш, бедненький мой, – вздыхала мама; потом и Сиверский подкидышем-кукушонком называл, ероша Германтову волосы и поблескивая очками... Конечно, под-

кидыш, кто же ещё: полдня проводил у Анюты с Липой – у них, кстати, тоже были старинные иллюстрированные журналы; попозже, когда немного подрос – мог часами торчать у соседа, художника Махова, вдыхая пьянящие ацетоново-олифовые запахи масляной живописи, всматриваясь в чудесно возникающие на холстах из-под ударов кисти загадочные изображения.

Обучение и воспитание примерами, впечатлениями?

И словами, само собой, но – без дидактики?

Возможно.

Никто – ни Анюта с Липой, ни Махов, ни Соня, – специально и целенаправленно ничему его не учили и учиться не заставляли, никто направленно – что такое хорошо, что такое плохо – не воспитывал; до чего же вольно он, оказывается, рос! Сказка, да и только! Никто ему не давил на психику.

И он, словно в благодарность за это приволье, никого не отвлекал вопросами, капризами, шумными играми... Он никому из домашних не надоедал, никому не доставлял неприятностей, не давал и поводов для естественного материнского беспокойства – ни кори, ни ветрянки, ни скарлатины; он не простужался даже, не помнил, чтобы ему когда-то ставили градусник...

Он не знал отца, почти не знал мать...

Да, отец исчез до его рождения, на нет и суда нет, а вот мама никуда не исчезала, а он только видел её, да и то изредка и как бы бесконтактно, со стороны – видел и старался запомнить плавные движения, поворот красивой головы; и слышал, конечно, как она пела. Когда она последний раз пела дома? Пожалуй, на встрече Нового года, да, да – на встрече тысяча девятьсот пятидесятого года, отмечали середину века... Или всё же это была встреча другого Нового года, попозже? И был он, соответственно, старше? Не проверить, по малости лет он вполне мог что-то с датировкою перепутать, а больше никого из тех, кто звенел в ту ночь бокалами, уже нет в живых. Но что точно, то точно: тогда ли, позже, но приехали гости из Львова, дальние родственники, Александр Осипович Гервольский с женой Шурочкой. Они за полчаса до боя курантов и гимна, мощно исполненного Краснознамённым ансамблем и немецким трофейным радиоприёмником, вернулись из театра имени Пушкина, из бывшей – и нынешней – Александринки, где давали не что-то легкомысленное, как полагалось бы по стандартам репертуара под Новый год, не какую-нибудь там затхлую костюмную комедию положений с переодеваниями, пощёчинами и сочными поцелуями, а премьеру «Живого трупа»; жарко обсуждали игру Симонова – Феди Протасова, и Лебзак – цыганки Маши. Сверкала нарядная ёлка, сверкал бутылками и баккара стол. Сиверский, искромётно-весёлый громовержец и по совместительству – тамада, произносил басовито-баритонные тосты-пожелания; бабахая пробками, пили замороженное шампанское, потом «Столичную» водку и «Цинандали»... Вдруг – звонок, явилась заснеженная Оля Лебзак собственной персоной, с гитарой и слегка уже захмелевшая в другой компании, у друзей-артистов, пировавших неподалёку, на Бородинке. О, восхищённо заплодировать стоило сразу, едва Оля в перспективе коридора, небрежно тряхнув плечами, превратила снежинки в капли, скинула котиковую шубку на руки Сиверского! Фантастичный новогодний сюрприз для четы Гервольских, им подарили продолжение потрясающего спектакля. Однако Оля – в белой блузке, коричневом расстёгнутом жакетике и удлинённой болотно-зелёной юбке со смелым разрезом – сошла со сцены академического театра не только для заезжих гостей, но и для десятилетнего – о нём, на счастье, все позабыли, не отправили спать – Юры Германтова; не исключено, что и вообще для него одного сошла. Как она там, на сцене, покоряла и с ума сводила Федю Протасова, Германтов не знал, но он, видевший Олю раньше лишь мельком, теперь никак не мог уже уберечься от её манящей и опьяняющей близости, от неё, такой распутно-живой, горячеей, нервно и будто бы обречённо откидывающей с бледного чела волнистую прядь тёмно-каштановых волос, от её серых, гипнотично-порочных, брызжущих запретными желаниями глаз и вкрадчиво-развязных движений; как остро,пряно пахли её духи... Оля жадно отпивала из большой запотевшей рюмки водку – кто ей

на тарелку от избытка чувств подкладывал буженину? – и что-то, чудесно подзаряжаясь огненными глотками, с надрывной, но и с приглушённой при этом, как бы загнанной вовнутрь горечью плакальщицы, заранее оплакивавшей скорую собственную погибель, пела хриплым низким голосом, аккомпанируя себе на гитаре. У неё был, пока пела, прожигающий и при этом влажно-замутнённый какой-то, словно горючими слезами размытый взгляд... И как же он, потрясённый звучащим зрелищем и своим живым участием в нём, судорогой насквозь пробитый, не способный к простейшим умозаключениям, её полюбил, сразу и навсегда полюбил, испытал первый на своём веку и потому ошеломительный прилив эротизма. Голова закружилась, знакомые лица понеслись по кругу, как если бы все родичи и гости расселись не за столом, а на быстро-быстро крутящейся карусели; к тому же незаметно для себя и гостей сделал несколько больших глотков «Цинандали»; под каждый тост Сиверский с шутовскими гримасами делал глубокий вдох и салютовал – выдувал-выстреливал из какой-то трубочки свой салют; из пневматических залпов рождались ярко-рассыпчатые облака конфетти, и мигали-перемигивались разноцветные лампочки, мерцали, зеркалисто бликовали стеклянные ёлочные шары, пики, гирлянды золотого и серебряного дождя, да ещё кто-то из гостей слепил фото-вспышками. За волной чувственности накрыла и – будто ещё и острое что-то пронзило сердце – зрительно-звуковая волна, тут же, на глазах, в вибрациях барабанных перепонок рождавшегося искусства. Как пела она, как пела; дорогой длиною, да ночью лунною... Да, опять-таки впервые на своём коротком пока веку ощутил он, что две стихии – любви-страсти и искусства сливались в Оле, в её затуманенном взоре, дрожащем на грани срыва, но необъяснимо плывучем голосе, нервных движениях рук и плеч. Она, собственно, и была воплощением-олицетворением их, этих стихий, и обе эти стихии, слившись в одну, олицетворённую ею, теперь и его захлёстывали, он тонул, чувствовал, что тонул, пускал пузыри... Бывают ли настоящие цыганки с серыми глазами? – не мог не подумать Германтов, вспомнив о повадках вокзальных черноглазых гадалок, и тут цыганский романс вместе с Олей, в два голоса, но в отличие от Оли – без надрыва, а протяжно, будто б с долгой измучивавшей болью, исторгавшейся из неё, так что боль ту не оставалось сил сдерживать, запела мама, и, казалось, на длинной дороге в лунной ночи он услышал звон колокольчиков; очищая мандарин, уже не мог понять, кого он любит сильнее – Олю Лебзак или маму?

И потом мама пела одна.

Нет, не глаза твои увижу в час разлуки, не голос твой услышу в тишине...

Захмелевшая Оля обняла маму, прижала к себе, мама, стряхнув с глянцевиных волос конфетти, запела: гори, гори, моя звезда... Потом – мелькали образы далёких чудных стран... Потом – моё признание вы забыли... Потом – но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня... Потом – только раз бывает в жизни встреча, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется... Как обострённо он воспринимал всё в ту ночь, всё, что видел, слышал, недаром всё-всё, взгляды, жесты, интонации, сохранила память; тост, новый цветистый залп конфетти, и – я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в душе моей обиды нет... И – слёзы подступая, льются через край... И – я помню вальса звук прелестный, а потом – твои глаза зелёные, уста твои обманные... – А потом, потом, что же запела она потом? Снился мне сад в подвенечном уборе? Да. А потом ей дали передохнуть, слушали Козина – веселья час и боль разлуки готов делить с тобой всегда... Пусть осень у дверей, я это твёрдо знаю, слова любви сто раз я повторю... Не уходи-и-и, тебя я умоляю... Дружно, но нестройно и мучительно-радостно, кто в лес, а кто по дрова, подтягивали. Мама редко пела на домашних застольях, возможно, берегла голосовые связки, а когда, подвыпив, распевались безголосые гости, посматривала на них со скорбным видом – так, наверное, строгая экзаменаторша в консерватории посматривает на бездарных вокалистов-абитуриентов; да, береглась, побаивалась, что грозит ей искажение тембров и появление комков в горле, которые не прокашлять. С голосовыми связками её, последовательно ослабевавшими от звуковой вибрации из-за постоянно возрас-

тавшей репертуарной нагрузки, немало и, увы, безуспешно вскоре провозятся лучшие ларингологи и светилы-фониатры – не помогут ей специальные ингаляции, парафиновые компрессы... Но тогда форсированное чувственное пение Оли, очевидно, и маму разбередило, она рискнула запеть в полную силу и уже не смогла остановиться. Он, не отводя глаз, следил за её открытым подвижным ртом, за волнующе менявшим контуры тёмным, с розоватым блеском нёба, провалом рта, обведённым ярко накрашенными, гибкими такими, выпуклыми губами. И как же дрожали звуки там, в таинственной коралловой глубине провала, в глубине горла, где, чудилось ему, перекатывались, ударяясь слегка друг о дружку, мелкие-мелкие, звонкие, как колокольчики, камушки, и тут же различимые на слух дрожь и слабые колебания отдельных звуков образовывали мощный и нежный, обогащённый своими тембрами у каждого звука, но сплошной неудержимый поток; а мама пела, пела: утро туманное, утро седое... Немели кончики пальцев, сердце сжималось от предчувствия огромной жгуче-счастливой и – непременно – горестной, с потерями и слезами, жизни, поджидавшей его: глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь ли лица, давно позабытые... И как же к лицу ей было светло-голубое платье с круглым вырезом на вздымавшейся груди, сшитое из парашютного шёлка! Вот она, рядышком, поющая и живая, повезло: обычно мамино пение несло, заполняя волнующей игрой звуков комнату, с патефонной пластинки, угольно-чёрной, поблескивавшей при вращении хрупкого круга, а сама мама, живая, но какая-то отрешённая, расставляла на столе тарелки, фужеры... И вдруг чистой синевой вспыхивали её глаза.

– Синеокая, – сказал кто-то из гостей и предложил маме псевдоним, как бы совмещая комплимент с шуткой: – Лариса Синеокая, бесподобно!

– Для исполнительницы романсов – прекрасно звучит, – не совсем тактично поддержал другой гость, – особенно если шаль накинуть и усиливать жестокие романсы мимансом цыганщины.

Заметил, как у мамы дрогнула жилка на сильной стройной шее, качнулись финифтяные бусы. Мама округлым плечом повела, давая понять, что ей ближе серьёзный репертуар... но и впрямь была она синеокой – «смотрела синими брызгами».

С тех пор и Сиверский, обнимая её на людях, ласково глядя на неё сверху вниз, говорил: – Синеокая ты моя.

А Германтов ревновал.

Как объяснить? Он и маму, и Сиверского любил, но всё равно ревновал маму к Сиверскому.

И – мучился, как мучился он, даже при нудном обсуждении гостями «вагнеровских» и «вердиевских» признаков в голосах певцов. Да и как было ему не мучиться, не ревновать, если Сиверский маму всё ещё обнимал за плечи? Мама словно и тогда отсутствовала, когда сидела за столом рядом с ним; Германтову ситуативной близости её не хватало, он хотел, страстно хотел, чтобы она оставалась с ним, только с ним, всегда, но он стеснялся этого страстного своего желания, своей любви, и как мог своё стеснение скрывал, словно побаивался того, что об этом, наверное, неисполнимом желании и о безответной его любви к маме узнают другие.

Какая она была, какая?

В чуть полноватой стати её, в посадке и поворотах головы, в повадках и характере неторопливых движений было что-то от кустодиевских красавиц. Но в памяти лишь сохранился абстрактный образ: без зацепляющих навсегда словечек, улыбок, жестов... без запахов.

Мама даже тогда отсутствовала, когда вдруг гладила по волосам и целовала его, подкидыша, словно возвращала себе навсегда сына, прижималась на миг щекой к щеке, и его пробивала дрожь.

Думала не о сыне, о сцене?

И, отсутствуя, когда бывала дома, присутствовала там – в театре, на гастролях, в студии звукозаписи.

Но почему-то и в свой театр она сына не приводила. Не поверите, он так и не услышал, как она пела в опере, со сцены, прижимая ладонь к сердцу или, словно помогая высвобождению звуков, прижимая обе руки к вздымающейся груди, прохаживаясь меж пышно изукрашенными фанерными декорациями дворцовых зал; да и раз всего он побывал на утреннике в Мариинке, причём не на оперном спектакле, а на балете, как было принято, на «Щелкунчике»; сидел – в кассе ждала именная контрамарка – в первом, литерном ряду, утонув в зеленоватом плюшевом кресле; со сцены, такой близкой и по причине приближённости своей вовсе не сказочной, хотя на ней танцевали пыльные фетровые мыши, несло тошнотворно-сладкой смесью пота и пудры.

\* \* \*

Германтов с детства, от рождения, был обречён на одиночество.  
Впрочем, об участии своей он задумался лишь через много лет.

\* \* \*

По смутной ассоциации Германтов, когда шествовал по Невскому мимо костёла Святой Екатерины – перед барочным фасадом отступившего в курдонёр костёла разбивали свой неряшливый табор уличные художники, – непременно вспоминал об отце. Ярмарочно-коммерческий табор – между стендами с торопливыми живописно-графическими поделками повадились к тому же сновать на роликах нагло в лихие парни в приспущенных на задницах камуфляжных штанах и долговязые девицы в наколенниках, с голыми животами, с кольцами в пупках – мешал, конечно, самоуглублённым раздумьям, но с годами Германтов вспоминал об отце всё чаще, словно именно здесь, близ костёла, чувствовал вдруг свою вину за судьбу отца, за его гибельные прихоти и отчаянное опасное легкомыслие; думал неотвязно на солнечном Невском о суровой, рискованно-счастливой отцовской молодости, невольно сравнивал со своей пресноватой молодостью – ничего общего; а уж как хотел представить себе зрелость, старость отца, представить его во временах, до которых он не дожил.

Да, был период, когда неотвязно думал он об отце.

И, само собой, там же, на Невском, проходя мимо костёла Святой Екатерины, внешне невозмутимый Юрий Михайлович с замиранием сердца спрашивал себя раз за разом: а что бы сказал отец, если бы чудом выпало ему прочесть книги сына...

И даже когда боль ослабела, сейчас, ранним утром, тоже почему-то вспоминалось всё то небольшое, что за долгие годы узнал об отце с чужих слов. О, он многократно – и сейчас тоже – пытался сложить из случайных деталей портрет, хотя бы пунктиром прочертить жизненный путь.

Хм, он человек был в полном смысле слова...

Так ли?

Поди-ка разберись.

Загадочный, будто бы бесплотный и бесплодный отец-литератор, наверное, дилетант-литератор. Повеса, бессребреник, весельчак, остряк и выпивоха, душа компаний, но, знаете ли, без царя в голове, – бывало, говаривали о нём. Кто, кто, без царя в голове, переспрашивали. Миша Германтов? А-а-а... А что с ним перед финской войной стряслось, не знаете? Что? Сразу после финской войны? Ну и зима была, бр-р-р. Подождите, когда его взяли, с Лившицем? Нет? Беню раньше взяли? А Заболоцкого – позже? А-а-а, Беню – тогда же, в тридцать седьмом, когда брали Стенича, Юркуна? Действительно, смутно припоминаю... Им террори-

стическую организацию безо всякого дознания припаяли. Но когда же всё-таки взяли Мишу, и по какому он-то проходил делу?

Бывает ли судьба у фантома – вот в чём вопрос.

Михаил Вацлович был, похоже, вполне легендарной фигурой в беспутной своей среде, но – вздыхали – не успел раскрыться; хотя, по правде сказать, судьба Михаила Вацловича словно боялась фактов, лишь фрагментарно и как-то абстрактно отражала ходячие легенды, которые заслуженно сопровождали по жизни и уж само собой после смерти его избранных славой друзей-приятелей-знакомых, отчаянных, нервных, эксцентричных и то анемичных, то искусственно-возбуждённых творцов и жертв начинённой абсурдом и страхом – пожалуй, и вообще бредоносной – атмосферы Ленинграда двадцатых-тридцатых годов. Творцов, стоит напомнить, заведомо приговорённых. Мы своё будущее сами знаем, хором кричали гадалке персонажи Вагинова; любые литературные опыты были пропитаны страхом, каким-то особым страхом – сплошным и всепроникающим. Ну да, журналчики что-то печатали на плохой бумаге, где-то читались-обсуждались стишки, порхали остроты, анекдоты в дешёвых винных парах, но и веселящее питье было с привкусом грядущей беды – каждый божий день могли взять: предчувствовали скорую собственную гибель, фатально приближали её. Введенского ведь дважды арестовывали в поезде, недаром он писал про «яркие вокзалы и глухонемые поезда». Германтов частенько думал о той блестящей обречённой плеяде лукавцев и эпатажников, отвергавших прямые значения, слишком тонко чувствовавших слово, чтобы их умозрительно-затейливые художественные конструкции, их «формальные выкрутасы», по сути – их прозрения, прикидывающиеся ахинеей, понимали и принимали. Кто-то из них догадался так вести дневник, чтобы дни отсчитывались назад, кто-то в простых фразах хитро менял местами слова, получалась дразнившая языковое воображение абракадабра. Каждый по-своему и все вместе напоминали неумелых, но отчаянно азартных канатоходцев, с напускным бодрячеством балансировавших над пропастью, или переигрывавших актёров-эксцентриков из гротескной постановки Мейерхольда за миг до обрушения декораций. Введенский будто бы говорил кому-то из друзей, прогуливаясь с ним по Летнему саду, что главное для него – не писать стихи, а самому стать искусством: сделать жизнь, «зажечь беду вокруг себя». Но не стихи ли, их колюче-шероховатая неповторимая интонация и лишь затем – само алогичное поведение поэта желанную беду зажигали... Нарочито снижали стиль, за гибельным игровым отчуждением прятали потаённо-стыдливый поиск героической ноты? Однако Ювачев-Хармс с Введенским, Олейниковым или, к примеру, Стенич, бросавший вызов всем и вся хотя бы своим дендизмом, успели до трагических для них событий раскрыться, и как полно, ярко раскрыться, а отца в чистках «Кировского призыва» и тридцать седьмого пощадили, до конца сорокового года не трогали, но раскрыться он не успел. Разве не обидно? И никто не помнил о нём, никто? Даже шальные, болтливые обитатели Дома искусств? Ох, Германтов-сын проштудировал – именно проштудировал! – «Сумасшедший корабль» в надежде опознать отца среди ярчайших теней, сомнамбулически бродивших по его палубам-коридорам; куда там... И конечно, «Полутораглазого стрельца» тоже проштудировал, тоже безуспешно; а сколько он просмотрел мемуаров, дневников – терриконы пустой породы. Ладно, многих, обэриутов прежде всего, уничтожали, сажали, но ведь все Серапионовы братья выжили, кто с божьей, а кто и с партийной помощью, дожили до почётных седин, однако ни словечком никто из них не обмолвился о Мише Германтове. И опоязовцы, до последних дней своих озабоченные уточнением взаимных обид, не удосужились о нём вспомнить. Полгорода было друзей-приятелей-знакомых, а от него даже не легенда осталась, а след легенды, расплывчатый; и на фото, кстати, не лицо сохранилось, а призрачный след лица, прячущегося в тени шляпы. А на другом фото – совсем мутном – отец позировал в котелке. Иронизировал самим видом своим над дендизмом Стенича? Или попросту дурачка валял, с грустной оглядкой на Чарли Чаплина? Да. Будто бы отцовские розыгрыши ценили, и вкус ценили, и остроумие – поди-ка теперь проверь. Об отце,

кажется, расшифровывая для печати свою телефонную книжку, упомянул что-то Шварц, он, кажется, был последним, кто виделся с отцом – в театре, на мейерхольдовском «Маскараде», чуть ли не за день до ареста самого Мейерхольда. Записки Шварца переиздали недавно, дай бог память, в «Азбуке» или в «Амфоре», но всё недосуг достать, заглянуть. Так, Мейерхольда арестовывали в Ленинграде, в его квартире на Каменноостровском проспекте, жену его, Зинаиду Райх, в ту же ночь убивали в Москве, но какое отношение к этому мог иметь отец? Да... что-то упоминал об отце Махов, сосед-живописец, правда, упоминал мельком, вскользь, они с отцом будто бы сталкивались в каких-то редакциях, кажется, в «Детгизе» у Маршака, где Махову заказывали иллюстрации к стихам и сказкам. И Аня с Липой, хотя бы на правах самых близких отцовских родственников, могли бы об отце кое-что рассказать, пожалуй, и не кое-что, многое, но Германтов-сын, как нарочно, был слишком мал, когда Аня с Липой ещё были живы, чтобы задавать им осмысленные вопросы.

А потом?

Что он узнавал об отце потом?

Даже мама об отце не распространялась... вычеркнула из памяти, когда у неё появился Сиверский?

И ничего отец из своих сочинений не удосужился напечатать, возможно, что и не было вообще сочинений, из кожи лез вон, чтобы быть на виду, а написал с гулькин нос... Но он ведь и переводил, говорили, не хуже, чем Стенич с английского, переводил также с испанского, французского, причём Пруста, и перевёл, по мнению Сони, отлично – где она успела с ним, переводом тем, ознакомиться? – хотя в Academia предпочли перевод Франковского. Но где, где тот незаслуженно отвергнутый, будто бы в отрывках напечатанный отцовский перевод, где? Ищи-свищи: старики-букинисты на Литейном только плешивыми головами покачивали. И стихи-считалки он, кажется, в «Чиже» какие-то тиснул... или в «Еже»? Много лет прошло, однако так и не удосужился Германтов-сын найти те журналы. Рукописи замечательных отцовских современников в последние годы чудесно воскресали из советского небытия, уже на зависть отменно изданы толстые тома с проникновенными вступительными статьями, толковыми примечаниями и комментариями, а у отца даже рисунки канули, хотя некоторые, особенно уморительно-острые шаржи на городских знаменитостей из артистично-писательской среды, говорят, по рукам ходили, какие-то из тех шаржей будто бы осели в архиве философа Друскина, близкого к ОБЭРИУ, к бесшабашно-гибельному кругу Введенского, и Друскиным – он мудро читал угрозы, своевременно покинул официальную философию, тихо преподавал в вечерней школе литературу – уберёжённом в глухие годы от доносов культурных осведомителей сначала ОГПУ-НКВД, а позже и КГБ. Да, судьба вроде бы о том архиве заранее позаботилась – Друскин ведь по молодости лет не отплыл на философском пароходе, лишь угрюмо помахал ручкой учителям, затем вовремя вошёл в круг тех, кто... И посажен благодаря прозорливому уму и тишайшей осторожности-анонимности своей не был. Но Друскин умер давно, в начале восьмидесятых, да, хороший, умнейший был человек, и на редкость разносторонний, царство ему небесное, а где теперь тот архив, как в него заглянуть? Впрочем, промелькнуло где-то, что архив сдан был в Публичную библиотеку, надо было б навести справки. Как звали-то Друскина, Яков? Как и Сиверского. Архив... ищи-свищи. И кстати, кстати, у Юркуна, если войти уже в мистически-порочный круг Кузмина и поверить преданию, пропал чемодан с его собственным архивом, может, в том чемодане и что-то отцовское, нетленное, залежалось? Ну да, мечта идиота – найти чемодан гениальных рукописей; к примеру, отыскать в карманах мертвецов номерок из камеры хранения, где когда-то был забыт такой чемодан. Да, мальчик, то есть сын, Юра Германтов – был, а был ли отец? Отцовского приятеля Юркуна, тоже дилетанта от литературы и живописи, хотя бы за уши тащил в искусство Кузмин, придумавший своему питомцу и эффектный, спору нет, псевдоним – Юрий Юркун; может, Кузмин и талантливые заголовки к вещам Юркуна придумывал – что там? – «Дурная

компания», «Маскарад слов», неплохо, совсем неплохо для бьющего в глаза заголовка, хотя проза-то, которая дошла до нас, которая издана, слабенькая, жиденькая и слабенькая. И как же везло Юркуну, если какие-то бумаги ещё и пропадали... Слухи о пропаже рукописей надувают миф; правда, кое-какие виртуозные рисуночки-наброски, в отличие от отцовских, после Юркуна остались... Как звали-то Юркуна в прежней, литовской жизни? Ионас Юркунас? Да. И какой же он неопределённый, двойственный, от него частенько бывали без ума женщины, но неизвестно, чаще ли, чем мужчины. Ага, двойственный Юркун мимикрировал – поменял имя-фамилию и приобрёл ореол самозванца, какие-то из его опусов опубликовали, мемуаристы его прославили. А отец имени своего не менял, как был от рождения Германтовым, так Германтовым и оставался; хотя... так-так-так, Гервольский всерьёз называл отца «Германтовским» или с невозмутимым видом шутил? Неужели и отец мог отравиться флюидами революционного времени, народившего самозванцев, и поменять, объявившись в Петербурге, длинную польскую фамилию на укороченную, но зато с исконно русским окончанием на «ов»? Не уточнить уже, не проверить, так ли было, не так – фортуна, похоже, когда-то от отца отвернулась, и никому теперь он не интересен. Отец всех вокруг знал, и все его знали, если верить легенде, однако был он при широкой известности в узких кругах невысокого мнения о своих талантах, шёк явно не надувал, и, может быть, остался от отца помимо проблематичных – есть они, нет? – переводов с французского, детских считалок и шаржей всего лишь – кто-то говорил об этом, но кто, кто? – возвышенно-игривый стих, мадригал, написанный в альбом Ольге Николаевне Гильдебрандт... нет, нет, у неё была пышная, с дефисом, фамилия, да, мадригал был написан в альбом Ольге Николаевне Гильдебрандт-Арбениной. Германтов так и не удосужился достать, прочесть тот стих-подношение, и вот – никаких следов, никаких; отец исчез почти за месяц до рождения сына, как если бы побоялся своего новорождённого сына увидеть... Исчез после премьеры «Маскарада», на которой, в фойе Александринки, и промелькнул в последний раз, даже о чём-то побеседовал со Шварцем, кружа по фойе; ну да, жена была на сносях, а отец, светский ветреник, не мог пропустить мейерхольдовскую премьеру...

Именно исчез – будто бы растворился, испарился.

Или нашёл ненароком пробоину в безумном времени и – выпал.

Увы, и тут был он неоригинален, до него сенсационно и бесследно исчез ленинградский литератор Добычин, но об исчезновении Добычина все сведущие в литературе и в подноготной заметных литераторов люди шептались, выстраивали из испуганного шёпота разнообразные, но вполне достоверные – от самоубийства до политического убийства – версии исчезновения. Добычина, неподражаемого минималиста в стиле своей прозы и аскета в жизни, накануне исчезновения прорабатывали за безыдейность и формализм на идеологическом судилище в Союзе Писателей, а отца официально в формализме не обличали, он, похоже, даже в членах Союза не состоял, во всяком случае, в печатных членских списках не значился. И если Добычин стал символом тихого таинственного ухода и из жизни, и из серьёзной, чистой литературы, то исчезновение отца, почти никем, наверное, незамеченное и вроде бы с литературным трудом не связанное, было вообще-то вполне естественным, рядовым как для того отравленного и обезумевшего, словно растворявшего неугодных ему особей в серной кислоте, времени, так и для того зыбкого, помрачившегося, потеряв себя, и надолго заболевшего места – найдётся ли ещё на белом свете великий город, который понудили бы трижды за век поменять своё имя? И даже не понять теперь был ли отец столь авантюрной натурой, как о том судачили, – ничем чрезвычайным даже в алкогольно-любовных похождениях своих, как будто, не отличился; не успел раскрыться – жалкий творческий итог уже подведён, – но какая же, судя по постоянному риску арестов и печальному, но словно засекреченному концу, расточительная и беспутно-путаная у него получилась жизнь. Он её, выпавшую на страшные годы, и впрямь талантливо прожил, коли так долго сумел удерживаться на лезвии бритвы... Ещё в юности в тюрьме познакомился с Юркуном, н-да, два романтических иностранца-провинциала, уроженцы Австро-Вен-

грии и Литвы, одновременно и своевременно прибывшие в Петербург; ещё ничто не предвещало беды, а их, тайных соискателей славы, минуты роковые притягивали и завораживали; на их глазах испустит дух Серебряный век и заварится что-то такое, что невозможно было вообразить...

Почему, за какие прегрешения угодили они в тюрьму?

В смутные дни кровопусканий после убийства Урицкого разъярённые чекисты брали всех, кто бывал в доме у Канегиссера, в Сапёрном переулке. Отец будто б раз за разом ускользал от облав, а когда попался, выскользнул и из подвала ЧК – по слухам, ему почему-то протезировали то злой, то добрый, кому как везло, чекистский гений Каплун, поручился! Да, да, и ещё раз да: родившись заново, с кем только потом отец не общался, причём тесно общался, а ни Вагинов, ни Стенич, ни Лившиц, ни Кузмин с Юркуном, ни памятливые Серапионы ни строчечки не посвятили ему, а глубокие, гордые и обидчиво-едкие опоязовцы будто бы не заметили... И почему-то судьба до срока оберегала – да, да, – многократно возвращался к одной и той же загадке Германтов, не арестовывали ни в тридцать четвёртом, ни в тридцать седьмом, когда едва ли не всех его приятелей замели, и потом, осенью сорокового, когда виделся последний раз с мамой, скорей всего не расстреляли, ибо в архивах Большого дома тоже ни одной чернильной закорючечки касательно участи отца не осталось. Победила перестройка, Германтов наводил справки в Большом доме, однако помягчевшие чекисты лишь сочувственно разводили отмытыми от крови руками, нет, отец именно бесследно исчез...

А Ольга Николаевна всё обо всех меченых роком знала: кружившая головы Гумилёву, Мандельштаму, близкая, более чем близкая подруга Юркуна и многих художников, поэтов, она могла что-то и про судьбу отца знать, как-никак долго в одном и том же богемном кругу вращались. Германтов-сын ошибочно думал, что Ольга Николаевна давным-давно умерла, а она жила одновременно с ним, тихо одиноко старела, жила-доживала свой долгий век в убогой коммуналке и сорок лет ждала возвращения из небытия Юркуна, верить не хотела, что он погиб. И никакой ассоциативной странности не было в том, что, проходя теперь по Невскому, Юрий Михайлович со стыдом вспоминал о своём упущении – мог бы позвонить, представиться, условиться о визите: вряд ли Ольга Николаевна стала б уклоняться от встречи.

Упущение? Равнодушие? Или та самая, спрятанная в жалких самооправданиях месть сына отцу или – шире – детей отцам, месть, о неизбежности которой предупреждала Анюта?

Да, Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина, выяснилось, дожила до глубокой старости, да ещё где! – на Невском, в одном из дворовых флигелей на задах костёла Святой Екатерины, в том самом удлинённом, проходном на Итальянскую улицу, дворе, куда и Германтов частенько при жизни Ольги Николаевны захаживал, направляясь на хеппенинги в подвальной котельной Шанского...

И ничего, абсолютно ничего странного не было в том, что, шествуя по Невскому, мимо художественного базара у костёла Святой Екатерины, Германтов машинально вспоминал об отце.

И испытывал при этом приступ стыда.

\* \* \*

Путаная получалась генеалогия. И столько разных кровей причудливо слилось в Германтове, столько контрастных влияний он нёс в себе, как если бы он, родившийся в 1940 году, уже тогда был дитятей, перемешивавшей мировые гены глобализации.

Не потому ли он, выросший фактически без родителей, но вобравший столько разных влияний, так остро чувствовал потом своё одиночество?

Он, сотканный из противоречий, лишённый определённости – и национальной определённости, и сколько-нибудь направленной определённости воспитания, – чувствовал свою потерянность.

Потерянность и – исключительность?

Отец, Михаил Вацлович Германтов, выходец из Австро-Венгрии, из Львова, полуеврей-полуполяк из семьи университетского профессора химии и врача-стоматолога; полуеврей-полуполяк, – генетика как взрывчатое бинарное оружие? Не от отца ли была германтовская, прямо-таки иудейская тяга к абстрактным идеям и умозрительным построениям, которые для него становились важнее жизни, не у отца ли унаследованы припадки, пусть и загнанные вовнутрь, гордыни, прямо-таки шляхетского гонора? А мать – казалось бы, и вовсе гремучая смесь! – казачка с Кубани, да ещё нечистокровная казачка, с пьяняще пикантной примесью: дед её и, стало быть, прадед Германтова был французом с королевской фамилией Валуа – как свидетельствовал дагерротип, полным, с залысинами и залезанными наверх редкими волосами, впалыми висками, заплывшими хитроватыми глазками и упругими щеками французом, потомственным виноделом из Шампани, нанятым в своё время князем Голицыным для селекции виноградной лозы в Абрау-Дюрсо. И если толикой галльских генов объяснялись, наверное, игристая лёгкость и – зачастую рискованная, чуть ли не вторящая мушкетёрскому владению шпагой – подвижность германтовского ума, то уж вовсе логично и своевременно было сослаться сразу на тесные связи Юрия Михайловича с Францией, с Парижем, где он непременно по несколько раз в году бывал – кантовался по кабакам и бабам, чем ещё ему, слегка огламуренному плейбою, там заниматься? – посмеивались догадливые, но склонные к речевым перехлёстам студенты. Действительно, в Париже он, случалось, кантовался и по амурным поводам, хотя чаще желал там всего лишь передохнуть от родимого хамства, проветрить мозги и вкусно поесть, но – потехе час, а делу-то время! – был и прочный деловой интерес у него, не зря в Париже, среди профессоров-гуманитариев Сорбонны, в директорате исследовательских программ Лувра... О, с Лувром отношения нелегко складывались, сначала случился дикий скандал, так как Германтов, приехав в свободную страну, где всё позволено – не зря ведь, надеялся, знаменем свободы намахались на баррикадах, – не побоялся высмеять на совместном Лувра с Эрмитажем симпозиуме протухшие аргументы, на основе коих «Сельский концерт», одну из самых загадочных картин Джорджоне, учёные мужи главного парижского музея, явно склонные к чинопочитанию в живописи, предпочитавшие преспокойно плыть по течению стародавних заблуждений, приписывали кисти Тициана. Хорошо ещё, что Германтов не ляпнул на том чинном симпозиуме, что услужливый дурак опаснее врага, только подумал с гаденькой ухмылкой об этом; не преминул лишь вполне деликатно попенять высокочтимым коллегам, мол, они, намудрствовавшись лукаво, невольно представили нам великого Тициана как мародёра, присвоившего своей кисти картину трагически рано умершего учителя. Да ещё масла в огонь того скандала добавил выход в приграничных с Францией странах сенсационной книги Германтова «Джорджоне и Хичкок», переведённой на шесть – нет, уже на семь! – языков, а вот в безгранично-свободной Франции по понятным корпоративным причинам так до сих пор и не изданной. Кто же посмел им, благонамеренным луврским мудрецам, указать на непростительную ошибку? Чужак, да ещё приехавший поучать обгоняющий все моды Париж из отсталой и не желавшей размораживаться России. А знаете ли вы, как встречаются, с каким сарказмом уничтожают даже «своих» новоявленных оригиналов во французских интеллектуальных гостиных? Достаточно напомнить, как встречали-третировали, как затаптывали Камю – да-да, расхожий исторический примерчик, а уж какой приятный, если не сказать – лестный, для Германтова, мысленно ставившего себя на одну доску с... Между прочим, он и внешне походил на него: прямой взгляд, прямой нос, сомкнутые губы, в самом рисунке которых змеилась скептическая улыбка. Альбера Камю даже тогда, когда он написал «Постороннего» и «Чуму», по инерции чужаком считали – надел, кривились, цивильный костюм,

обзавёлся шляпой и думает, что пуд соли съел в философии... А Камю, пусть и уроженец Алжира, действительно был своим – и философом по складу ума своим, и романистом до мозга кости своим, да ещё и увенчан был Нобелевской премией. Что уж говорить в этой связи о незавидной участи какого-то, пусть и разбитного, языкастого, питерского искусствоведа – чужака-гастролёра, ничуть не подсвеченного к тому же лучами всемирной славы. Вокруг имени Германтова закономерно разгорелась издевательски-злопыхательская полемика, если заинтересуетесь её далёкими от джентльменских методами, достаточно будет ознакомиться в Интернете с разгромными статьями Патрика Клуверта из «Котидьен де Пари».

Однако прошло время, утекло сколько-то воды в Сене, и хотя правоту пронизательного Юрия Михайловича блюстители чести музейного мундира не пожелали признать публично – табличка под «Сельским концертом», как нетрудно проверить, до сих пор приписывает авторство спорного полотна Тициану, – скандал тот вроде бы угас и забылся. В директорате исследовательских программ Лувра, во многих престижных редакциях художественных журналов и в издательствах, – «Галлимаре», «Фламарионе», «Дифферансе» (кстати, именно в «Дифферансе» по вздорной, хотя и изложенной с французским шармом причине – мол, мы не падки на сенсации, извините) предложение опубликовать «Джорджоне и Хичкок» отклонили, потом и в «Грассе» перепугались публиковать. Однако во многих престижных издательствах, где в авторизованном переводе начали выпускать прочие его книги, метко названные одним из рецензентов «искусствоведческими романами» – например, «Ансамбль тысячелетий (семь с половиной взглядов на Рим)», «Стеклянный век», «Улики жизни», «Портрет без лица», «Зеркало Пармиджанино», «Перечитывая Санкт-Петербург», – Германтов уже не вызывал явного раздражения, возможно, что и его, подозрительно разбитного пришельца с посткоммунистического Востока, уже в духе политкорректности за компанию с прочими разношёрстными выходцами из Третьего мира посчитали «своим», ибо, приподымая бокалы, дружески похлопывая по плечу, шутливо обзывали на фуршетах «наш дорогой и несравненный мсье Германтов-Валуа», – о, как-никак прадед его давил виноград в Шампани. Вот и сам он на тех фуршетах с естественной для заправского сомелье заведённостью поплескивал в бокале вином, втягивал жадными ноздрями тонкие ароматы. Его расхваливали и за безупречное владение языком, поражаясь аристократичному парижскому выговору, опять-таки в шутку спрашивали: вы в каком округе Парижа родились – в шестом или семнадцатом? Ну да, едва он открывал рот, в нём трудно было б не признать парижанина; он и вёл себя с французскими коллегами на равных, с непринуждённым и весёлым достоинством, будто находился в кругу однокашников по Эколь Нормаль.

Впрочем, не станем обольщаться ответной вежливостью и дежурными улыбками обрётённых Германтовым коллег. Точнее было б сказать, что они его считали почти «своим», ему, пришельцу из, мягко говоря, не совсем цивилизованной страны, приходилось многое с покачиванием высоколобых голов прощать, прежде всего – прощать резкость и чрезмерную горячность в спорах, невинные по сути, но по форме язвительно-пижонские выпады против самонадеянных оппонентов, всецело доверявшихся военно-политическим и культурным клише, инерционно противопоставлявшим Восток и Запад. Позволительно ли было пришельцу с Востока столь пренебрежительно отзываться об идейной эволюции Сартра, который, по словам нашего боевитого не в меру героя, ухватившегося за ещё один расхожий пример, как мыслитель катился к концу жизни по наклонной плоскости, а уж как писатель и вовсе быстро сходил на нет? После пронзительной своей философии – сколько раз перечитывал Германтов «Бытие и ничто», – после художественно-безупречной «Тошноты» – вас не тошнило от буржуазной сытости? – прибился к примитивному троцкизму-ленинизму: не принял разоблачений сталинских преступлений, Хрущёва обвинил в предательстве дела мирового пролетариата, ну а Германтов не скрывал презрения своего к экстремистскому интеллектуальному левачеству. Он ведь и ценимого им как философа Фуко костил за то, что демонстративно лез

тот, самый безоглядный, наверное, из с жиру взбесившихся революционеров шестьдесят восьмого года, под полицейские дубинки, а, когда бока намяли ему – с надуманным гнётом европейских свобод боролся, превозносил до небес теократическую иранскую революцию. Но кто старое помянет... А что теперь? Не мальчишеской ли шалостью со стороны Германтова, пусть и Германтова-Валуа, мало что невысоко оценивавшего нынешние достижения французских искусств, так ещё и забывшего вдруг об элементарной вежливости, был недавно произнесённый им тост в некоем замкнутом, чопорном и гордом собрании ценителей прекрасного, тост, не очень-то, если помягче выразиться, оригинальный, провозгласивший важнейшим из всех высоких искусств Франции гастрономию, венчавшую, в свою очередь, французское искусство жить? Хорош гость, если не сказать – хорош гусь; кое-кто – на ворах и несгораемые шапки горят? – улавливал даже в том пустоватом спиче очередной намёк на некомпетентность-твёрдолобость охранителей из прославленного музея, не желавших признавать авторство Джорджоне; ох уж, осадок от скандала вокруг авторства «Сельского концерта» всё-таки оставался. Однако – справедливости ради, нельзя этого не заметить – Германтову прощали привычку, привлекательную на взгляд отдельных, не вымерших ещё газетных бунтарей и евроскептиков, хотя, само собой, варварскую в перевоспитанных глазах здорового и усреднённого, подлинно европейского большинства привычку – игнорировать поднимающиеся выше и выше барьеры политкорректности. И не бывало без добра худа – даже в годы истерической неприязни к путинской России у левой французской интеллигенции, обидевшейся на эпохальный крах мировой системы социализма, бредившей санкциями и бойкотами, его всё охотнее – для обострения полемики и в ожидании новых скандалов, на которые клюнут газеты, прежде всего, конечно, разгневанно-плаксивая, бегущая впереди всех социалистических паровозов «Либерасьон», – приглашали на телевидение. Когда-то, до боёв с всесильно-влиятельным и потому неошибавшимся Лувром, он пару раз даже зван был в «Апострофы», в телешоу самого Бернара Пиво, теперь же он, негласно дискриминированный, появлялся несколько раз за год на вечерних субботних дискуссиях на канале Arte, где истомлённые вымирающие интеллектуалы тосковали об утрате прицельных понятий, сетовали на безуспешность попыток нейтрализации межкультурных противоречий, вглядывались в печальные перспективы христианской цивилизации, утратившей, увы и ах, внутреннюю энергию, заранее сдавшейся на милость иноверцам-победителям из-за неспособности своей противостоять в славных, помеченных готическими соборами, исторических городах радикальному исламу и фашизоидным его лидерам, зажигательно проповедующим в мечетях. А Германтов тоже на красивые слова не скупился. «Азия, – не без грусти говорил он, – Азия, которая, как восходящее солнце, поднимается над историческим горизонтом, не принимает в расчёт терзания наших усталых душ».

Каково?

Не новый ли Раймон Арон народился на наши головы? – иронизировала на следующий вечер «Монд». Но шутки в сторону: теледискуссии, которые Германтов, печально улыбаясь в камеру – он отлично чувствовал себя под софитами! – как-то назвал «дискуссиями обречённых», не обходили и упадка архитектуры, пугающих, саморазрушительных – Германтов правду-матку резал: суицидных – тенденций в актуальном искусстве. И вряд ли кто из, несомненно, незаурядных участников тех дискуссий, где тон привычно задавали непотопляемые, благополучно состарившиеся в достатке, а то и в роскоши, речистые, так и не излечившиеся от детской левизны р-р-революционеры шестьдесят восьмого года прошлого века, смог бы оспорить очевидное: быстротой реакции, смелостью ума и яркостью слога – да, мало кто уже сомневался в том, что язык у него был отменно подвешен, – он выгодно выделялся в кругу самых записных полемистов. Что же до индивидуальных интервью, по ходу которых заезжего искусствоведа нещадно кусали, или шумных пресс-конференций, сопровождавших обыкновенно на книжных выставках-ярмарках презентации его книг – загляните-ка в Интернет, не поленитесь: словесные баталии, в которых периодически блистал Германтов, заслуживают

внимания! – то и под градом злющих вопросов он не тушевался, напротив, зная, что лучшая защита – нападение, частенько лез на рожон, резал свою правду-матку в глаза и... достаивался аплодисментов. Так неожиданно проявлялась парадоксальность его натуры: уклонялся от жизни, частенько бывал замкнутым, погружённым в сомнения, однако будто бы в компенсацию этих тихих сдержанных качеств, выпестованных одиночеством, вдруг его прорывало... А чтобы рассудительно-эмоциональный прорыв такой представить можно было бы пополнее и поточнее, стоило бы, наверное, содержательно скрестить разные его выступления, да ещё стоило бы при этом перемешать вопросы-ответы. Да, не обладая хватками шоумена, умело удерживал внимание, с завидным ли хладнокровием, горячностью давал любым наскокам отпор; как бы внутренне приосаниваясь, сам бросал вызов или походя щёлкал по носу – очутившись в публичном центре события, где снисхождения ждать не приходилось, он решительно раскрывался.

– Дочитал вчера «Стеклянный век», признаться, с трудом.

– Сочувствую.

– Незавидная судьба стеклянной архитектуры вырастает у вас в метафору повсеместной и неустранимой опасности, всеобщей клаустрофобии; нам угрожают тотальная хрупкость, уязвимость?

– Я не против такой трактовки, разумеется, одной из возможных.

– Стеклянный век – век пустоты?

– Точнее, опустошения.

– Что вело к опустошению?

– Изживание культуры...

– То есть?

– Я тут ничего не открываю, об этой тенденции давно ваши пронизательные тонкие философы написали. Культура благодаря неизбывной сложности своей продуцирует смыслы, а цивилизация – стандарты; чем проще, элементарнее стандарты, тем эффективнее их можно насаждать и распространять, – перевёл дыхание; знал, что на публике теперь принято было говорить кратко, как бы рекламными, состоявшими из трёх-четырёх слов слоганами, но он следовал своим правилам. – Стекло поначалу, на границе девятнадцатого и двадцатого веков, воспринималось как фантастическая, будто бы бесплотная, «духовная», материя для возвышенных мистерий будущего, позднее же его, стекла, изводившая внутренние темноты прозрачность, его как бы отменяющая все противоречия символика Света уже закономерно превращались в один из вожделенных стандартов цивилизации.

– Любопытны рассуждения о метафизике стекла, вот, – открыл на закладке *Le siècle de verre*, – вы – так принято у вас в России? – начав во здравие со сказочных английских оранжерей и лондонского Хрустального дворца, потом вдруг за упокой принялись молиться: даже Хрустальную ночь припомнили – битое витринное стекло и кровь. Однако, – выкинув вперёд одну руку, с микрофоном, и опустив другую, с раскрытой книгой, – неужели архитектура, её абстрактная прозрачная вещность, поначалу так вдохновлявшие, теперь и сами по себе способны так устрашать? Метафизические рассуждения свои, подкреплённые печальными историческими примерами, вы ловко притягиваете к подспудным угрозам наших дней, когда описываете кроваво-красный, как искромсанное парное мясо, мрамор в вестибюле барселонской, цвета бутылочного стекла, башни Нувеля. – О, Германтов недавно слетал на день всего в Барселону, чтобы увидеть новую башню, времени ему ещё хватило лишь на плоского осьминога под соусом в большущей тарелке, запитого каталонским вином. – Вы заподозрили в нейтральном стекле исходную взрывную материю и образную оболочку уготованных нам зловещих спектаклей?

– Тепло!

– Неожиданны и ваши рассуждения об «умирании символов при массовизации языков стекла», об эре стандартов и перетекании стеклянной утопии в антиутопию, окружающую нас, сдавливающую...

– Неожиданны? Побойтесь Бога... Такое катастрофически скучненькое перетекание утопии в антиутопию ещё Достоевский предрекал, когда увидел в Лондоне Хрустальный дворец.

– И как же художественность, изжита?

– Художественность явно на излёте, вот на Нувеле только мой взгляд и сумел задержаться.

– А как вам Фостер?

– Это всё же скорее дизайн, сильный, великолепный дизайн. Фостер в отличие от того же Нувеля скорее восхищает, чем волнует.

– И что же тогда вас волнует в настоящей архитектуре?

– Тайна.

– Вы можете просто объяснить отличие архитектуры от дизайна?

– Пожалуйста, куда уж проще: архитектура минус тайна равно дизайн.

– Вы с болью и так сложно пишете об архитектуре...

– Это самое сложное из искусств.

– Отчего же?

– Хотя бы в силу своей специфики. Это единственное искусство прямого воздействия, открытое и даже распахнутое в мир, наполненное подлинной жизнью: в городе ли, в соборе, в особняке мы пребываем ведь в подлинном смысле этого слова внутри искусства... Если попышней выразиться – внутри вполне материальной, но магической, сложенной из камня, железа и стекла образности... Конечно, и театральное действие можно со сцены выплеснуть в зал, но это лишь режиссёрский приём... Как, впрочем, всего-то приёмом, на сей раз «обратным приёмом», стала и изящная выдумка Вуди Аллена, отправившего киноманку из зрительного зала в гущу экранных событий, где её наделили правом менять сюжет, – Германтов интуитивно притормозил – стоило ли метать бисер, превращать интервью в заумную лекцию?

– Но почему с такой сложностью и болью...

– Сложна и печальна эволюция. С полным основанием архитектуру можно счесть первой долгой жертвой прогресса; это – наглядно убывающее искусство, «уходящее», если угодно, его уже почти не осталось. Глупо было бы плевать против ветра времени, возводящего стандарт в идеал, хотя кое-что не помешает напомнить.

Германтов отпил воды.

– Архитектура, как вам и без меня известно, многие века была наполненным божественными энергиями синкретичным искусством, а выродилась-выхолостилась к нашим дням в нечто специализированное, безлико-аморфное или, напротив, шокового удивления ради – формально-экстравагантное, но всё равно уже напрочь лишённое культурной семантики, техницистско-худосочное, внутренне-анемичное. Мы довольствуемся ныне архитектурой с исчезающе-малым эмоциональным зарядом; и при встрече-то с редкими выразительными произведениями-исключениями, хотя бы с той же башней Нувеля, – тяжело вздохнул, – уже всё труднее то, что видим, понять-назвать: искусство ли ещё, атавизм славного прошлого, сохраняемый на эстетских островках в океане коммерции ради поддержания культурных приличий. По сути, не на чем задержать пресыщенный окружающей нас пестротой, но куда-то бездумно спешащий взгляд. Да мы и отвыкли хоть на чём-то задерживать своё внимание; восприятие архитектуры, если мы не на специальной экскурсии «по быломu», растворяется без остатка в наших вялых реакциях на скомбинированную из упрощающихся стандартов, избыточно-безликую повседневность... К тому же нам, своевременно и политкорректно забывая само слово «архитектура», массмедиа торопливо твердят про дизайн, визуализацию... Ценности архитектуры незаметно для нас самих отвергнуты за ненадобностью.

– Но есть острые, необычные...

– Есть формы, достойные восхищения, как у Фостера, есть экстравагантные формы-конструкции Калатравы, есть скрежещущие формы, режущие и колющие; и это, конечно, лучше, чем всеобщая анемия, но... – не без скорбной улыбочки: – есть унылый фон и бьющие по глазам фокусы Гери ли, Холляйна, Мооса; эпатажные фокусы деконструктивистов, формально любопытные, но при эпатажной выисканности своей – вождеющие коммерческого успеха.

– Кого из французских архитекторов помимо Нувеля вы бы выделили?

– Франсуа Мансара.

– А из современных?

– Франсуа Мансара.

Аплодисменты.

– Воинствующий снобизм! – истерично выкрикнула, бодро вскочив, сморщенная и седенькая, стриженная под мальчика арткритикесса из «Ле Паризьен либере» в строгом брючном костюмчике.

– Спасибо, мадам!

– Позвольте кое-что уточнить. Стекло, прозрачность – намёк на идеалы демократии, не только мало-помалу преданные, но и, вопреки блеску идеально вымытых стёкол, порушенные?

– Почему нет?

– Да ещё эстетика дематериализации, блики, заместившие сущности... Это следы опустошения? Символы нынешней жизни, превращаемой в фикцию?

– Горячо!

– И – вопреки фикциям – вполне натуральная тягостность той самой коллективной клаустрофобии?

– Горячо, горячо! Я почувствовал себя таким умным...

Аплодисменты.

– Весь век, мы, возводящие в идеал прозрачность, иллюзорно защищённые лишь стеклом, кидались камнями?

– Ну да, мы с вами посудачили уже о тотальной хрупкости и уязвимости... Разве не кидались? И сейчас кидаемся... И стеклянные колоссы наших мечтаний рушатся...

– Башни-близнецы?

– Ну... Тут не до поэтичности, это буквальное направленное сокрушение-обрушение с тысячами погибших...

– Но как удалось вам, не потеряв главного, соединить в «Стеклянном веке» столько разных, казалось бы, несовместимых, если не сказать враждебных, идей?

– Начинать я с кое-каких преобразований в лингвистике, доведённых до синтаксиса, разделительный союз «или» я старался заменять, где можно и нельзя, соединительным союзом «и».

Аплодисменты.

– Мелкая синтаксическая особенность – ещё не содержательный принцип.

– Мелкая? Как сказать... Между прочим, бинарная логика, как логика противопоставлений, все её «да» и «нет», пресловутое её «или»-«или», сталкивая по заветам Гегеля тезисы с антитезисами, завела наше мышление в тупик своими обманными инструментами постижимости. Недаром принцип «или – или», на котором работают традиционные, – ткнул пальцем в свой ноутбук, – ЭВМ, светлые прикладные умы обещают заменить в обозримом будущем, дабы в микродоли мгновений интегрировать противоположности, на «и – и» квантового компьютера.

Тут, там – бульканье воды; разносили прохладительные напитки.

– Ваша книга не по вкусу газетным рецензентам, тем, во всяком случае, чьи колонки я успел прочесть: «Лица художников и зодчих нежданно накрывают тени веков, города, памятники, картины наслаиваются, мысли о городах, памятниках, картинах не развёртываются, рождаясь одна из другой, а, как кажется, бесцельно петляют и скачут», – цитирую по свежей интернет-версии «Фигаро» – Ко всему вас обвиняют в «усложнённости и чрезмерной густоте материала, в увлечении – в ущерб смыслу – длинными запутанными фразами, орнаментальностью письма». Посоветуйте, что предпринять тем, кого интересует конкретный предмет искусства, сам предмет-произведение, а не нагромождение трактовок, вычурно изложенных вами...

– Что предпринять или чем заняться, если серьёзная книга не по зубам? Жевать попкорн.

Смех, аплодисменты, глухое раздражение шиканье... Откуда в нём эта небрежная снисходительность? Ох и многое же себе позволял в гостях, мгновенно переходя с низкого слога на высокий и обратно, этот русский франкофил, витиевато режущий свою правду-матку, свободно и всегда к месту цитирующий Монтеня или Паскаля.

– Но ведь всё популярнее точка зрения, что книга ли, спектакль, кинофильм должны развлекать и отвлекать от тягостных повседневных проблем, разве не так?

– Не забыли, кто впервые заявил эту точку зрения?

– Кто же?

– Доктор Геббельс.

Неуверенные аплодисменты.

– Вас оскорбляет и пугает тупая, алчная до развлечений публика?

– Меня?! – как хотелось ему бросить им в лица что-то резкое, даже обидное, но он смог остаться всё-таки в границах приличий. – Меня-я-я? – повторил, растягивая, вопрос. – Берите выше: эта массовая, сытая, алчущая лишь бездумных развлечений и удовольствий публика – враг искусства; серьёзное искусство как рыночный товар уже давно неконкурентоспособно.

– А обвинение в маниакально-депрессивном психозе в той же «Фигаро», – голос из задних рядов, – вас тоже не оскорбляет?

– Ничуть, «Фигаро» меня скорее похвалила: маниакально-депрессивный психоз – аналог-архетип творческого возбуждения, которое то и дело обесточивается сомнениями, разве не так?

– Нет, правда, почему вы так заумно разбираете и трактуете широко известные артефакты? Чтобы всех нас запутать?

– Широко известные? – вздохнул. – Всё просто: предметы-артефакты – соборы, полотна – вне индивидуальных трактовок, в том числе и вне моих заумных трактовок, теряют свою подлинность и, значит, вообще не существуют.

– Но помимо вашего субъективного мышления как-никак есть ещё и объективная реальность...

– Объективное, субъективное... – Не надоело?

– Вы и тут против разделения?

– Мышление-сознание и бытие – это вообще-то одно и то же.

– Как?

– Так! Попробуйте доказать обратное.

– Но как же факты...

– Напомню Ницше: фактов не существует, есть только интерпретации.

– И что же, вы считаете, что подлинность ускользает?

– Я? Благодарю... Но не преувеличивайте мою роль в истории мысли: так ваш соотечественник Лиотар считает.

– И реальность отменяется? Не об этой ли отмене и незаметных следствиях её, отмены реальности, ваш «Портрет без лица»?

– Какой смысл вы вкладываете в изношенное, протёртое до дыр слово? Реальностей много, в каждой голове – реальность своя. Если же к тому, что вы соизволите посчитать реальностью, прикоснётся искусство, она, ваша реальность, и вовсе перестанет существовать, но зато она переродится в произведение, где обживётся совсем уже новая, совсем другая реальность... Всё, включая индивидуальные реальности нас самих, нас как «целей в себе», – трактовки, интерпретации!

– Поясните...

– На пальцах, но при этом – строго научно?

Смех.

– Если верить последним идеям физики, пусть и ничего в ней не понимая, мы проживаем в огромной – вселенских масштабов – голограмме; её-то, безличную, непостижимую, и подменяем мы образом мироздания, который худо-бедно складывается в коллективном сознании из множественности индивидуальных образов.

– Колумнист журнала «Пуэн» признаётся, что иные из ваших пассажей его повергают в ступор.

– Многоуважаемому слабонервному колумнисту – отдельное сочувствие.

– Такое впечатление, что вы бравируете ненормальностью.

– Вспомните о не самом глупом своём соотечественнике Фуко: «Нет ненормального и нормального, есть только многообразие».

– Визита полиции не опасаетесь? Себастьян Труше из «Экспресса» называет вас «медвежатником от искусства» – взломщиком закрытых художественных систем.

– Спасибо Себастьяну Труше за комплимент.

– Но профессор, не чересчур ли претенциозно – зыбкие свои ощущения возводить в закон?

– Помилуйте, я всего лишь следую за художником, который именно так – от смутного ощущения к внутреннему закону – строит своё искусство, – поморщился: за массивными пилонами, в баре, загремели кофейными чашками.

– Что за цинизм? С какой стати вы считаете в «Уликах жизни», – именно как улика была поднята высоко над головой, чтобы все увидели, тёмно-зелёная книжка с белым шрифтом: *Les preuves de la vie*, – с какой стати вы считаете, что Красота и Добро, Искусство и Мораль не обязательно совместимы?

– Я – считаю?! Да так считалось уже почти пятьсот лет тому...

– Кто? Кто так считал?

– Думаю, – Германтов растягивал слова, изображая размышления вслух и пережидая шум в баре, – первым в когорте зорких и чувствительных циников стоит назвать Пьетро Аретино.

Пауза. Пальцы нервно пробежались по клавишам, глаза вопрошавших забегали по экранам ноутбуков.

– И почему же искусству и морали вы, за компанию с распутником Аретино, отказываете в совместимости?

– Искусство – вечно, нормы морали – изменчивы.

Пауза... бульканье воды.

– Ваша книга о Джорджоне и Хичкоке во Франции – достаточно вспомнить о позиции «Котидьен де Пари» – была принята в штывы, тогда как итальянцы наградили её престижными премиями. Не объясняется ли негативная французская реакция вашим застарелым конфликтом с научным отделом Лувра?

– Без комментариев.

Долгая пауза... бульканье...

– Не решаетесь наконец поинтересоваться тайнами славянской души?

Аплодисменты.

– Ваше первое впечатление от Франции?

– «Скандал в Клошмерле».

– Что ещё за скандал? – пожимания плечами, переглядывания.

– В школьные мои годы в Советском Союзе была очень популярна эта простодушная кинокомедия...

Вновь пауза, глаза вновь забегали по экранчикам ноутбуков.

– Кто из французских актрис...

– Брижит Бардо!

– Странно услышать такое от записного интеллектуала. У нас есть великие, серьёзные актрисы...

– Только что, ссылаясь на рецензента «Фигаро», меня упрекали за докучливую серьёзность, но едва я сменил тональность...

Аплодисменты.

– Так за что же вы цените реликтовую малышку Бардо?

– Отчасти за причёску «Бабетта», главным образом – за обаяние непосредственности, которой я, очутившись перед вами, такими строгими экзаменаторами, не могу не завидовать.

– Не изводите загадками.

– Забыли? Ну да, слишком вы молоды, зелены, как говорят русские. Репортёр «Пари-матч» спросил у Бардо после премьеры «Парижанки», помнит ли она самый счастливый день в её жизни, а она ответила, что помнит, но это была ночь.

Смех, аплодисменты.

– Чем объясните свою любовь к Франции?

– В детстве подцепил вирус.

– Но к прекрасной Франции, к этому туристическому раю, – врезался носатый бородач-левак из самого передового журнала, – столько буржуазной грязи-мрази прилипло! К абсолютной власти рвутся огламуренные расисты! Гляньте на Саркози, борца с цыганами, на его певчую топ-модель...

– Нашему времени всё к лицу.

– Профессор, ловлю на слове. Вы смогли бы поставить краткий диагноз нашему времени? Только зубы не заговаривайте. Диагноз?

– Я не врач, но попытаюсь: все лгут.

– Кто – все?

– Президенты, министры, депутаты, церковники, журналисты, врачи, торговцы, интернет-аналитики... Продолжать перечисление?

– У вас как, у вас, в извечно феодальной и богоспасаемой, душевно-совестливой России?

– Так же!

Тут, там неуверенно захлопали.

– Но у вас же народ безмолвствует, тоталитарный гнёт нарастает, репрессии ширятся, а вокруг – тишь и гладь. Как ещё говорят у вас? Божья благодать.

– Гнёт, репрессии... Ох, я отвык уже от этих словечек. А народ повсюду, и в америках-европах тоже, безмолвствует, пока хлеба и зрелища у него не отняты: разве это не обманная благодать?

– Подождите! И у нас, в условиях свободы и развитой, действующей демократии, тоже народ безмолвствует?!

– Конечно! Народ шумит, когда что-то у него отнимают. Но я, например, ничего не слышал о протестах против лицемерия власть имущих и закармливания обещаниями, против общеевропейской жизни в кредит и программ поощрения иноземных толп иждивенцев. Давненько эта лепота подарена приходившими к власти социальными популистами всех

мастей свободолюбивым народным массам; сладко жить-поживать и добра наживать в кредит, как говорят у нас – «на халяву», не думая о выплате кредитов, не правда ли? Всё это разве – не сладкий гнёт?

Пауза.

– Повторить? Демократичные и законопослушные народные массы, если и пригрозят бунтом, то лишь тогда, когда им приснится вдруг, что бесплатные блага вот-вот отнимут, а халявное кредитование могут вполне урезать. Такие угрозы достойны бунта, не правда ли?

Пауза.

– В России всё ещё философствуют?

– Да, на руинах смыслов.

– А на Западе...

– О, на прогрессивном Западе, где прекрасодушным недалёким американским японцем провозглашён счастливый конец истории, боги погибли гораздо раньше, небо опустело, а руины культуры разобрали по камушку, разнесли по музеям, архивам, потом всё чистенько подмели мусорщики цивилизации. На Западе смерть Бога и всех богов культурного Пантеона давненько без слёз оплакали, об окончательной же отмене воспроизводства смыслов как жизненной ценности возвестил ещё мсье Бодрийяр.

– И что мы, – с издёвкой, – получили взамен богов и смыслов?

– Спам! Тотальный спам...

– Так, сразу?

– Ну... сперва, как водится, новые напыщенные мифы наспех склеивались из осколков старых, но недолго, недолго, а потом, – со скукой сказал, – потом вас, агрессивных и самовлюблённых обличителей всех тех, кто вашими хозяевами не являются, получили, – и уже азартно ткнул пальцем в зал, – получили взамен умерщвлённых богов и сдувшихся смыслов – массмедиа с Интернетом! И, пожалуйста, не спрашивайте, полноценная ли это замена.

Аплодисменты.

– Не поможете ли, радикальный мсье всезнающий, нам отыграть назад?

– Даже мне не по силам джинна вернуть в бутылку.

Аплодисменты.

– Чем же мы теперь на Западе, когда боги погибли, история закончилась, а жизнь обесмыслилась, кормимся?

– Я же сказал – спамом, как бы поощрённым нашим интеллектуальным оцепенением и давно уже хлынувшим из компьютерных сетей в жизнь, или, если по-учёному исключительно выражаться, симулякрами!

– На рынок выкинули новую духовную пищу?

– Увы, бездуховную; зато, – брызнул ядом, – в изобилии: иллюзии вспениваются, их сколько угодно, как у нас говорят – от пуза. Незаметно для себя вы жуёте-глотаёте симулякры, как сладкую вату, запиваете сетевыми коктейлями, взбитыми из сиюминутных ужасов и скандалов.

– Что вы-то, русские, позорно отставшие от Запада в перепроизводстве иллюзий, собираетесь делать?

– Догонять!

– И как, догоните?

– Посмотрим... – снисходительно улыбнулся – Мы запрягаем долго, потом, может, и перегоним, если вдруг вожжа под хвост попадёт; нам, правда, обновить придётся оглобли, хомуты, вожжи...

– Пока с ветхой упряжью возитесь, будете торговать втрисорога нефтегазом и шантажировать свободный мир перекрытием крана?

– Чем богаты, тем и рады.

– Дёгтя-то хватит, чтобы колёса телеги смазывать? – влез некто из колбасных эмигрантов, политически самых непримиримых.

– Обижаете! – с металлом в голосе – У нас, впрягающихся в планетарный процесс, неисчерпаемые ресурсы для развития гужевой тяги.

– Слава богу, успокоили. А бронепоезд, если не секрет, на запасных путях стоит? – не унимался колбасник.

– Стоит, стоит, – обрадовался, язвительно расплываясь, Германтов, – у меня от вас нет военных секретов! Правда, проржавел бронепоезд, пушки отправили в переплавку.

– Тогда скажите, почему в России ни тпру, ни ну, почему так, с мёртвой хваткой, держатся за проржавевшую авторитарную власть?

– Побаиваются, думаю, отпускать поводья.

– И что же будет, если поводья всё-таки отпустить? Разобьётся проржавевшая колымага?

– Такие исторические эксперименты в России ставились от царя Гороха. Не забыли плачевных их результатов хотя бы в прошлом, двадцатом веке? Хотя бы несколько абзацев про февраль семнадцатого читали у Солженицына? – театральню вздохнул, а после паузы сказал доверительно: – Вот и теперь, наверное, если сразу бросить поводья, всё вразнос пойдёт, колёса колымаги отвалятся, покатаются дружно в разные стороны; борцы-то за свободу лишь интеллигентно расцарапают друг другу физиономии, а вот распри в так называемой элите, где уживаются пока силовики-государственники и либералы-рыночники, погрузят всю страну в хаос, возможно, в пугачёвщину-разинщину, по-русски говоря – в смуту.

– Что же делать вашему пожизненному президенту, чтобы упредить смуту? Натягивая поводья, ещё и закрутить поскорее гайки?

– Как можно закрутить гайки? Резьба сорвана.

– А если грохнутся цены на нефть?

– Будем чесать затылки, то есть – репу...

– И что же спасёт Россию?

– Вопрос, как всегда, открыт.

– Спасибо, господа-полемисты, за искромётный и при этом просветительский, в меру нашего понимания, скетч! Но скажите-ка лучше, дорогой и осведомлённый гость с Востока, что серьёзно тревожит вас на Западе, в объединённой Европе? Финансы?

– Финансы, как и заведено от века, поют романсы, но – всё заунывней поют... И это лишь прискорбная монетарная прелюдия.

– Чего?

– Грядущего цивилизационного распада, полной утраты христианской идентичности.

Аплодисменты, гул.

– Есть ли исторические шансы предотвратить деградацию и распад?

– Боюсь, нет.

– И где была, на ваш взгляд, точка невозврата?

– Да хотя бы в псевдогероическом 1968 году, – он, задира и провокатор, намеренно замалчивался на святое? – В вашей идеалистически беспричинной, с жиру взбесившейся студенческой революции, правда, будем справедливы, – бескровной. Не забыли, что кричали на потешных баррикадах, переворачивая «ситроены» и «пежо», швыряя в полицейских булыжники, возвращённые в университетских оранжереях интеллектуалы-революционеры? Запрещено – запрещать! Вот как мило философски подкованные питомцы Сорбонны понимали свободу; сломя головы, побежали в сияние розового рассвета всемирной демократии, пооткрывали границы всем страждущим свободы-братства-равенства, словно новые пролетарии во второй попытке соединиться, а добежав за полтора-два десятка лет до благополученькой общечеловечной Европы, на закат напоролась и – расслабились, опустили руки, своим глазам верить не захотели.

- Но это был наш великий бунт против буржуазной обыденности...
- В результате которого обыденность восторжествовала, а бывшие бунтари в обновлённой, заплывшей жирком обыденности отлично устроились: многие из них, возглавляя корпорации и банки, ездят давно на «мальбах», иные – те, кто материально не так удачливы, – учат нас, азиатских дикарей, демократии, с самодовольными физиономиями заседа в европарламентах.
- Так ничего хорошего и не дала та революция?
- Дала! – Годара.
- Любите «новую волну»?
- Очень!
- Аплодисменты.
- Кем были бы вы во Франции по политическим взглядам?
- Голлистом.
- Смело! Особенно для облеветавшей, развращённой левизной Франции. Что вами движет?
- Допущение, что, образумившись, Франция поправеет.
- Это рецепт спасения?
- Возможно. Запоздалый.
- Не опасно ли перейти коричневую черту?
- Опасно, но надо последить за собой, чтобы не наступить на ржавые грабли.
- Вы до сих пор симпатизируете де Голлю, оскорблённому немотивированно внезапной революцией?
- Ещё бы ему не симпатизировать! Я слушал запись выступления генерала, тогда – полковника, по Би-би-си, он обращался к французам по радио на другой день после того, как Франция позорно капитулировала. А вы слушали хотя бы ту запись? Или поспешили её забыть?
- Вы, – отвечали ему, дабы вернуть его в наши дни, вопросом на вопрос, – против перемен?
- За! Но – без пены бешенства на губах; студенты-то побежали чересчур быстро и, как сказали бы у нас, впереди паровоза.
- И уже не притормозить?
- Попробуйте! Вы же смертельно боитесь, что обвинят вас в предательстве завоеваний демократии; и хотя ни у кого в Европе нет уже сил так быстро бежать, вы умело бег имитируете. Едва ли не вся европейская энергетика, увы, иссякающая, тратится уже на имитацию...
- И что же, сразу после того, как генерал обиженно сдал полномочия...
- Не сразу, не сразу после де Голля, умевшего, в отличие от нынешних политиков-троечников, смотреть и в корень, и в небо. Пока устрашающе монолитным был Социалистический Советский Союз, на Западе вынужденно держались в тонусе, а уж когда монстр Союз, раскрошившись изнутри, грохнулся и безупречные воители и знаменосцы свободы-демократии, секретари вашингтонского обкома за компанию с вашими постаревшими революционерами и самодовольными кабинетными котами, безжизненными брюссельскими бюрократами, возглавили прогрессивное человечество...
- И что могло бы влить в анемичный европейский организм свежую кровь?
- Союз с Россией, которого вы параноидально боитесь.
- Упущенный шанс?
- Надеюсь, небезвозвратно.
- А пока – историческая промашка интеллектуалов-европейцев, которых теперь за ниточки дёргают из Вашингтона и отчасти – Брюсселя? Думали, устарел пессимист-Шпен-

глер, поверили в счастливый конец истории... Когда ещё думали – пронесло, думали, свет сплошной впереди, ошибся Шпенглер, а...

– Я же сказал: всё артистичнее изображая стремительный бег на месте, расслабились, когда лишились идеологического конкурента, вооружённого до зубов. А к дёрганьям за нитки из-за океана быстро привыкли и даже за проявления высшей, солидарной формы атлантической демократии все эти политкорректные подёргивания почти невидимых поводков с последующими ковбойскими похлопываниями по плечам приняли; комфортно вам на закате... И, между прочим, не смогу не повториться: вы продолжаете расслабляться в долг, но даже не задумываетесь, кто ваш комфорт кредитует.

– И всё же: разумно или рискованно нынче печатать деньги?

– Опять – «или»? Для политиков-популистов, само собою, разумно, для экономики – рискованно.

– У анонима-кредитора из небесного банка лопнет историческое терпение тешить нас в долг?

– Лопнет!

– И что же будет?

– Я не Дельфийский оракул, даже не газетный астролог.

– А если пофантазировать?

– Увы, ничто не вечно под луною! – Германтова уже смущал поток модных банальностей, который изливался из его уст с каким-то заимствованным у критикуемых им массмедиа автоматизмом; только ленивый ныне не предрекал вселенскую катастрофу либерального капитализма, однако риторическую игру надо было, взявшись за гуж, логически завершать. – Грохнетя, наверное, и ваш, самый прогрессивный, самый политкорректный и самый мультикультурный, управляемый из Брюсселя безликими еврокомиссарами социализм-капитализм.

– Пока мы расслабились, не замечая политической дряблости и не желая видеть приближение катастрофы, однако продолжаем бежать?

– Ну да, бег на месте – тоже бег. Всё быстрее – вперёд, к закату; впрочем, закат – это уже давно поэтический эвфемизм, будущее, ждущее вас и нас, следующих за вами, в скучной, но безысходной своей обыденности станет страшнее самого кровавого заката, общее будущее наше обойдётся без метафорической живописности. Ну а парадокс вечного бега к собственному концу был столетия назад замечен, сейчас лишь резко возросла скорость, и сейчас уже, повторюсь, не так важно – реальная скорость или имитационная, имитационная даже всё привычнее для нас делается: это, если можно так сказать, скорость коллективного, самообманно-«кнопочного» сознания.

– И кем же был давно замечен...

– Ну... хотя бы Блезом Паскалем. Помните: «Мы бежим беспечно к бездне, поместив перед собой нечто, мешающее её видеть».

– Тпру-у-у! Объясните, вам-то в России зачем оглобли и хомуты с вожжами модернизировать, зачем разгоняться и догонять, натягивая поводья, если столь безрадостны перспективы?

– Мы несвободны, мы все, проигравшие ли в холодной войне, победившие – в одной глобальной обречённой упряжке, и даже идеалы-шоры, позволяющие верить в лучшее и приближение бездны игнорировать, одинаковые у нас: как кажется, даже если на месте топчемся, ни свернуть уже, ни остановиться, причём знать не знаем, кто овёс подсыпает и кнутом машет.

– А в глобальном мире, спешащем с электронным прогрессивным ускорением к своей гибели, есть по-настоящему свободные и самостоятельные, независимые от других, к бездне беспечно бегущих, страны? Хотя бы одна?

– Есть. Северная Корея.

Смех, аплодисменты.

– Товарищ, как чувствуете себя на котурнах, не свалитесь? – снова голосок колбасного эмигранта.

– Естественно, как в домашних войлочных туфлях.

– Хватит об обуви! Могли бы вы, заезжий мсье-катастрофист, поделиться личными наблюдениями в канун распада? Чем влечёт вас предгибельный Париж?

– Постоянством: вы, парижане, по-прежнему алчете наслаждений и не способны идти на жертвы.

– Что вы испытываете, когда прилетаете...

– Удивляюсь – симбиозу утопии и антиутопии. Прибываю я на такси из аэропорта в фантазмагорический, всё ещё обстроенный дивными, с молодых лет всем знакомыми христианскими декорациями, африкано-арабский халифат, где экспансивно правит по инерции президент-француз, а его подданные-либертарианцы, воспитанные на Марсельезе, под заунывное пение муэдзинов, но опять-таки по инерции длящие свой вальяжный кайф, посиживают в уличных кафе, глубокомысленно листают в уютных ресторанах многостраничные меню и винные карты с виньетками и Мишленовскими звёздами качества; потом заказывают утку, начинённую трюфелями...

– Не любите утку с трюфелями?

– Люблю! И, признаюсь, – выдал из себя улыбочку, – больше даже люблю, чем щи с кулебякой.

– Если без виньеток: мечети в готических соборах?

– Почему нет? Вспомните о судьбе константинопольской Софии; впрочем, подобные суждения давно уже не претендуют на роль прогнозов, это скорее успевшие поднадоесть констатации.

– Откуда вы так холодно озираете мировые заблуждения, угрозы, пороки и тупики – из столицы халифата, Парижа?

– Из Парижа – периодически, но обязательно в празднично-шаловой – спасибо инерции! – сезон «Божоле», а постоянно и регулярно – из Санкт-Петербурга.

– Кстати, почему бы нам не вернуться к архитектуре, к одному сюжету, сугубо петербургскому, однако для нас, французов, небезразличному? Как вы оцениваете отказ от осуществления проекта Мариинской оперы Доменика Перро, победившего на международном конкурсе?

– Ох, это позорный, но характерный сюжет бюрократического удушения сильной и оригинальной идеи-формы. Перро представил отличный проект, а «откатные» номенклатурщики, согласованно погубив его, покрыли позором Великий город, – Германтов искренне сокрушался. – Исторический его центр опоганит теперь громоздко-отвратительная, с поверхностными архитектурными пошлостями, коробка...

– Ничего удивительного, – влез опять эмигрант-колбасник, он упивался ролью неукротимого политического борца, – номенклатурщикам-бюрократам сейчас диктуют вкусы и заказывают «откатную» музыку не только кремлёвские гебисты-правители, но и ваши кондовые торгаши, ставшие нефтяными королями в сшитых на заказ в модных домах костюмах...

Ударить? Германтова раздражали злобные наскоки мозгляка-перевёртыша, революционно повязавшего оранжевый галстук.

– Торгаши-короли такие же мои, как и ваши, пламенный неофит, вам ведь от своего советского прошлого, лезущего изо всех пор, как ни старайтесь, не удастся отмыться французскими гелями и шампунями...

– А у вас есть собственное объяснение нелюбви объединённой демократической Европы к нынешней авторитарной России?

– Увольте, я не геополитик.

– Но геопсихолог!

– Грубой лестью припёрли к стенке... Старушку Европу терзают разнообразные комплексы, фобии, правда? – с непростительным ехидством осмотрев слушателей, Германтов продолжил: – Мы, раскосые скифы и прочие третьесортные азиаты в треухах и медвежьих шкурах, параллельно с долгими жестокими экспериментами на себе вам с татаро-монгольских времён каштаны из огня доставали, пока на собственном горьком опыте не убедились наконец в практической недостижимости коммунизма-социализма. Однако вам, просвещённым европейцам, гордым детям свободы, равенства и братства, обидно, что всепобеждающие ваши идеи нашими же имперцами-коммунистами, на последнем этапе представленными во все-сильном Политбюро престарелой труппой комедиантов, так изгажены были, с таким треском провалены и скомпрометированы. К тому же, если мне как новоиспечённому геопсихологу опять позволено будет повториться, думаю, и вы, европейцы, привыкшие наслаждаться в долг, уже начинаете подспудно побаиваться, что под грузом долговых обязательств начнут по принципу домино рушиться – как бы в подражание тираническому, но уставшему, саморазрушившемуся под тяжестью своей миссии Советскому Союзу – и ваши, повязанные-перевязанные брюссельскими путями, сверхкомфортные и сверхсвободные социальные государства.

– И только за обидный и назидательный исторический урок так не любят нынешнюю Россию?

– Не только! Мы – чужие для средненьких европейцев, совсем чужие; мы – некалиброванные, несдержанные, из нас эмоции хлещут, у нас плохо, из рук вон плохо стандарты приживаются как бытовые, так и политические, мы интуитивно любых упорядочивающих и регламентирующих жизнь стандартов побаиваемся, ибо мы волю ценим, мы анархичны по природе своей.

– Скажите, а какова теперь роль вашей передовой интеллигенции?

– Передовой? Ох уж... – артистично развёл руками, но с тоскою, глядя в пустоватые глаза, подумал: послать бы их всех... Сколь бы изощрённо ни распинался я перед ними, закупоренными в своей вянувшей культуре, на их родном французском языке, они всё равно видят во мне переодетого татарина, и даже вероятность русской смуты на далёких от Парижа евроазиатских просторах их оставляет равнодушными, совсем не пугает; они будто б заведомо не способны понять, что от русской смуты сами смогут замёрзнуть, ибо начнутся перебои с поставками газа... Пожалуй, лишь одна миниатюрная, строго одетая женщина в больших, в пол-лица, дымчатых очках, сидевшая в заднем ряду, – почувствовал, – слушала его с искренним интересом. Кто она? Он уже дважды видел её в Париже на своих пресс-конференциях, и в Риме, где читали его в зеркальном зале виллы Боргезе, и на лекции «Венецианский инвариант», прочитанной им в Библиотеке Сансовино... К концу мероприятия она исчезала... Кто она?

Оборвал паузу.

– Так во что вырождаются ныне отношения в сакраментальном треугольнике «народ – власть – интеллигенция»? Народ, слава богу, благополучно ли, неблагополучно, но занят насущными своими делами и добровольными навязчивыми интеллигентами-спасителями забыт, оставлен пока в покое, отчего и сам треугольник как привычная форма вызревания революционных ситуаций вроде бы неузнаваемо деформировался. Так? – с наигранной веселостью, пытаясь хотя бы интонационно оживить скучноватую свою речь, посмотрел по сторонам, в очередной раз вздохнул и подержал паузу; эмигрант-колбасник зло смотрел исподлобья. «О, этот-то неофит демократии, – подумал Германтов, – наверняка видит во мне кремлёвского казачка...» – Однако, – продолжил, – у молодой поросли интеллигенции, бунтарской, агрессивной, самонадеянной по причинам виртуальной креативности-отвязанности своей, но, как водится, недалёкой, роль вполне для России, всегда готовой вдохновенно сорваться в пропасть, по-прежнему традиционная – обличение с пеною на губах заведомо преступной власти и государства. Им, – усмехнулся, – отличникам, не выучившим уроки, – чем хуже, тем лучше. Им ведь, гордо называющим себя «креативным классом» и по-шутовски приплясывающим

на трибунах митингов, никак не уразуметь, что в России уличный политический протест чреват социальным протестом, который, разбуди его, и их, перво-наперво – их, совестливых, жаждущих справедливости агитаторов и борцов, сметёт непременно. Им никак не объяснить, что следом за новой Февральской революцией, после того, как расшатаются какие-никакие устои, с большой долей вероятности может снова прийти Октябрьская... – да, думал Германтов, глаза пустоватые, публика явно заскучала, лишь колбасный эмигрант зло вскипает, взывает к обвалу нефтяных котировок. Конечно, колбасный эмигрант – необольшевик, ему без русской встряски, которая позволила бы ему порадоваться, что вовремя унёс ноги, никак не успокоить свою комплексующую эмигрантскую душу, ему бы покинутый им мир насилия враз разрушить, а затем... – Интеллигенция – это ныне фантомное понятие, обладающее лишь культурной инерцией. Интеллигенты со стажем, когда-то, в брежневские времена и даже раньше, заслуженные и признанные, упиваются ныне, поскольку почуяли, что всерьёз никому они уже не нужны, ролями плакальчиков перед микрофонами и телекамерами.

– Что же они, не нужные никому, оплакивают?

– Свои участи, как говорят у нас, – себя, любимых, но невостребованных, а также оплакивают они вчера ещё ненавистный для многих из них Советский Союз.

– А их наследники при этом хоть за что-то или против чего-то борются?

– В России с перекошенными от злобы физиономиями всегда борются за всё хорошее против всего плохого.

– Но они ведь все, и молодые, и старые интеллигенты, поддерживают «офисный планктон», который протестует по воскресеньям на улицах Москвы... «Им, утомлённым еврокомфортом, – в который раз думал Германтов, оглядывая зальчик пресс-конференции, – Россия, если и может показаться сколько-нибудь интересной, то лишь в эсхатологическом ореоле, у бездны на краю, а уж колбасный эмигрант вообще спит и видит...»

– О, вы правы, революционный зуд усиливается у нас к воскресенью. Как же не поддерживать хотя бы тех, кто, бездумно, но гордо сбившись в толпу, якобы свергает «кровавую диктатуру», то бишь, авторитарную власть, благодаря коей тот же «планктон» появился, пользуется свободой бесцензуно читать-смотреть и путешествовать по миру, наращивая при этом своё кредитно-квартирно-автомобильно-курортное благополучие.

– И к чему приведут протесты?

– В лучшем случае – к пшику, а вот в худшем – не приведи Господи. Впрочем, о худшем, о воображаемом срыве в пугачёвщину, я уже говорил, однако так и не смог вас перепугать, напротив, вы ждёте, наверное, эффектной телекартинки русского бунта.

– К пшику? А что же тогда с молодыми виртуально-креативными, как вы изволили выражаться, революционерами станет?

– Из Интернета пришли, в Интернет и уйдут.

– Вы, получается, ретроград?

– Либеральный, с вашего позволения, ретроград.

– Вы сами-то не боитесь, – вкрадчиво загнусавил обозреватель «Монд», – что поплатитесь за свои игривые откровения, когда вернётесь в отечество? Или вы на дружеской ноге с криминальными кремлёвскими силовиками? Тем более вы, как попискивают почти придуренные критики вашей авторитарной власти, питерский.

Удивлённо глянул.

– Вы о чём?

– Не храбритесь и не кокетничайте, профессор! – сквозь зубы, злобно. – У вас и авторитаризм уже позади. Мы-то хорошо знаем, что в России – коррумпированная диктатура, знаем, что в России беспощадно подавляют свободу слова. И знаем, что лидеры незарегистрированной оппозиции уже обоснованно ждут от бесконтрольной власти кровавых эксцессов...

– Жаль, я, хоть и коренной питерский, не на дружеской ноге с силовиками, по вашим сверхточным сведениям, заправляющими в Кремле, жаль, иначе обогащался бы бесконтрольно и выгодно капиталы свои отмывал в офшорах, был бы нефтяным олигархом-миллиардером, – вздохнул, театральнo вывернул карманы. – А о диктатуре и подавлении элементарных свобод я, признаюсь, и вовсе понятия до сих пор не имел, спасибо, вы мне глаза открыли, о грядущих эксцессах предупредили, теперь в пятки душа уйдёт и сидеть буду тихо.

Надо было видеть презрительную германтовскую усмешку! Но – священный жанр интервью! – он вынужден был отражать наскоки самовлюблённых адвокатов европрогресса, слепо уверовавших, что отлаженная жизнь их – навсегда; и тех, само собой, кто безапелляционно судил о пороках других, отсталых и неумелых, как жвачку, пережёвывал политические мифы, если же работал по найму в массмедиа, то ещё и по корпоративно-служебной надобности, для того хотя бы, чтобы оставаться в боевой форме, подкармливался дежурными стереотипами.

Рукоплескания – не бурные, разумеется, не переходящие в овацию, но всё же довольно громкие – звучали ему в награду и за вольность мысли, и за находчивость – убедились, что он за словом в карман не лез? – и за терпение, и даже за назидательность; он, конечно, стоя по утрам перед зеркалом в спальне и перебирая в памяти публичные перипетии очередного французского вояжа, склонен был преувеличивать и приукрашивать свои полемические доблести, хотя зачастую и правда побеждал не без изящества в словесных дуэлях.

Между прочим, ещё не успевали отзвучать аплодисменты, как загадочная женщина в дымчатых очках покидала зал; он знал уже, что она небольшого роста, что у неё явно молодая походка...

Действительно, в силу политических предубеждений его могли встречать со скепсисом, с глухим недоверием, но провожали – аплодисментами. Да, спуска не давал, лез на рожон; хорошо ещё, до рукоприкладства не доходило – закипавшие поначалу скандалы чаще всего действительно оканчивались аплодисментами; побеждая, он располагал к себе.

Надо ли повторять, что Германтов блестяще владел французским языком?

\* \* \*

Ну а приливы внутренней, и впрямь варварской, если угодно так считать европейцам, горячности да ещё внезапные внутренние вспышки – короткие, но по контрасту с внешней холодностью такие слепяще яркие, до потери головы, вспышки страсти и ярости – унаследовал он от казаков с саблями наголо, которые были в материнском роду?

Были и погибли – сталинский голод на Кубани, рассказывание и прочие волны идеологических кровопусканий.

Мама чудом выжила, росла сиротой – чего только не бывает? Выжила, выросла, чтобы осчастливить человечество, родить Юру Германтова?

Да, не зря, совсем не зря началась у кубанской казачки с фамилией Валуа светлая полоса: училась в краснодарской музыкальной школе, её пригласили в ленинградскую консерваторию, она выдержала специальный отбор, потом победила на конкурсе вокалистов, о ней писали в газетах... Тогда же повстречалась с отцом, который отбил её, согласно преданию, у молодого Черкасова, многообещающе освоившего в те годы амплу долговязого драм-эксцентрика. Выучилась, была взята в прославленную оперную труппу, засияла её звездой. Мамин дебют пришёлся на знаменитую довоенную постановку «Пиковой дамы», где она пела Лизу, а партнёром её был сам Печковский! В память о знаменательном том успехе, по времени совпавшем с замужеством, в гостиной долго висела афиша с эффектно, крупно, тёмно-синими буквами напечатанными фамилиями главных исполнителей. И потом маме по праву доставались выигранные сольные арии и овации после них, более десяти сезонов, пока не потеряла голос из-

за болезни горла, пела в Мариинке, а вторым мужем её, отчимом Юры Германтова, стал после войны маститый архитектор Яков Ильич Сиверский. Кстати, Печковского после войны то ли посадили, то ли намеревались посадить за какие-то идейно-политические промашки. Осторожный Сиверский под благовидным предлогом переклейки обоев историческую афишу снял, в освободившийся простенок поставил удачливо купленный в комиссионке большой немецкий радиоприёмник «Телефункен», загоравшийся по вечерам круглым зелёным глазом, но акт малодушия заметила в характерном для неё стиле, прокомментировала Анюта.

– Ещё на молоке не обожглись, а дуют уже на воду.

От Анюты не смог ускользнуть ещё один нюанс: афиша висела при отце, теперь же в доме появился новый хозяин.

Ольга Николаевна сорок лет Юркуна ждала, а мама ждать не пожелала, быстро отца забыла?

Но ведь и брак с Сиверским у неё, похоже, складывался «не слава богу»; и когда же, когда жизнь её дала трещину? В ушах навсегда застрял её ночной шёпот: «Яша, зачем ты делаешь мне так больно?» Потом послышался её сдавленный и дрожащий, почти беззвучный плач; потом – тишина, и что-то уже зашептал, зашептал, целуя и утешая, Сиверский, и потом они ворочались, долго тряслась кровать... А утром Сиверский, как ни в чём не бывало, шумно клокотал и булькал в ванной, полоща рот.

И он, Германтов, делал больно Кате; и она тоже шептала ему: «Юра, зачем, зачем...» И он её утешал, как мог, и их тоже мирила ночь, и тоже тряслась кровать, и засыпали они, обнявшись, но... скупился, не отдавал жизненное тепло, затем и сам почувствовал ответное охлаждение... И при всех колебаниях отношений, настроений мял, непроизвольно, как глину, мял, а ей было больно.

Бесконечная – от поколения к поколению – эстафета боли? Круговорот боли?

Обязательно надо надеть мелочных подловато-жесточких глупостей, чтобы потом, когда ничего не вернуть и не исправить, безнадежно мучиться по ночам?

Накипело, а никак уже от накипи не очиститься.

И на вопросы свои уже не найти ответов.

Но – не всё потеряно? – тени по-прежнему толпились у его ложа, склонялись над ним знакомые лица.

Какой контраст с фантомно-эфемерной фигурой отца – Германтов и вообразить-то отца не мог, остались ведь всего две жалкие фотки, серенькие, расплывчатые – являл Яков Ильич! Как он, нацеливая с хищным прищуром кий, тяжело нависал над зелёным плосковатым корытом большого бильярдного стола в Доме архитекторов, как ловко умел играть «на две лузы». Притягательное воплощение жизненного азарта, телесности и породы: высокий и широкоплечий, массивный, с густой, чуть курчавой сединой на висках и затылке, фактурной серебряной скобой охватывавшей раннюю лысину, со скульптурно-выпуклым, словно приподнятым над эффектно посаженной головою, столько дружеских и не очень дружеских шаржей спровоцировавшим, торжественно бликующим лбом, и внимательными, чуть усталыми глазами за толстыми стёклами роговых очков; ко всему – заразительный, раскатистый смех, до сих пор звучащий в ушах.

Лоб! Всем лбам – лоб! – говорили о Сиверском.

И ещё его называли куполом.

Или – студенты в устном творчестве изошрялись, – купольным кумполом.

Германтову запомнились шумные, надрывно-весёлые вечеринки, которые увлечённо режиссировал Сиверский, предварительно выдумывая для каждой вечеринки особый сценарий: гостям, к примеру, надлежало приносить клетки с певчими птичками. Почти все принесли прыгуче-вёртких, палево-жёлтеньких канареек; торжественная гостиная с тёмно-синими, в золотую искру, обоями и большим овальным столом, сверкающим фарфором и хру-

сталём, в тот вечер напоминала птичий рынок. Чем закончилась затея с канарейками – финал вечеринки Сиверский называл непонятным тогда Германтову словечком «кода», – Юра так и не узнал, зевал слишком выразительно, отправили спать, а утром забыл спросить, теперь же спрашивать было некого. А как-то гости покорно принесли бледно-лимонных, розовых, сиреневых рыбок в банках с водой, и вот уже все рыбки лениво шевелили кисейными плавниками в заранее приготовленном аквариуме с водорослями, кормом и резиновой трубочкой, из которой выпрыгивали пузырьки воздуха... Увы, затея с рыбками закончилась печально: вскоре разноцветные рыбки, порезвившись в воде, взятой из-под крана, сдохли, всплыли кверху животиками... В другой раз гостям предписывалось являться с воздушными шарами на намотанных на пальцы нитках, шар служил летучим входным билетом, чем больше гостей, тем больше шаров. На время, пока ели, пили и хохотали, шары подвешивались к рожкам люстры – да-да, в гостиной сохранялся мемориальный уголок со старым-престарым письменным столом, старым кожаным диваном (маме были дороги эти вещи), но уже тогда в гостиной, с учётом прогрессивных вкусов Сиверского, висела вполне современная для заскорузлых тех времён люстра с пятью латунными рожками и стеклянными колпачками в виде миниатюрных горящих белым пламенем факелов, а не привычно-громоздкий, на металлическом каркасе, шёлковый купол-абажур с бахромой и витыми, на концах распушенными кистями. И все привязанные к рожкам люстры воздушные шары, синие, зелёные, красные, лиловые, жёлтые, сбивались в фантастическую многоцветную нервно-подвижную, чуткую к любому дуновению тучу под потолком, а под конец вечеринки... Так и не родилась, сколько ни тужились, истина: спорили захлёб надо ли, не надо сносить псевдорусский, с мозаично-яркими шатрами и маковками храм Спаса на Крови, чтобы с Невского открылся вид на строгий ампирный дом Адамینی; Фомин, сам проживавший в доме Адамینی, горячо и убеждённо на третьей рюмке начинал всем телом трястись и взывать к градостроительной справедливости, требовать сноса оскорбительного храма со всеми его вызывающими силуэтными чрезмерностями и безвкусными украшениями. Была у очаровательного Игоря Ивановича Фомина мечта... Помнит ли ещё кто-то Фомина тех лет, молодежавого, умного, парадоксального, остро-ироничного, прыткого, быстрого на меткое слово, и – ко всему этому – подвижно-пружинистого в жестах своих и переходах из позы в позу, изящного и галантного рыцаря-кавалера, реализовавшегося из женских грёз? Так вот, очевидные достоинства взыскательного рыцаря-кавалера, смеха ради принимавшего несколько раз за вечер, но на минуту-другую всего, позу роденовского мыслителя, трогательно оттеняла навязчивая профессиональная мечта, будто бы выражавшая глубинные веления самой жизни: он хотел, страстно и упёрто хотел, – недавний конструктивист унаследовал страсть своего великого отца, Ивана Фомина, к ампирному единообразию? – снести неуместный и чужеродный аляповатый храм, кричащий символ азиатчины в сердце Петербурга, снести и всё тут... Вновь театрально затрясшийся от святого негодования Фомин тонким платком промокал капельки пота на ранних залысинах, но давний фоминский друг-соавтор Левинсон, как бы из принципиальности раскалывая творческий дуэт, стойко сопротивлялся вандалистским поползновениям; при этом оба спорщика, утопая в креслах, уже шаловливо болтали ножками... Артист Левинсон сперва надеялся попросту отвлечь от бредовой идеи друга жалобным рассказом о душевных и технологических муках изготовления своих стеклянно-хрустальных колонн для станции метро «Автово», когда отвлечь-разжалобить не удавалось, отбояривался от друга-соавтора шуточками, пристыживаниями, потом, поскольку очиститель Фомин упорствовал, громко повторял свои агрессивные аргументы, неутомимо требуя поскорей заложить взрывчатку под оскорбляющий тонкие вкусы храм, разыгрывал серьёзный отпор родовитому высокообразованному вандалу и даже возмущённо пухлой ручкой размахивал... «Сколько бесценных деталей для мемуаров, – усмехаясь, вспоминал Германтов, – сколько пропадает деталей». А под конец вечеринки на горласто-весёлом, с бесщётными подначками конкурсе выбирался смельчак-умелец, способный эффектно разрезать большой, двухкилограммовый,

торт из «Норда», то бишь, прости Господи, из «Севера» – «Норд», разоблачив космополитизм вкупе с низкопоклонством, уже года два-три как переименовали. – Ну, кто не на словах, на деле владеет Золотым сечением? И конечно, перед тем как вооружиться большущим ножом и мельхиоровой лопаткой, победитель конкурса артистично, как в чаплинской кинокомедии, пытался швырнуть торт кому-нибудь, хоть и самому Сиверскому, в лицо, и конечно, тот, якобы избранный ни за что, ни про что позорной мишенью, не менее артистично разыгрывал мимический испуг, даже ужас, лицо прикрывал ладонями с растопыренными пальцами... А когда торт благополучно разрезался и поедался, когда и допивалось уже вино, все шары отвязывались от рожек люстры и с балкончика под ликующе-дикарские крики и аплодисменты выпускались в небо...

Ну да, Лоб, он же – Купол-Кумпол, командовал: «А теперь, господа-товарищи, – возвещал замогильно-командирским баском, – теперь кода! Раз, два, три-и-и...» и шары взмывали.

И что-то гротескное выпирало сейчас, спустя более полувека, из радостных загулов Сиверского и разнаряженных, громогласно-весёлых его гостей, посягнувших, как казалось, на овладение вечною беззаботностью; шутовские падения на колени, утрированные движения в танцах, экспрессивная мимика. Оглядываясь, с высоты лет своих Германтов чуть ли не в кривом зеркале сейчас те загулы видел, но ему было не до хохота, он сочувствовал, сожалел: у них, пропитанных советским ужасом, но чудом не угодивших в роковую воронку, безумные надежды на счастье вскипали в глазах, а чего достигли? Они, заглушая страхи, шумно веселились у края той засасывавшей воронки... И мало что понимал тогда Германтов в разноголосой, но заведённой, при всех импровизациях как-то машинально перетекавшей из одного приступа беспричинного веселья в другой, жизни гостей, с натугой, но увлечённо игравших лихих пропойц, обаятельных, так артистично расплавлявших женские сердца, острословов, в их чуть ли не до пантомимы поножовщины – длинных стальных кинжалов или финок им не хватало? – грозивших дойти спорах об архитектуре, искусстве. А подспудное их, друзей не разлей вода, соперничество? Завистливо дулись на Левинсона, когда появился его чудный дом на Фонтанке, у Пантелеймоновского моста, а уж когда Руднев, сам Руднев, подумать только, сказал, что это лучший новый дом в городе... И никак не смог бы Германтов разобраться в психических подоплёках театрально-чрезмерных их возбуждений, в их путаных отношениях, в поводах для приливов-отливов приязни, желчи, в иерархиях, служебных и личных, не понимал он и многих шуток – состязание остряков не прерывалось до глубокой ночи, – ибо не понимал мотивов и обстоятельств, не знал, да и не мог знать, кто от кого зависел, у кого с кем роман, а навсегда и куда отчётливее, чем прочие буйства вокруг стола, запомнилась Германтову вечеринка с воздушными шарами, мечтавшими о небе, а пока, в ожидании полёта, лениво шевелившись под потолком. Потому, наверное, именно та вечеринка осталась в памяти, что тем вечером Юру ударила шаровая молния, он вновь безумно влюбился, и вдобавок ко всем безумствам его случился на той вечеринке убойный шарж-шарада, спровоцированный, несомненно, характерным лбом Сиверского, и ни сценарием, ни режиссурой хозяина не предусмотренный; да и мог ли такое Германтов не запомнить? Талантливо было придумано и исполнено.

В разгар веселья Сперанский – молодеватый и разудалый, красавец-богатырь с чистым и открытым, как у Добрыни Никитича, ликом и, между прочим, как и Сиверский, страстно-удачливый бильярдист, – шумно отодвинув от пиршественного стола стул и присев на этот стул в центре гостиной, закатал штанину и приложил к округлому колену очки. Гости ахнули и задохнулись от хохота: сходство разительное! А Сиверский, басовито упаковав обиду, с громко-внушительной размеренностью отвечал Сперанскому: «Если бы, Серёжа, среди нас не находились прекрасные дамы и ребёнок, – имелся в виду, конечно, Юра, ребёнку двенадцать лет стукнуло, – я бы показал вам тот орган мужского тела, на который вы так похожи». И снова – взрыв хохота, до рыданий хохотали, дамы подкошенно попадали на диван. И кто же из прекрасных дам, кроме мамы, как обычно, молчаливой и отрешённой, был тогда среди гор-

ластных развесёлых гостей? Германтов потерял голову, ничего не соображал, но чувствовал, как пылало его лицо. Златовласая и светлоглазая Галя Ашрапян – точно была, запомнилось к тому же, что у неё тогда забинтован был безымянный палец, да, Гали тогда не могло не быть, иначе он бы не пылал и ничего не терял, а кто, кто был ещё?

Беба Збарская? Аня Гордеева?

У одной – газовый, бледно-сиреневый и пышно взбитый, заправленный в вырез платья шарфик, у другой... на Ане взвивалось в танце свободное и лёгкое, из крепдешина, платье.

Да... неувядаемое, казалось тогда, соцветие! Они – и Галя, и Беба, и Аня – вдруг лукаво, как прежде, глянули на Германтова из темени спальни, словно всё ещё авансировали его, содрогавшегося от ожиданий неминуемого счастья, блеском глаз, прелестными своими улыбками.

Тут и Оля Лебзак, опав морозной свежестью и жаром, выглянула из темени, сверкавшей ёлочной мишурой. Но в сжигаемую гибельными страстями Олю он влюблялся до них, до Гали, Бебы и Ани, года за два до них...

А от них, цветущих, без всяких преувеличений – прекрасных тогда, когда ошеломительно чудесный образ Оли с гитарой уже отступил в затемнённую кулису прошлого, невозможно было отвести глаз, Германтов в них, начав с Гали, потом влюблялся по очереди; и они, прекрасные, все в земле уже, все...

Цветущие, прекрасные, они там, за гробом, составили компанию Оле.

Да и галантный Яков Ильич давно шумно и весело ухаживает за дамами в той небесной компании.

\* \* \*

При одном взгляде на Сиверского, такого выразительного в щедрой своей телесности, такого жизнелюбивого и горячего как в находчивой похвальбе своей, так и в своих обидах, сразу напрашивались сравнения, тем более что мысли об отце крутились и крутились по безутешному кругу... Его-то что погубило? Что? Мысли крутились, а не за что было им зацепиться. Но за вполне естественно исчезнувшим беспутным отцом, слов нет, тянулась всё же сомнительная, если не сказать, смертельно рискованная для тех убойных лет слава, не позавидуешь.

Однако и положительный, идейно-неподкупный, располагавший к себе с первого взгляда Яков Ильич не смог избежать стилевых шатаний и опасных политических проколов в яркой трудовой биографии. Достаточно припомнить, что он, убеждённый палладианец, был ещё и любимым соавтором архитектора-конструктивиста Ноя Троцкого, спроектировал под общим руководством своего шефа новый величественный центр социалистического Ленинграда на Забалканском, то есть на Московском проспекте, в частности, примешав к конструктивизму гипертрофированные элементы классики, спроектировал знаменитый Дом Советов с помпезным залом, пристроенным к заднему фасаду, и с мажорно-тяжеловесным главным фасадом – этакую областную властную цитадель со стилизованной многоэтажной колоннадой, осенённой каменными знамёнами... И надо думать, на пару с Троцким дрожал от страха в достославные тридцатые по ночам, ибо одиозная фамилия Мастера всю проектную мастерскую со всеми её ударниками труда и орденоносцами автоматически подводила под монастырь, превращала в коллективную и явно намозолившую бдительные глаза мишень. Сиверского, к тому времени уже – между прочим – орденоносца, даже на короткий срок арестовывали, запросто мог погибнуть, но тут как раз пересменка в верхах НКВД назрела – злобного недомерка Ежова объявили врагом народа, поменяли на вальяжного Берию в пенсне, и по этой ли причине государственной важности или по случайному везению, но Якова Ильича сняли со страшного – думал, не выживу, как-то, расчувствовавшись, признался за рюмкой Сиверский – этапа в Караганду,

в жесточайший «Карлаг», выпустили на волю. Да и самого Ноя Абрамовича Троцкого индейка-судьба хранила. Не повезло с отвратительной фамилией, что могло бы быть опаснее тогда такой чёрной, от рождения приклеенной этикетки, но ему – мрачные юмористы из Большого дома явно зашутились и особой шутки ради Ноя Троцкого так и не репрессировали – дали умереть своей смертью перед войной, а после войны...

Итак, вернулись из эвакуации, в свой дом на углу Загородного проспекта и Звенигородской улицы, и в квартире их на последнем, пятом этаже, вернее, в двух больших солнечно-светлых комнатах коммунальной, но чисто прибраной, с регулярно натираемыми полами в прихожей и коридоре – натирал полы вонючей красно-оранжевой мастикой контуженный на Волховском фронте белобрысый Валентин, бывший танкист – и вполне благоустроенной по тем временам, с ванной с газовой колонкой, кухней с одной из первых в городе газовых плит, малонаселённой, как говорили тогда, квартиры, появился Яков Ильич. Кстати, во вселении его в этот заметный, сейчас бы сказали, престижный, дом можно было при желании усмотреть знак доброй благодарной преемственности: дом, знаменуя переход от девятнадцатого века к двадцатому, а заодно знаменуя ещё и смену – эклектику сменял модерн – стилевых вех, спроектировал и построил высокочтимый и любимый учитель Якова Ильича, академик архитектуры Шишко. Увы, до новоселья, которое закатыт Лоб, он же – Купол-Кумпол, Шишко было не суждено дожить, погиб блокадной зимой под бомбами. Между прочим, учителя с учеником сближало также внешнее сходство, учителя тоже украшал пусть и не такой выдающийся, как у Сиверского, но довольно-таки выразительный скульптурно-выпуклый лоб. Итак, вернулись из эвакуации, в заметном престижном доме появился Сиверский; к тому времени он снова успел впасть в немилость, получив, как предрекала Анята, в очередной раз по шапке. Ему бы держаться поскромнее, а он, крупный, громкоголосый и бесшабашный – справедливости ради нельзя не согласиться с Анятой, бесшабашный, – сразу привлекал к себе внимание и естественной открытостью своей и строптивостью, очевидно, не мог не вызывать подозрений. Затем, после краткого ухода в тень, снова заслужил расположение обкома и престижные позиции в творческом архитектурном цехе, где его – вы бы видели, как торжественно сверкал Бронзовый зал! – избрали в Президиум правления Творческого союза, сделали заместителем бессменного председателя правления, заместителем самого Виталия Валентиновича Нешердяева. А вскоре – фарт, форменный фарт, выпадающий, однако, тем, кто его заслуживает! – Яков Ильич был уже взят под крыло другим знаменитым архитектором, Рудневым. Много времени проводил в Москве, завистники поговаривали, что за Сиверским в «Красной стреле» закрепили отдельное купе, совсем уж отвязанные длинные языки, те, что без костей, болтали даже, что к Сиверскому, как особо важной, выполнявшей кремлёвский заказ персоне, органы приставили охрану и, пока почивал он в своём купе на плюшевом диване, всю ночь в вагонном коридоре дежурил человек с пистолетом. Но шутки шутками – за ступенчатую высотку Московского университета на Ленинских горах вскоре наградят орденосца Сиверского, верного рудневского соавтора, ещё и Сталинской премией.

Да, был взят под крыло.

Так и сказал-спросил однажды кто-то из гостей, кажется, Левинсон: «Как вам, Яша, работает под крылом у Льва Владимировича?»

Но мог ли Яков Ильич, такой большой, у кого-то под крылом поместиться?

Пусть и под крылом Льва...

Под крылом Льва, под крылом Льва... что-то новое в зоологии.

До чего же эффектно смотрелся Яков Ильич, крупный, сильный, непобедимый, как ярмарочный силач, на балконе с витой чугунной оградой; балкон располагался над эркером нижнего, четвёртого, этажа, словно корабельный балкон, выступающий из капитанского мостика; капитанским мостиком, очевидно, служила Сиверскому вся их вытянутая вдоль фасада квартира; на балконе Яков Ильич, вознесённый над городом, раскуривал трубку... Юра, обычно

замкнутый, отчуждённый, полюбил отчима вопреки приступам своей глухой ревности. Действительно, что-то властно-притягательное было в живой горячности массивной его фигуры, во взгляде, добром, но требовательном, пробивавшем толстые стёкла очков, и в раскати-сто-рокочущих, порой громоподобных тембрах густого то баса, то баритона – «Надо шевелиться, шевелиться!», – рокотал Сиверский, обхватывая пасынка за худые плечи, – в весомых размашисто-плавных жестах, в самой обстоятельности ненавязчивых, хотя убедительных таких объяснений. И, разумеется, Яков Ильич волшебным образом потрафил тайным ожиданиям Юры, когда повесил над его кроватью две старинные гравюры, два городских вида, запечатлённых с самых выигрышных, хотя вполне примелькавшихся, канонических для этих чудесных городов, как говорят теперь, «открыточных» точек, – на одной гравюре простиралась Нева с полугими волнами, лёгкими парусниками и многомачтовыми торговыми кораблями, Нева в самом широком месте её, у Петропавловской крепости, на другой был угол Палаццо Дожей, колонна с крылатым львом, и тоже корабли, лодки на фоне блестящей лагуны и монастыря Сан-Джорджо-Маджоре.

Да, выходит, не только у Льва Руднева, но и у бронзового льва сказочно отросли птичьи крылья.

Чтобы смог взлететь на колонну?

\* \* \*

Несколько шагов по прямому, как линейка, коридору или короткий пробег по скользким, навощённым, натёртым до блеска паркетным ёлочкам на трёхколёсном велосипеде; белая, с пухлыми филёнками и облупившейся на гранях-фасках филёнок масляной краской, дверь, из-за неё, будто бы из потустороннего мира, доносились приглушённые голоса тёти Анюты и дяди Липы, родственников отца; над комнатной дверью была, помнится, антресоли, на антресоли в бумажных мешках истлели пересыпанные нафталином старые пальто и платья Анюты...

Что понуждало Германтова возвращаться в то далёкое родственно-коммунальное пространство, переоборудованное памятью в одну из архивных ячеек времени, где с детства его хранились, да и будут храниться до тех пор, пока сам он не умрёт, мгновения уникальной и неприметной жизни?

Пытаясь что-то понять в себе, почти что семидесятилетнем, воссоздавал мизансцены и реплики из давно отыгранной печальной комедии?

Они, Анюта и Липа, ещё с дореволюционных лет проживали в этой четырёхкомнатной квартире, принадлежавшей им целиком, о чём свидетельствовала на грубо замазанной коричневой краской двери потускневшая медная табличка с каллиграфической гравировкой: «Леопольд Израильевич Геллерштейн».

– Два «л», учтите и запомните, в слове «Геллерштейн» два «л»: – строго предупреждал всегда нового собеседника, находившегося на другом конце провода, дядя Липа, сообщая по телефону, стоявшему в плоской, с залоснившимися обоями коридорной нише, на полочке, под календарём с саврасовскими грачами, свою фамилию; потом, убедившись, что правописание столь сложной фамилии усвоено собеседником, Липа открывал лежавший рядом с телефоном блокнотик: – Да, да, я вас слышу, а вы, уважаемый, меня слышите? Есть контакт? Отлично! Теперь, если можно, чтобы потом не забыть, ваши координаты...

Липе частенько звонили разные учёные люди, подолгу вели с ним телефонные дискуссии. Было смешно, когда Липа, то терпеливо, то с трудно скрываемым раздражением, которое он иногда даже как бы телепатически намеревался передать далёкому собеседнику, когда доставал из кармашка заношенной жилетки потемневшую серебряную луковичку стареньких швейцарских часов, с нежным щелчком откидывал крышечку и, считая описанные секундной стрел-

кой круги, назидательно покачивал головой... Увы, не сразу понимали его, не сразу – ему ведь приходилось диктовать многоэтажные, составленные из греческих букв-символов формулы.

– Нет-нет, – кричал в прижатую плечом к уху трубку Липа, вытаскивая из портфеля и близоруко поднося к очкам очередную бумажку с формулами, – сигма – в числителе, слышите, в числителе? А в знаменателе, только не перепутайте, – кричал ещё громче Липа, – в знаменателе последний сомножитель – квадратный корень из эпсилон в кубе. – Получалась явная несуразица.

– Абсурд в кубе, – повесив трубку, посмеивался сам над собою Липа.

У Липы и Анюты когда-то был сын, Изя, был он, как и отец, с математическим заскоком, с юных лет пытался доказать какую-то теорему, теорему Ферма ли, Гиберти, Гилберта, или, возможно, Пуанкаре, или доказывал он вовсе не теорему Пуанкаре, а его гипотезу, бог весть когда сформулированную в виде задачи, причём доказывал-решал он гипотезу-задачу отнюдь не трехсотлетней, как Германтов полагал поначалу, давности, поскольку Пуанкаре, кажется, жил не так уж давно, в начале прошлого века. Германтов, бесконечно далёкий от математики и знавший о поисках Изя лишь понаслышке, безбожно путался не только в свойствах-условиях самой задачи и славных именах тех, кто смог бы такую задачу выдумать, чтобы навсегда Изю лишить покоя, но и в научной хронологии, хотя смутно вспоминалось ему в последнее время, что речь шла всё же о гипотезе великого Анри Пуанкаре, которая, по словам Липы, заморозила всех чего-то стоивших математиков. В общем, независимо от того, гранит какой гипотезы ли, задачи грыз Изя и когда, кем гипотеза-задача та была сформулирована, грыз он, по свидетельствам многих светлых умов, которые упоминались Анютой с Липой, вполне успешно. Да, лучшие мировые математики бились с угрозой для рассудков своих над решением невыристой той задачи и ничегошеньки не добились, а Изя, как никто до него, был близок к успеху. Однако талантливейший – возможно, гениальный – математик и к тому же ещё и композитор-новатор, выдумавший якобы какую-то свою, сугубо свою, принципиально отличную от шёнберговской, атональной двенадцатизвуковой, систему звучаний, по причине прискорбного ухудшения психического здоровья не сумел резко продвинуть вперёд головоломную строгую науку и – параллельно – разрывающую умные сердца, по словам Анюты, запредельную таинственно-системную музыку; музыку, которую она бы, к слову сказать, если бы довелось кому-нибудь на основе Изиной системы такую музыку сочинить, скорей всего в силу своей приверженности традиции не поняла бы и не приняла. Между прочим, к композиторским штудиям впавшего в безумие Изя имел прямое отношение музыковед Соллертинский, он, – по словам Анюты, непревзойдённый провокатор звуковой новизны – приносил Изе в психиатрическую больницу вместе с фруктовыми передачами нотную бумагу, забирал затем густо исписанные музыкальными символами – вперемешку с обрывистыми математическими формулами – листки, чтобы сохранить зашифрованные новации до лучших времён. Но лучшие времена в полном согласии с российской исторической традицией так и не наступили. Соллертинский скончался во время Отечественной войны в сибирской эвакуации, и судьба тех листов, увы, неизвестна. Да, судьба к Изе вообще была беспощадна, несправедливо беспощадна: его, душевнобольного, много лет – годы военного коммунизма, НЭПа и далее, выше и выше – держали взаперти на болезненных уколах, сначала в печально знаменитой лечебнице Николы-Чудотворца на Пряжке, потом – в Удельной; вконец измучившись, он умер в начале тридцатых годов. С тех пор в памятные дни, пока могли самостоятельно передвигаться, Липа с Анютой в сопровождении верного Шуры Штурма, ближайшего друга Изя, одноклассника по Петершуле, отправлялись с цветами на кладбище. Долго-долго тряслись в трамвае, в переполненной «семёрке», по проспекту Обуховской Обороны, потом пересаживались на автобус, и тоже как сельди в бочке – кладбище было у чёрта на рогах, на Щемиловке. Вернувшись помятыми и без задних ног с кладбища, вместе обедали, вспоминали. В июле, на день рождения Изя, Анюта непременно готовила холодный свекольник с аккуратнo – как только она умела – наре-

занными в каждую тарелку крутым яйцом и перьями зелёного лука, а на второе – любимое своё и Изино блюдо: вареники с вишнями.

И так год за годом.

Подсчитывали при встречах, сколько бы лет исполнилось Изе, подсчитывали, вздыхали; не могли примириться с тем, что так давно Изи нет.

И собачку-болонку Липа с Анютой себе завели, надеясь ослабить боль.

Но давно это было, давно...

И как проходило постреволюционное уплотнение квартиры, вполне, надо думать, по тем временам пристойное, когда в неё вселились родственники Липы и Анюты, то бишь германтовские отец и мать, а также художник Махов с женой, школьной учительницей русского языка и литературы, Германтов не знал. На его памяти у Липы с Анютой оставалась длинная узкая комната с высоким окном на безликую Звенигородскую улицу, с бегонией и кактусами в рыжих керамических горшочках, с равными интервалами выставленных на подоконнике, – та самая комната, в которой и он, уже пойдя в школу, потом проживёт несколько лет... Ничем особенным та комната не отличалась, обычный пенал с окном в торце; настенный красно-коричневый, с чёрными зигзагами, ковёр; металлическая, с панцирной сеткой и блестящими шарами-набалдашниками над высокой ажурной спинкой кровать, накрытая суконным тёмно-зелёным одеялом, задвинутая в угол; старенькое чёрное пианино, прижатое к стене; винтовой круглый табурет – он давным-давно не вращался, в нехитром механизме что-то заело; настенные часы с римскими цифрами и плоским золотом бесшумного, пока неожиданно не раздавался бой, маятника; ближе к окну – стол, и обеденный, и письменный, над ним летом повисала липучка с мухами. Обеденный стол превращала в письменный маленькая, довольно диковинного дизайна, как запомнилось, настольная лампа с дугообразно изогнутым, из нержавеющей стали, с канавками, стволом, выраставшим из плоской круглой чёрной подставки с торчащей из неё белой цилиндрической кнопкой и стеклянным молочно-матовым, похожим на поникший тюльпан абажурчиком – запомнилась тонкая извилистая трещинка на чуть шероховатом, если тронуть пальцем, стекле. Пока завтракали или обедали, лампа с абажурчиком дожидалась своего часа на полке рядом с логарифмической линейкой в потёртом, залоснившемся, раздвижном, разнимавшемся на две части футляре из папье-маше и набором фигурно-плоских деревянных, будивших воображение Юры выпукло-вогнутою плавностью линий и форм лекал. Но вот Липа притворно давит зевок и даже прихлопывает ладошкой по губам, как бы заглушает протяжно-музыкальное а-а-а-а, затем, якобы для отвода чьих-то нескромных глаз, потягивается, вскидывает в стороны и вверх худые длиннющие руки-крюки и с лентой произносит, заговорщицки подмигнув Юре: «Дело было вечером, делать было нечего...» Но вот посуда со стола убрана и хлебные крошки тщательно – под строгим присмотром Анюты – сметены, поверх клетчатой серо-зелёной клеёнки укладывается плотный коричневый лист картона, заляпанный чернильными кляксочками, – дяде Липе не терпелось вынуть из старого кожаного портфеля бумаги и погрузиться в свои математические мечтания; в Липе сидел недуг-талант заштатного мудреца, причастного к пророчествам, запросто, без трепета прикасавшегося к мировым идеям и тайнам в четырёх стенах своей комнаты.

\* \* \*

Однако царила-правила в комнате той Анюта; то чуть натягивала условные вожжи, то ослабляла, да так, что мечтатель Липа мягкого её правления не замечал.

Тётю Анюту – ту тётю Анюту, которую знал маленький Юра, – звали ангелом, а, понижая голоса – живым трупом, однако и робкие признаки жизни последовательно убывали. Её жалели, любили, её сердечность и ангельская доброта, бесстрашие и непреклонность

удивляли, заслуживали уважения, старческие чудачества и острый язычок вызывали добрую улыбку, но по мере выслушивания её рассказов...

О ней самой, однако, трудно было бы рассказывать последовательно, по порядку, а уж о том, что сама рассказывала она... За что уцепиться?

Какие безошибочные мгновенные психологические портреты она набрасывала! Звонок, ещё звонок, ещё...

Полотёр Валентин постарался на славу, коридорный паркет сиял, гости довольного, роко-чущего свои ласковые приветствия и ехидно поддевающие подбадривания, лёгкого в сопровождающих движениях и жестах при всей массивности своей Сиверского проходили гуськом в гостиную со щедро накрытым большим столом по длинному коридору мимо приотворённой двери. Но и беглого взгляда на профили гостей – многие из них, правда, обладали особо выдающимися профилями! – Анюте хватало, чтобы главное поймать в человеке, в тайных помыслах и душе, и даже, бывало, прочертить в туманное будущее его судьбу.

Иных, лишённых стержня, не жаловала. «Ни рыба, ни мясо, – шептала, – и ждать нечего от него».

Или, поджав губы: «Ни богу свечка, ни чёрту кочерга».

А вот... вспыхивали огоньки в глазах:

– Весёлый, неуёмно весёлый и... какой-то вакхический! – торопливо-деловитого и ироничного, с горящей, зажатой меж пальцами одной руки папиросой и усмешки ради, привязанным к мизинцу другой руки прыгучим лиловым шаром Фомина словно не заметила, а от Левинсона, игриво сопровождавшего Фомина на шаг сзади, с водевильной заботливостью подерживавшего Игоря Ивановича за локоток – чем не спектакль? Творческий дуэт бывших битых конструктивистов был ещё и замечательным актёрским дуэтом! – не отводила глаз.

Чуть сутуловатый, подвижный Левинсон будто бы бравировал своей грациозно-балетной лёгкостью, что было довольно комично из-за коротких ножек и намечавшегося брюшка.

– И очень-очень талантливый, у него... южный талант, в нём столько солнца! – проследила Анюта с блаженной улыбкой за шаловливым Левинсоном. Он всё ещё вышагивал-вытанцовывал короткими ножками по коридору следом за Фоминым, помахивал на ходу кистью с намотанной на палец ниткой, на нитке приплясывал голубой воздушный шар. С первого взгляда покорила, видимо, Левинсон чуткое Анютино сердце, и, справившись об имени-отчестве Левинсона, всё ещё улыбаясь, она добавила:

– Когда Евгений Адольфович поднимет чашу с вином, он станет похож на древнего грека.

– Почти угадали, – кивнёт потом Сиверский, – он из Одессы. А уж кто древнее – за всех одесситов не скажу, – греки или евреи, это ещё вопрос.

Анюта не спорила, но следом за Левинсоном...

– И этот, лысовато-кудрявый, с жёлтым шаром, талантливый, но не такой, конечно, талантливый, как тот богами избранный седой растрёпанный грек. Этот, подозреваю, порох не изобретёт, но зато он упорный, и характер у него неуступчивый, и многого он добьётся, и проживёт долго... О, он многое для лет своих вытерпел, закалился и теперь до дел жаден, – как сумела вмиг раскусить Жука?

– Какой красивый, статный. Гренадёр, с гордою головою! Далеко пойдёт, вот увидите, – предрекла она будущее Сперанского.

– А вот тот, тоже красивый, рослый, – вздохнула, проводив взглядом Александра, – не жилец; и точно, Гоша Александров вскоре умрёт.

И, сердобольная, вздыхала, тяжко-тяжко вздыхала, когда проходили по коридору, источая ароматы терпких духов, прекрасные Галя, Беба... заглядывала в жутковатые концевки их судеб?

– А этого живчика в курточке, с зелёным шаром, как зовут, Александр Яковлевич? – провожала взглядом Мачерета – Он, по-моему, немножко пижон.

И характер любвеобильного, с кудрявой шевелюрой над затылками и завитками на затылке Майофиса безошибочно разгадала с первого взгляда, и сразу удачи посулила совсем молоденькому тогда, стройному, как прутик, в шутках прятавшему смущение густобровому Штримеру; смоляные волосы, большой нос, тёмные выпуклые насмешливые глаза...

– Он тоже архитектор? Как-как, градостроитель? Звучит! А каким будет он блистать красноречием!

Что-то, припомнив, переспрашивала.

– Он, худенький и чёрненький Штример – Михаил Александрович? Если не путаю, из адвокатской семьи. Что, однофамилец? Ну, слава богу, о его однофамильце-адвокате, помнится, ходили нехорошие слухи.

Стройный пружинистый Штример шёл, по своему обыкновению чуть подпрыгивая, и чуть подпрыгивал красный шар на длинной, почти до потолка нитке...

– Анна Львовна, поделитесь опытом ясновидения, что помогает вам достославных моих коллег, по первому впечатлению лишь к винопитию и дикарским крикам пристрастных, насквозь просвечивать и оценивать? – допытывался Сиверский, смешно моргая обезоруженными глазами и дыша на стёкла очков.

– Что помогает? Обычная интуиция, – невозмутимо, хотя и не забывая о роли театральной комической старухи, отвечала Аня. – И никакого ясновидения, Яков Ильич, самого по себе не существует, не перебарщивайте и не околпачивайте, ради бога, себя и других, чересчур доверчивых, это вздор, а ргіогі – сущий вздор, понимаете?

– Но природная интуиция ваша, надеюсь, подкреплена космическими расчётами Леопольда Израильевича?

– Не надейтесь! Леопольд Израильевич не тратит попусту своё время: мои оценки в проверке или подкреплении не нуждаются.

– Ладно, интуиция, причём самая обычная интуиция – ваш испытанный рулевой, – засмеялся Яков Ильич, артистично снимая с головы и отбрасывая воображаемый колпак. – И что ваша, Анна Львовна, обычная, но зрячая интуиция вам обо мне нашептала, когда вы впервые меня увидели? Только, чур, говорите правду.

– Я всегда говорю правду, – обиженно понизила голос.

– Да уж, ваша правда, бывает, как снайперский выстрел бьёт.

– Да уж, берегитесь, – в тон ему бросила Аня, – не в бровь, а в глаз.

– Итак...

– Увидела я импозантного мужчину, а интуиция подсказала, что вы – важный, невероятно важный, что и не замедлило подтвердиться. Вас ведь, если подхалимы со злопыхателями не врут, когда лясы точат, в «Красной стреле» каждый вечер ближе к полуночи отдельное купе с коридорным вихрем поджидает, да к тому же вы так важно трубку раскуриваете, так важно трубку свою сосёте, будто кому-то, кто ещё поважнее, чем вы, стараетесь подражать, – кольнула хитрющим взглядом, щёки, восково-жёлтые, казалось, порозовели, – но при всём при том в своей компании, с душой нараспашку, вы не только важный и даже барственный, простите за откровенность, вы – патологически бесшабашный.

– За импозантного мужчину с охраняемым отдельным купе и трубкой – спасибо, оценили по гамбургскому счёту, достойно, без грубой лести, отныне я ваш вечный должник, – игриво выкатил грудь с покачивавшимся на лацкане пиджака лауреатским значком, золочёной медалькой с незабываемым рельефным профилем, которая была подвешена к колодочке, обтянутой муаровой красной ленточкой. – А теперь, коли главные величально-обличительные слова у вас с языка сорвались, хотелось бы уточнить смиренно, – глаза потупил, а лоб, будто боднуть намеревался, слегка опустил, – чем меня за важность и бесшабашность судьба награждает или накажет?

– Не хочу наступать вам, Яков Ильич, на любимую мозоль, но вам, наверное, мало ордена было, так вас дополнительно ещё наградили, хватит очки втирать, – глянула на лауреатскую медальку и, поморщившись, помолчала. – Вам время от времени походя по шапке давали и ещё будут давать по шапке. И ещё как несправедливо и больно-больно будут давать, готовьтесь! – вздохнула Аня, явно сожалея, что не в её силах облегчить участь Сиверского.

\* \* \*

Вот ведь, как в воду глядела.

Ох и достанется Сиверскому, когда грянет хрущёвское «Постановление о борьбе с излишествами в архитектуре», ох и достанется, по первое число ему местные парторганы, взяв по кремлёвской команде под козырёк, врежут.

А Сиверский ведь и сам сидел в Большом Кремлёвском дворце, когда зачитывал свой доклад Хрущёв, в одном из первых рядов среди других лауреатов сидел и даже страдал, что в президиум не пригласили. О, он, что называется, был в фаворе: фото, запечатлевшее его среди других лауреатов, но на переднем плане, так что выразительно выделялся выпукло-приподнятый лоб, напечатала центральная партийная газета, на следующий день перепечатала «Ленинградская правда»... И что же? Хрущёв дочитал разгромный доклад – и мир рухнул?

Не сразу, для Якова Ильича рухнул не сразу, он...

Сам Фрол Романович, шептались, разъярился, в Смольном на матерный рёв сорвался. Из рёва, впрочем, удавалось и печатные слова выудить – наказать зарвавшегося Сиверского, отстранить, напомнить ему, если забыл, где раки зимуют... быстро не одумается, так на стол партбилет положит... И уже в спину порученцу кричал: в мокрое место превратить, в порошок стереть... Да, Сиверский в ретроградах не числился, напротив, вкусами отличался передовыми, бывало, даже своё время опережал, лапидарную изящную латунную люстру со стеклянными колпачками вместо пышного абажура, накопителя пыли, дома велел повесить, однако от антично-ренессансных ордерных излишеств отказываться по кремлёвской команде не захотел и даже стал в позу: Якову Ильичу настойчиво предлагали пасть ниц на красный смольнинский половик, затем выступить, пусть и пряча глаза, на пленуме с дубовой трибуны и очиститься от ошибок, но он, непокорный, привыкший вызывать огонь на себя, не испугался идеологической грозы и, шептались, пошёл на принцип. Разве что с казённым косноязычием и можно было выразить столь нелепое поведение – стал в позу, пошёл на принцип. Как понять? Перестраховывался, снимал со стены афишу с именем опального тенора, а тут...

– А тут, – сказала со вздохом Аня, – захотел сыграть «на две лузы», и нашим, и вашим, но шары выпрыгнули за борт.

Уже кричали с газетных страниц гончие из правоверных служек-большевиков, – ату, ату его, – а будто бы всё ему было трын-трава: он, сохраняя сыновнюю верность палладианству, но отлично зная-понимая, что почём на рынке последней партийной моды, демонстративно выставит на Градостроительном совете свой многоколонный дом, да ещё с вгрызающимися в тучи клыками-обелисками – злые языки кусаче-клыкастый тот венец называли «челюстью», – да ещё – мало ему было обелисков? – с антично-классическим бельведером, вознесённым над тяжёлым карнизом по центральной оси фасада. Ну куда, куда подевался элементарный инстинкт самосохранения? Венец-челюсть, бельведер-диадема, когда под напором партийного гнева любые ордерные формы обречены были превратиться в предосудительную руинную пыль... Проект того громадного жилого дома на проспекте Стачек вызовет на себя священный огонь, в том огне и сумасбродный проект сгорит, и репутация автора – вот она, бесшабашность, за которую пришлось поплатиться, сам виноват, говорили. Его и друзья ведь предупреждали, урезонивали, а он, внимавший в числе облечённых доверием, избранных зодчих главному партийному громовержцу, будто бы не слышал раскатов грома. Но гром-то гремел! Причём гремел

уже над его головой – маятник идейно-стилевых предпочтений, послушный приказу, жестоко качнулся в другую сторону, и заслуги Якова Ильича, сталинского лауреата, одного из творцов Большого стиля, ещё вчера обласканного партийной властью, только-только поощрённого большой отдельной квартирой на Петроградской стороне – да-да, законно доставшейся затем Германтову после скоропостижной кончины Сиверского квартирой, – при Хрущёве не учитывались уже, совсем даже наоборот, порицались и осуждались, какое там персональное купе с охраной в «Красной стреле»! По Сиверскому так ударят за нежелание от колонн очищать фасад, как и по Левинсону с Фоминым в тридцатые годы не ударили, когда приказывалось обильно налеплять на конструктивистские фасады колонны.

Так сильно ударят, что Сиверский, оставшись не у дел, того удара не переживёт. Беда ведь не приходит одна: после служебных передрыг у здоровяка-исполина неожиданно обнаружили камни в мочевом пузыре, а после срочной болезненной операции почему-то заскакало давление, кровь к голове прилиwała, лоб багровел, пот – градом по лбу катился... А откуда взялись вдруг рыхлость, трухлявость? Как ни печально об этом вспоминать, Яков Ильич с грохотом упадёт на кухне новой своей, ещё толком не обжитой квартиры – и всё: даже коротеньких некрологов газеты не напечатают.

Да, дирижировали травлей из Смольного, но, как водится, шельмовали-травили и кликушествовали свои. Сиверского на бурном собрании в Творческом союзе согласно осудили за ошибочный отход от единственно верной партийной линии, отринувшей многоколонные украшения, а уж когда в центральной газете распустил Сиверского в развязном фельетоне сам Нариньяни, иные из друзей-товарищей, вместе с которыми столько выпито было и пудами соли заедено, как прокажённого, сторониться стали. Какое-то время ещё преподаванием он на плаву удерживался, но недолго, совсем недолго, очень скоро доконает его безрадостное безделье.

\* \* \*

– По шапке давали, святая правда, наверное, ещё дадут... – Фаталист Сиверский с застывшей улыбочкой на губах крупной лепной головой покачивал; всё ещё дышал на стёкла очков. – Однако, Анна Львовна, по порядку давайте. Я – важный, допустим, даже барственный, есть, есть грех гордыни, каюсь, но – бесшабашный? Доказательный примерчик не приведёте?

– Рыльце в пушку, а для отвода глаз спрашиваете? Пожалуйста, я отвечу! Вы со студентами своими бражничали, дурачились, не зная удержу, потом и бесновались, я бы сказала, чтобы помягче выразиться: песни громче юнцов горланили, далёкие от приличий, будто вы свою важность пропить хотели, а под занавес вакханалии-сатурналии своей вконец распоясались, игру в чехарду затеяли. Я была злее, чем сто чертей! Хорош, я вам прямо теперь скажу, профессор-лауреат – с мальчишками на спине скакал до глубокой ночи по коридору.

Яков Ильич, клоня с повинною тяжёлую лепную голову, поднял руки.

– Благодарю покорно за откровенность. Я сам сейчас не пойму, какая нелёгкая меня дёрнула, на ночь глядя... Простите великодушно, Анна Львовна, за бесчинства, помешавшие вам уснуть.

– Не надо чересчур сильно бить себя в грудь, за вами помимо бесшабашности и прочие грешки водятся.

– Какие ещё грешки?

Хотела припомнить ему трусливое снятие афиши «Пиковой дамы», но по деликатности своей решила не ворошить семейное прошлое – другой повод нашла, дабы поджать губы:

– Аквариумных рыбок не вы уморили хлоркой?

– Искренне раскаиваюсь...

– Отраднo слышать! Но почему вы так торопитесь предстать старым комедиантом? На вашем месте я опасалась бы иметь потом бледный вид... – решила подытожить свои наблюдения и интуитивные оценки Анюта, и тут свой язычок прикусила. Оба, Анюта и Сиверский, рассмеялись; действительно, слишком трудно было вообразить Анюту на месте Сиверского.

А что бы подсказала ей зрячая интуиция, что перво-наперво подметила бы Анюта своим просвечивающим насквозь или, если угодно, взрезающим человеچه нутро взглядом-лазером, если бы по коридору продефилировали мимо её приоткрытой двери Палладио и Веронезе?

Ну да! Почему бы витальному и хлебосольному Сиверскому их – прославленных, недосягаемых – не пригласить бесшабашно на равных в гости, не встретить с распостёртыми объятиями, не налить им сразу, едва войдут, по стопке ледяной «Столичной»?

Ну да, вот они – они! – отделились от столпотворения великих теней: приняли приглашение?! Да, похоже, покидают на время свою размываемую волнами, вечно тонущую твердыню счастья...

Звонок.

Так быстро приплыли? А где гондолу причалили – на Фонтанке или у Витебского вокзала, на Введенском канале? Нет, не на Введенском – как они смогли бы из канала по грязному крутому земляному откосу на мостовую выбраться? Да ещё там вдоль канала высокие перила из деревянных брусьев... Причалили, наверное, на Фонтанке, у Обуховского моста есть, кажется, спуск к воде; да, да, есть, с тех ступенек он когда-то провожал в плавание флотилию бумажных корабликов.

Приплыли, нашли, заглядывая в листок с адресом, дом, с недоумением теперь рассматривают старорежимную табличку: «Леопольд Израильевич Геллерштейн»? Дивятся искусности гравировки?

Второй звонок, нетерпеливо-протяжный.

Им ли, звёздам первой величины Светлейшей республики, пристало ждать у запертой двери?

Сиверский, важный и массивный, неотразимо-солидный в тёмно-синем, в искру, своём костюме с лауреатским значком, обретает вдруг завидную невесомость, бежит открывать, бежит куда легче и быстрее, чем раньше, когда бегал открывать простым смертным, да ещё и нервно заглядывает на бегу в зеркало, оглаживает и одёргивает пиджак; лауреат явно взволнован.

Да, это они, внимание! Они – наше почтение! Хотя без воздушных шаров на нитках, бессмертных и без надувных «входных билетов» впустили. Они, они... Задержавшись на миг у полочки с телефоном, чтобы рассмотреть календарь и прилетевших саврасовских грачей – Веронезе – он моложав и ироничен, как на эрмитажном автопортрете, – даже с наигранным удивлением погладил госполитиздатовскую репродукцию пальцем, – уже идут по коридору, а Анюта помалкивает, будто бы их не видит... Неторопливо и величаво, с накопленной за века славы монументальностью вышагивают друзья-небожители по натёртому до блеска коридорному паркету, один – в просторном, смахивающем на блузу коричневатом сюртуке с отложным широким белым воротником, другой – в нарядном, даже парадном, винно-красном, с золотистым шитьём, камзоле... Кошутся еле заметно старинные ткани, ниспадают складки.

Но что выражают лица?

И почему прикусила острый свой язычок Анюта?

Не хватало Германтову их, Палладио и Веронезе, психологических характеристик, не хватало для уточнения их исходных художественных мотивов...

Всё ведь просто: один, непрекаемо-строгий волшебник камня, выстроил виллу, другой, вольный волшебник кисти, её расписал, а...

И тут удар, ещё удар, тяжёлый, сильный, у них, тончайших, непревзойдённых в искусствах своих, пудовые кулаки!

Как, как... за что?

Повалили на землю – да, да, вовсе не на коридорный паркет «в ёлочку» повалили – на землю; или на асфальт? Или на булыжную мостовую? Поволокли куда-то по лужам, по грязи, мокрым булыжникам, и пока волокли, били, остервенев, с зубовным скрежетом, били ногами, ещё и изнутри откуда-то подступало, после подлого удара в живот, удушьё... И поделом ему, с кем надумал тягаться? Душили, сжимали горло цепкими холодными пальцами, снова били, били кулаками, ногами; лицо, чувствовал, превращалось в кровавое месиво, и в промозглой темени, теряя сознание, он тем не менее, будто сторонний наблюдатель, видел в неверном свете уличного фонаря, как они усердствовали в расправе, те двое: один, в свободном коричневом одеянии, с забрызганным его, Германтова, кровью отложным белым воротником, и другой, в винно-красном камзоле... Бессмертные озверели, вернувшись из заоблачной выси в земную жизнь. За что, собственно, они, волшебники эмпирей, с такой первобытной злобой накинулись на него? Неужели и намерения наказуемы? Почти пятьсот лет купались в славе, а теперь, прослышав в небесной канцелярии об его идеях и планах, загодя, до выхода из печати главной книги его, посчитали себя оболганными?

Германтов дёрнулся и опять проснулся.

### **Стоическая Анюта, космист Липа, бульварные истории с философическими подкладками и Витебский вокзал**

Анюта страдала какой-то редкой страшной и, увы, неизлечимой болезнью, ускорявшей и усугублявшей отложение солей. Она передвигалась с трудом, еле-еле переставляла ноги, почти не отрывая ступни от пола, и с усилием шевелила пальцами на распухших, как тугие подушечки, с солевыми узлами на каждом суставе пальцев кистях. А вот уже и колени утрашающе распухали, рука вдруг переставала сгибаться и разгибаться в локте, поясницу так ломило, что впору было бы закричать...

Но Анюта не сдавалась болезни, а, по её словам, давала всем своим хворям сдачи. Чураясь печати мученичества, она старательно превращала борьбу с болезнью в игру, да ещё и объявляла по утрам тихим шёпотом, напутствуя себя на очередной день, сверхзадачу: играть и выигрывать. У неё была маленькая детская леечка, и с ней она ежедневно по утрам, внимательно прослушав по радио урок гимнастики – руки в стороны, ноги на ширине плеч – и мысленно воспроизведя по несколько раз все взмахи и отжимания, приседания и прыжки, с помощью которых в это время реально заряжалось энергией для трудовых подвигов многомиллионное население на просторах необъятной страны, добиралась до кухонного крана, наливала в леечку воду и медленно-медленно, крохотными, всего-то двумя-тремя сантиметрами измеряемыми шаркавшими шажками, шепча: «Тьфу-тьфу, не скоро мне ещё крышка, тьфу-тьфу, не скоро, если кондрашка во цвете сил нехватила, то теперь-то точно я продержусь, чувствую себя погано, ноги подкашиваются, но пока что, тьфу-тьфу, тьфу-тьфу, многим я ещё сто очков вперёд дам», – приближалась к подоконнику, чтобы полить растения. На неё больно было смотреть, а она, поливая, могла, пискляво имитируя беспечную оперно-опереточную весёлость, запеть. «В вихре вальса мчатся вечном и не знать тоски сердечной...» Или, подражая серебристому журчанию голоса-ручейка Изабеллы Юрьевой: «В парке старинном распускаются розы...» Правда помимо бегонии и кактусов, стоявших на подоконнике, был ещё и карликовый китайский фикус в большом глиняном глазурированном горшке, поднятый на верхнюю полку стеллажа, куда Анюта не могла никак дотянуться; фикус поливал Липа.

Фикус, между прочим, стоял на полке рядышком с вроде бы чисто декоративным, старинным, с латунной ручкой-набалдашником пресс-папье, называемым Анютой «вещью в себе». Как ни странно, Липа изредка использовал пресс-папье по назначению. Но какой увлечённый бытописатель смог бы с должной полнотой перечесть и представить нам все обиходно-слу-

жебные, но по ролевой сути своей грандиозные предметы, с которыми так весело и ловко, пока могла, старалась управляться Анюта? Вот, например, деревянный, с красной лакированной шляпкой гриб для штопки носок-чулок; гриб давно по назначению не использовался, не могла уже она штопать, пальцы не гнулись... Маленькие, функциональные вполне орудия труда для Анюты, наверное, служили последними символами стойкости и сопротивления наступающей обездвиженности: ещё был у неё крохотный – словно состоятельная, но щедрая кукла поделилась с Анютой своими изысканными игрушками – электрический никелированный утюжок с чёрной эбонитовой скобкой-ручкой, гладкой-гладкой, и витым проводком со штепселем – редкая по топорным временам пятилеток, изящная, чудом сохранившаяся и вполне исправно проработавшая свой неправдоподобно долгий век вещица; Анюте хватало сил и упрямства лишь для того, чтобы выгладить тем кукольным утюжком наволочку или круглую, с кружевами по контуру и сиреневыми и розовыми цветами из мулине, вышитыми когда-то Соней, Анютиной сестрой, салфетку; дорогую для Анюты салфетку, подарок к свадьбе... Да, ещё и два бокала были к свадьбе её и Липы подарены.

А овальное зеркальце в чёрной рамочке, на длинной ручке? Липа по утрам подносил зеркальце к лицу Анюты, сморщенному, почти неподвижному, обрамлённому редкими пепельно-серебристыми кудельками.

– С лица, конечно, воду не пить. Но что случилось с моими локонами? – шептала Анюта. – Теперь я – форменный пудель, облезлый, смердящий пудель. Вот тебе, Юрочка, наглядный пример: так проходит земная слава.

Он тоже, наглядного примера ради сдвинувшись и чуть качнувшись, посмотрелся в то дрожавшее от дрожания Липиной руки зеркальце. Их лица, его и Анюты, такие разные, контрастно-разные лица, такое юное, пустое – и такое... довершённое, где каждый завиток тускло-неживых волос, каждая тонкая, будто в затверделом воске вырезанная острым-острым резцом морщинка были на своём, назначенном свыше месте, как единственно возможные слова на странице классической книги; там, в глубине зеркальца, редкие седые кудряшки, жёлтая щека в густой сеточке морщин сближались с гладкой румяной щекой, и он словно завидовал многозначительности её морщин.

Ждала ли его земная слава? И каким сам он будет, потом, после славы? Тоже умудрённо-сморщенным, болезненно-жёлтым? Об этом ещё не задумывался; и, само собой, тогда ему в голову не могло прийти, что он тоже смертен.

Внимательно, придирчиво изучив себя в зеркале, умывшись, Анюта с помощью Липы – последние годы он кормил её из ложки, как ребёнка, – съедала гречневую кашу с молоком или яйцо всмятку, а пока ела-глотала, в глубинах памяти оживала Эви, эстонка-молочница: нынешнюю подбеленную жидкость, которой торговали внизу, в одном из лучших в городе гастрономов, и сравнивать нельзя было с густым – неотличимым от сливок, правда? – молоком из Эвиного бидона... А какая чудная получалась из Эвиного молока домашняя простокваша...

И несколько раз в день, когда совсем уже не могла Анюта самостоятельно перемещаться, Липа подносил ей тазик, эмалированную кружку с водой... Она, умиравшая, не желала расставаться с привычкой, по несколько раз в день омывала руки с ромашковым мылом, только с ромашковым: такой был бзик.

Как долго и мучительно её покидала жизнь!

И как отважно и стоически терпеливо она ещё задолго до критического обострения болезни за свою жизнь и за своё место в жизни боролась.

– Времена выдались гнусные, какие-то сразу, едва власть после октябрьско-ноябрьской заварушки переменялась, протухшие, будто б падалью провонявшие, – вспоминала, посмеиваясь, мол, навозная куча благоухает, а жемчужного зерна нет-как-нет. – Осмелюсь напомнить: была страна рабов, страна господ, да? И вы, мундиры голубые... Помните? И вот, пожалуйста, протрезветь не успели, а получите сразу всенародное счастье – господ долой, на свалку

истории: рабоче-крестьянские рабы уже и правили, и другим рабам, из грязи в князи рванувшимся, всем этим дыбенкам-крыленкам с партбилетами, подчинялись, ибо ненавистные некогда мундиры голубые своевременно простонародными, хотя куда как более страшными, чёрными кожанками заменили. Недобитки из «бывших» и тихие лишенцы перетрусили, в щели забились, а победивший пролетариат в малопочтенных делах своих и заботах, простите за прямоту, быстро изгадил-испоганил всё-всё вокруг. Так бесперебойно и бесстыдно-нахраписто, так неправдоподобно быстро гадили, заплёвывали, заблёвывали, что сквозь землю провалиться хотелось; да ещё оглушающе глупые гласы труб, крикливые и нудные кумачовые праздники. Заплёвывали? Именно так – заплёвывали; я, как знаете, плевки за божью росу никогда не принимала. И никогда, нечего греха таить, на святость всенародную не молилась, униженных-осорблённых не идеализировала, тем более – не возвеличивала. Даже стон лишившегося шинели Акакия Акакиевича, стон, который немалый переполох вызвал на сострадательных Небесах, меня не очень-то волновал, но, – говорила, говорила, а Юра мотал на несуществующий ус, – я, как вы знаете, кроткая по натуре, а в семейном ли кругу, на гимназической скамье мне внушались добрые чувства, я на милость к падшим настраивалась. Но, случалось, и я вскипала яростью благородной, уживаться со скотством и противно, и трудно было, а падшие они же уроды-победители, которые и в подмётки самым глупым царским чиновникам не годились, – обосновывались, между тем не боясь оконфузиться, на века. Из всех возможных вариантов действий наихудший, воодушевившись новой порцией продиктованных сверху лозунгов, выбирали всегда... Занюханые шарашкины конторы свои перво-наперво обставили железными шкафами государственной важности – для казённо-косноязычных, но якобы секретных бумаг, а что было в писульках, в тупой их канцелярщине засекречивать, что? И от кого же было засекречивать, от кого? Ну, разве что от мелочных полуграмотных проходимцев всех мастей, которые откусить желали, за неимением чего-нибудь посьедобнее, от постного чёрствого пролетарского пирога, – непрестанно и мучительно, до конца дней своих, переживала она глубину катастрофы.

– Хватила через край? Режет слух моё злословие? Вспомните, что не святоша я, потерпите. И, прошу покорно, избавьте меня от заступнической бури эмоций, вспомните-ка лучше то, в чём задолго до нас с вами крепостник по рождению и умный поэт-гражданин признавался: люди холопского звания сущие псы иногда... Помните? Вы хорошо знаете меня? – риторически переспрашивала Аня и тяжело вздыхала. – Не в моих правилах облыжно обвинять добрых молодцев, нещадно поротых на конюшнях и с холопским званием, увы, не расставшихся, однако всё, за что бы они ни брались в новом пролетарском царстве свободы, из рук вон плохо делали, вкривь и вкось и тяп-ляп, поскольку сапожники пироги пекли, а пирожники сапоги тачали, хотя они, ущербно-злобные портачи-неумехи, свято верили в свою безнаказанность. Всех других насильно в свой кривобокий шаблон вгоняли, вгоняли и лямку заставляли под унижительным присмотром в поте лица тянуть, чуть что не так – наверх доносили и, желая быть святее римского папы, всё время что-то дурное подозревали, что-то вызнать у всех, кто ещё не похож был на них, хотели; жестокий ненавистный абсурд, понимаете? Как самый близкий мне математик говорит, абсурд в кубе. И – в зубах навязли их доблести, и примите, попрошу покорно, в расчёт! – дикость и разъярённость, гогот и брань, угодничество и подхалимаж, чёрная удушающая зависть ничтожеств, и злоба, злоба к очкам и шляпам. Однако стоило мне повнимательнее на них, распираемых тупою классовою гордостью, но из рук вон плохих актёров, глянуть, как уже того ли, этого и пожалеть мне при безграничном гуманизме моём хотелось, я уже им, тянувшим лямки за грошовые получки, желала всяческих благ, хотя понимала, что тем, по крайней мере тем, кто трупы деловито перешагивает и наверх, наверх карабкается с хищным оскалом, не сдобровать: звериные инстинкты, понимала я, вряд ли кто-то из них спасут, да и изначально сами они пришиблены. Удивлённо-испуганно челюсти у них отвисали, глазки бегали при объявлениях об уклонах и сопровождавших уклоны чистках, они –

люди как люди? – присмирив, уже растерянно моргали, затравленно озирались, напрочь забывая о том, за что ещё вчера ратовали. Но чуть страх отпускал – опять злоба, зависть лезли из всех щелей, а уж стоило запах большой крови почуять – «Шахтинское дело» круто заваривалось, судили Промпартию...

Липа, приоткрыв рот, слушал её с таким интересом, будто сам он жил в другую эпоху или – как раз в те мрачные годы, когда прекрасный новый мир рождался и гимны слагал себе и своим героям, – гостил на другой планете.

– Их, самодовольных и тупых, возомнивших себя вельможами, никак и деревенщиной-то не назовёшь – деревенские ведь учиться хотели, образовываться, а тут сразу из грязи в князи; повсюду идейно преданные, подловатые ничтожества брали верх, – усмехалась, припоминала, наверное, что-то конкретное, но предпочитала почему-то говорить обобщённо, а как-то сказала вдруг, что «Весёлые ребята» – великий фильм; нет, не чары Орловой и музыкальность Утёсова её сразили, великим этот комедийный фильм сделал, по её мнению, метафорический кадр, в котором свиньи, похрюкивая, принюхиваясь, пожёвывая, бродили по сервированному – с тарелками, блюдами, полными яств – столу.

Но Аня продолжала.

– Я, бывало, молча кипятилась с утра до вечера, а по ночам не смыкала глаз, тогда-то и затачивала своё злословие. Мало что наивные откровения и надежды моей молодости обращались в труху, так и откровенно поговорить было не с кем, все замыкались, скрытничали, ведь уже не только дверных, но и телефонных звонков боялись; лучшей новостью становилось отсутствие новостей. Вот и я тоже никому душу не изливала, рот на замке держала, ждала, стиснув зубы, праведного гнева Небес или, на худой конец, генерала-спасителя на белом коне. Потом ждала, каюсь, когда же партийные велеречивые вожди в старорежимных жилетках, с будто бы наклеенными плохим гримёром интеллигентными усиками-бородками, решатся превзойти кровожадных французских вождей-революционеров, украсивших площадь Согласия гильотиной, и, превзойдя в садизме жестоких учителей, чего доброго, между собою перессорятся, ещё лучше, передерутся, друг друга примутся в сырые казематы сажать, казнить, и вот дождалась... – всё Юра мотал на ус, всё. – Когда-то, когда французские революционеры опьянели от крови, умные люди, знавшие, что раньше ли, позже, но время своё возьмёт, советовали терпеть и ждать. Вот и я мудрому старому тому совету доверилась и – дождалась! Площадной образ чересчур уж театральной гильотины явно устарел. Столько людей исчезало, что, казалось, бесчётные мясорубки повсюду запустили на полный ход, никого уже, если и случайно озлоблённый взгляд на несчастных падал, мясорубки те не щадили. Но вообще-то всё попроще и ещё пострашнее было: всем, кого большевикам у власти взбрело счесть подозрительными, в виде умертвляющей отсидки без права переписки фунты лиха отвешивались, самым заслуженным, неосторожно-активным – скоропалительно, в ближайшем подвале, в затылки пули свинцовые. Помнишь, – повеселев, повернулась к Липе, – Чека цыкает, а Чека чикает? Да, чуть не забыла! Понравились ли вам, дорогие и совестливые мои, с нашего поля ягодки, – местечковые еврейские мальчишки, с верноподданным злым азартом рассеившиеся под сурдинку в кабинетах ЧК? Как быстро у них, выпущенных за черту оседлости, бараны глаза, не сморгнув, превращались в рысьи, как убеждённо они росчерками неправых перьев на казнь у грязных стен на пустырях отправляли... Хотя едва ли не всех их, новоиспечённых неподкупных карателей-меченосцев, самих вскоре вырежут, как баранов... так-то. Я за неимением собственной волшебной палочки лишь проборматывала сквозь зубы свои проклятия и всё ждала, ждала, когда же соизволит разгневаться пусть персонифицированная, с божьей бородой, пусть абстрактная Высшая справедливость, ждала, как последняя реакционерка, если угодно, как мракобеска, что на круги свои всё чудесно по безлично-божескому мановению вернётся. Но в терпеливых ожиданиях своих обмишурилась – тучи сгущались, сгущались, а небо от тяжести этой невероятной так и не обвалилось, генерал-спаситель так и не

прискакал. Да и можно ли было время повернуть вспять? Обратное чудо такое не то что мне, но, если помните, и самому Юлиану Отступнику не удалось свершить...

Липа, храня молчание, всё шире рот открывал, а Анюта, будто себе, себе одной, всё это, ныне общеизвестное, но тогда замалчиваемое, с упрямым бесстрашием повторяла и повторяла вслух:

– С волками жить – по-волчьи выть, но если я выть не выучилась...

Липин рот был уже открыт до предела, а кадык растерянно перекатывался.

– Локти, и так искусанные, больше себе кусать я не буду, хватит. Напротив, в своё оправдание скажу, ещё раз скажу: некому было довериться, некому, вот и самые смелые, самые изворотливые мыслишки мои прокисали, а вымученные, но так и не выговоренные слова... В конце концов слова из-за бесполезности своей вымирали, и безнадежность душила, душила. О, послушали бы вы, дорогие мои, с каким апломбом поучали нас важные олухи-главначпупсы в гимнастёрках и френчах, сменившие прежних пустоглазых столоничальников, когда председательствовали на диспутах о строительстве великого всемирного будущего, которое они быстрым грубым наскоком себе подчинить хотели... уши вяли. Вы, надеюсь, знаете, как опротивели мне с той поры лозунги и призывы. И нищало и разлагалось всё вокруг, включая некогда священные камни, нищало и разлагалось, понимаете? Но ярость благородная моя запоздала, да и стоило ли пытаться судьбу обманывать? Моим полем боя уже становились мои же тихие ночные соображения. И память мне служила подспорьем, и вновь тщила я вернуться туда, куда нет возврата. Ехала в забитом, злобно гомонящем трамвае, а прислушивалась к шуршанию нижних юбок, первым тактам бального танца, и давно прочитанные книги я вновь глотала, как эликсир, даже Чарская с Вербицкой меня возвращали в будто бы безоблачную когда-то жизнь. Так и тянула лямку, стиснув зубы, хотя мне, при ершистом нраве, нелегко было удерживать язык за зубами. Не стану лицемерить – своим, тише воды, ниже травы, поведением я не могла гордиться. Но – кто не без греха – что было ещё мне делать, если не размазывать давно просохшие слёзы, перемешивая слабеющие голубые мечты с бесполезными воспоминаниями? Мне нехорошо, если не сказать, тошно, было, а я и вспылить-то на людях не позволяла себе – чего добьёшься, от бессилья топоча каблуками, после драки кулачками размахивая? Чего? В лучшем случае – нервного срыва и грязной камеры, набитой лиговскими воровками, в кутузке на Шпалерной или в Крестах. Я съёживалась от отвращения, отчаянием исходила, однако, спасаясь от зловония, от трупного запаха, зажимала нос, хотя главного партийного мертвеца забальзамировали, как фараона, да ещё под стекло положили в ступенчатой пирамиде... Ежедневные гнусности и дурь с какого-то момента мне уже лишь прибавляли силы, ко всему понимала я, что при любом внутреннем напряжении своём всё равно останусь, если помягче выразиться, при пиковом интересе. Но старалась не унывать, в самые горькие минуты, когда чаша терпения переполнялась, твердила себе в утешение: не сахар, совсем не сахар, но бывает хуже, бывает хуже.

– Что хуже-то могло быть, что? – искренне удивлялся Липа.

– Хуже – все муки ада на земле, не в воображении, а на земле, когда потусторонний ад уже заколочен за ненадобностью своей, понимаешь?

И – признания-воспоминания прерывались – бом-бом-бом; Липа, глянув на настенные часы, машинально достав из жилетки карманные и установив точное время, уже осторожно наливал в чайную ложечку драгоценную настойку из женьшеневого корня, её доставал где-то в аптечных верхах Сиверский.

Анюта верила в женьшень, как в чудо, хотя и на исходе жизненных сил сама собой оставалась; тоже глянув на настенные часы, не могла Липе не указать: не пори горячку, есть ещё пять минут.

И виновато улыбнулась:

– Так, Юрочка, и живу я, в час по чайной ложке.

Липа, затыкая пробочкой пузырёк с женьшеневым зельем, посмеивался, а она спрашивала:

– Чему смеяться? Соль не в шутках уже, в суставах.

Тут же Липа торопливо подносил ей воду, чтобы запила горечь, а Аня для порядка ворчала: не гони в хвост и гриву.

За что ей, добрейшей и справедливейшей из всех добрых и справедливых, выпало столь жестокое наказание?

«Страданье есть способность тел...» – Германтов шевелил на губах поэтические слова и понимал, что слова эти буквально относились к Ане: невообразимой способностью страдать отличалось её маленькое, почти неподвижное тело.

Её страдания, её борьба с неутихавшей болью и нежелание смириться со своей участью наделили тогда Юру хотя бы зачатками сострадания? Пожалуй, нет, скорее вызвало детское удивление.

Солевое извояние с живой душой?

– Душа изголодалась, – пожаловалась как-то Аня.

Какой же пищи не хватало ей для того, чтобы живой в своём безысходном состоянии оставаться?

– Раньше я по радио заслушивалась Яхонтовым, давно это было, давно, когда он ещё порционно «Бедных людей» читал. А потом читал он всё хуже, хуже – когда за агитки Маяковского взялся, как ни старался ясно и громко каждое слово выговорить, будто кашу жевал, чудный голос вконец испортился.

– Яхонтов манией преследования потом заболел, – напомнил Липа.

– Не только он, все нормальные люди заболели.

– Но он не пожелал дрожать по ночам от страха, гостей с понятиями не стал дожидаться – в окно с седьмого этажа выбросился, разбился.

Кивнула.

– А Мару Барскую помнишь? Она тоже из окна выбросилась.

– Да, – обозначила кивок, – многие выбрасывались.

– Но для Мары при её жизнелюбии это было так странно, никогда бы не подумал, что она способна...

– De mortuis nil nisi bene, – как отрезала.

\* \* \*

Губы её не двигались, почти не двигались, хотя способны были выражать целую гамму чувств с помощью кислых, сладких или кисло-сладких улыбок. Если же к слабым, еле различимым её улыбкам добавить блеск и едва заметное скольжение зрачков по главному яблоку... Под конец своих дней она лишь обречённо моргала и медленно-медленно поднимала или опускала выцветшие выпуклые глаза. В них, казалось, застыло накопленное за долгие годы изумление, она словно не могла насмотреться на выпавшую ей жизнь, а отдельные слова произносила затруднённо, с невероятным усилием, жутко-скрипучим каким-то, будто бы замогильным, хотя и способным ещё слабо варьировать интонации голосом. И регулярно слушала «Музыкальную шкатулку» по радио. И просила, чтобы на патефоне проигрывали ей «Прощание Славянки» или старинные вальсы: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии» в исполнении духовых оркестров – когда-то давным-давно возвышенно-тревожные мелодии, звучавшие по воскресеньям в ботаническом саду на Бибиковском бульваре или в парках над днепровским обрывом, чаще всего в свежесмытой по весне, к каждому новому сезону, оркестровой раковине близ Аскольдовой могилы, там, где заросли махровой сирени, густые-густые, – тронули чувствительное сердце Ани. Теперь они облегчали её страдания, хотя изумлённые

глаза, сколько бы ни слушала любимые марши, вальсы, были на мокром месте; впрочем, удивительно сплавлялось в ней всё подлинное, всё лучшее, что было в старых и новых временах, и потому повторяла и повторяла она тихонько простенькие слова: «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». И она замолкала в память о своём деде-раввине, мудрость которого, столетнего тогда, не смогла спасти его от Бабьего Яра. И вот уже она обращалась в слух. Военные песни Великой Отечественной и волновали до слёз, щемили сердце – «а до смерти четыре шага», – и умиротворяли; едва заслышав «вьётся в тесной печурке огонь» или «ночь коротка, спят облака», или «слетает жёлтый лист», просила добавить громкости радио, замирала в беспокойном блаженстве, ни одна морщинка на лице не могла шевельнуться; и шептала потом, шептала, будто эхо песни в ней затихало: «Старинный вальс, осенний сон...»

И тут сентиментальность в ней, твёрдой, непреклонной, пробуждала уже Шульженко: «В запылённой связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно...»

И – растворявшая волнение тишина, и, казалось, безмятежный покой; если бы не раскачивания маятника, можно было б подумать, что время остановилось.

И тут же свежий воздух затекал в открытую форточку, трепетала голубая, в мелкий белый горошек, муслиновая занавеска... И опять с блаженной улыбкой слушала она чирикание воробьёв, гуление голубей.

Но трамвай трезвонил, раздражающе скрежетал на повороте колёсами.

Бом-бом-бом – напоминали о себе часы, замолкали, а Липа машинально доставал из кармашка жилетки свои, швейцарские... А Аня саркастически вопрошала:

– Ты куда-то спешишь?

И вдруг птица задевала крылом стекло, и стекло дрожало, дрожало, как струна контрабаса, и Аня радостно вздрагивала...

И хлопала, будто пушка выстреливала поблизости от неё, у самого её уха, дверь от сквозняка, и опять радостно вздрагивала Аня... Её страдания облегчались естественными головами природы, высвобождавшей вдруг внутреннюю свою энергию; небо вздыхает, как-то прошептала; когда случался порыв ветра и доносился шелест листвы, когда шумно и весело, с ускоряющейся барабанной дробью крупных первых капель по жести проливался дождь, она внимательно смотрела, как подпрыгивали, перед тем, как рассыпаться в серебряную пыль, капли, а омертвевшие губы её трогала едва заметная и какая-то отрешённая, словно отслоившаяся от её эмоций улыбка... А как мечтательно вслушивалась она в завывания выюги.

\* \* \*

Юра, однако, запомнил Аню и тогда, когда она ещё в состоянии была не только слушать грустные лирические песни войны и потерянно улыбаться звукам ушедшей жизни, но и отправиться погулять – если благосклонно сопутствовали ей, как говорила она, биоритмы. Аню с Юрой не могли испугать промозглые туманы, сырые липкие снегопады, морозы с обжигающим ветром; гуляли поблизости и – тьфу-тьфу, тьфу-тьфу – добирались на пределе сил её до вокзала и медленно-медленно брели обратно. Выходили, Аня здоровалась с Русланом, кадыкастым дворником-татаринком в демисезонном ватнике и просторных штанах, заправленных в высокие кирзовые сапоги; когда выходили, неутомимый Руслан мёл тротуар, или соскребал с тротуара фанерной лопатой снег, или сбивал ломом наледь. Иногда у дома, поближе к арке подворотни, чтобы невыгодно не контрастировать с большими зеркальными витринами гастронома, причаливала двухколёсная тачка инвалида-старьёвщика – этакий похожий на детскую песочницу ящик с высокими бортами из выкрашенных небрежно досок. В ящик сбрасывали всякую рухлядь: помятые, словно выстоявшие во многих боях доспехи рыцарей-креstonосцев, медные, с перфорациями, футляры большущих керосиновых ламп, заплывшие

копотью проклятого прошлого канделябры-подсвечники с чудесно сохранившимися желтоватыми огарками толстых свечей... «Сколько свидетельств затаилось в каждом предмете, сколько свидетельств, рухлядь, а свидетельства – на вес золота», – вздыхала Анюта. И старую одежду, какие-то сюртуки с галунами, протёртые зипуны и пиджаки с жалкой бахромой на рукавах, засаленные парчовые платья и сказочно шикарные дырявые шляпы тоже сбрасывали в тачку, за что-то даже старьёвщик расплачивался какой-то мелочью, а что-то тут же за такую же мелочь продавал, и, не умолкая, выкрикивал: «Шурум-бурум, шурум-бурум», а Юра с Анютой, называвшей эту уличную куплю-продажу «универмагом шурум-бурум», посмеивавшейся и головкой покачивавшей – универмаг к дому подвезли, не надо на толкучку за барахлом переться, – стояли и ждали, пока медлительный красный трамвай свершит свой эпический поворот со Звенигородской улицы на Загородный проспект или – с Загородного на Звенигородскую... Иногда дуга с сухим потрескиванием зеленовато искрила, бывало, что и из-под колёс, натужно, всем весом вагонов на повороте надавливавших на рельсы, вылетали искры, но вот, мотнув тяжёлым гранёным, с обрубком железной колбасы, задом, громоздкий трамвай-американка, казалось, с облегчением покотил...

Запомнилась Юре и вспышка Анютиной активности, разумеется, активности через силу, что называется, на излёте дыхания, которая пришлась на последний при её жизни Пурим. Упрямица Анюта, несгибаемая, увы, не только в переносном, но уже и в прямом смысле слова, назло болезни своей многое помнила, очень многое, в том числе исторические подоплёки мифов, сроки и ритуалы еврейских праздников.

– Отмечая Пурим, – тихонечко приговаривала Анюта, – даже трезвенники должны напиваться так, чтобы не узнавать себя в зеркале.

К сожалению, питейная удаль уже была не по ней, не по ней, она лишь, потешно вздыхая и облизывая губы, посматривала на застеклённую полку стеллажа; на ней сияли два венецианских, синих-синих, с острова Мурано, бокала на тонких высоких ножках, когда-то подаренные ко дню свадьбы Анюты и Липы Соней. Однако, доказывая и самой себе, и Липе с Юрой, что пока что не только жива, но и деятельна вполне, что Пурим будет встречен достойно, Анюта надевала беленький, чистенький и отутюженный фартучек с оборочками-фестончиками и, будто и не делала она что-то реальное, а подбирала в сомнениях нужные для выразительного доказательства своей живучести позу и самые технологические для этой позы движения, мучительно-медленно, но непреклонно крошила в эмалированную мисочку непослушными испачканными мукой пальцами подсушенные заранее дрожжи и ставила затем в тепло, накрыв льняным кухонным полотенцем, тесто, чтобы испечь через час-полтора, когда тесто взойдёт, вздуется, как пуховая подушка, треугольные, оранжево-золотистые, перед загрузкой в духовку смазанные топлёным маслом, словно отглянцованные – с духовкою, подчиняясь её командам, управлялся Липа, – пирожки со сладким-сладким маком и толчёными грецкими орехами; испечённые, ещё горячие пирожки с гимназической прилежностью присыпались ею из маленького кругленького сита сахарной пудрой.

– Что же, прикажете сдаваться и поднимать лапки кверху? – еле шевеля губами, шёпотом спрашивала она; и в самом вопросе содержался ответ непокорного её духа.

Нет, только не сдаваться.

И шептала, исключительно для себя, на сеансе самовнушения: тьфу-тьфу, не так-то легко меня скovyрнуть!

И во всём, что рядом с ней происходит, что мимо проносится ли, звучит, что заботит и донимает, желала принимать посильное участие... С каким напряжением следила за Липой, когда он, стоя на кровати и покачиваясь-подёргиваясь, ибо сетчатый матрас пружинил, заводил настенные часы, как сочувствовала Липе, помогая ему надеть защитную марлевую или слепленную из бинтов маску, когда тот принимался морить клопов и с маленькой оранжевой дет-

ской клизмой, кряхтя, ползал на коленях по полу, заливал в щель между стеной и плинтусом вонючий яд.

А как внимательно, затаив дыхание, следила Аня за священнодействиями старательного и сосредоточенного Липы, когда близилась зима и наставляла пора заклеивать окно, как шептала-подбадривала – всё получится, не боги обжигают горшки, как помогала ему советами!

Нарезалась на широкие полоски белая бумага, в миске разводился клейстер из тёмной, самой дешёвой муки, а меж оконными рамами засыпалась крупная зернистая соль – отдельные солевые кристаллики внезапно резко отблескивали, иногда даже в блеске их поймать удавалось радужное сияние. Соль засыпалась, чтобы стёкла потом сильно не запотевали. Соль накрывали газетами, на них зимой, за кружевами белёсо-серебристых папоротников, которые, проигнорировав воздействие соли на влагу, разрисовал мороз, обнаруживались тонувшие в пыли дохлые мухи. Германтов, кстати, выучившись грамоте, принимался, клоня голову, читать сквозь стекло заголовки на тех газетах. Для чтения требовалась известная сообразительность, даже изворотливость ума, ибо слова вполне могли быть перевёрнуты, вроде как вверх ногами, начало или окончание заголовков, случалось, не было видно, заголовки требовалось, добавляя недостающие буквы, разгадывать – получалась необычная игра в слова с самим собой, что-то вроде разгадывания произвольно разорванных на строчки фрагментарных кроссвордов. К тому же рваные кроссворды смешно дополнялись случайными фрагментами газетных, произвольно согнутых фото, например вырезанными из лица двойным сгибом газеты ноздрями и густой щёткой усов Молотова. Между тем, убрав под надзором Ани со всеми мыслимыми предосторожностями, чтобы не дай-то бог не разбить горшки и не уколоться кактусами, растения с подоконника, раздвинув – налево и направо – невесомую воздушно-голубую занавеску, проверив, вставил ли в гнёзда, повернул ли до упора все шпингалеты, Липа уже старательно окунал в клейстер щетинную кисть-флейц, старательно намазывал первую полоску... И вот он – в старом-престаром засаленном пиджачке и коричневых байковых домашних штанах – уже взгромоздился на стул, балансируя, потянулся с бумажной, намазанной клейстером полоской в широко разведённых руках к верхней горизонтальной щели между рамой и створкой...

До сих пор балансирует тот неловкий тощий силуэт на фоне окна.

– Только не упади, только не упади, – шепчет молитву свою Аня. И в ужасе замечает, что акробатничает Липа на поломанном стуле. – Час от часу не легче! – У одного из стульев с незапамятных времён выпадала из гнезда-паза ножка, но никак стул было не починить, никак, Аня не выносила запаха столярного клея, а Липа, хорош, залез как раз на тот поломанный стул, думал наверняка о своих расчётах и формулах.

Намокшие потемневшие полоски бумаги по контуру окна, прежде чем высохнуть, кое-где вздуваются волдырями.

И вдруг Аня спрашивает с робкой улыбкой:

– Юрочка, можно я тебя поглажу по голове?

Вспомнила, наверное, Изю и – погладила.

Германтов сейчас, как и тогда, давным-давно, втянул ноздрями слабый аромат ромашкового мыла.

Что это, тоже самовнушение?

Брезгливая Аня явно побаивалась старческого предсмертного запаха, верного признака внутреннего распада... Да, да, на излёте жизненных сил гнетуще-отвратительно пахнет старость, ещё не умершее, но сдавшееся болезни тело от обречённости своей заранее начинает смердеть... Германтов втянул ноздрями воздух. К флюидам тревоги, стущавшейся в атмосфере спальни, действительно, подмешивался аромат ромашкового мыла, того, давнего... лежал, вдыхал. И заодно с запахом мыла вдыхал натуральный запах полевых ромашек –

скромный букетик Липа непременно покупал у какой-нибудь бабульки, когда покидал Кузнечный рынок.

К запаху ромашек подмешивался ещё и запах лесной земляники...

Ну да, выложив на газету из большой авоськи овощи, как правило, молодую картошку, морковку, стебли ревеня, огурцы и ещё не созревшие, розовато-зелёные помидоры, которые будут дозревать два-три дня на солнечном подоконнике, показывал в торжественно поднятой руке избранную морковку с раскудрявым хвостом, особенно красивый, в пупырышках, огурец и самый большой фигуристый помидор – показывал Анюте для одобрителного кивка, после которого, впрочем, Анята, расчехлостив нынешние рынки за скудный ассортимент и дороговизну, обязательно вспоминала с красочными подробностями фруктово-овощное изобилие на киевском Бессарабском рынке: горки отборного, без пятнышка червоточинки, белого налива, помидоры «с морозом»; а однажды её совсем уж недавние времена накрыли, озорно повернулась к Липе: «Помнишь? Огурчики, помидорчики, Сталин Кирова пришил в коридорчике...» Возвращение с Кузнечного рынка выливалось в немой спектакль двух сыгравшихся актёров – достав затем, после демонстрации овощей, из второй, маленькой авоськи, свёрнутый из листка разлинованной школьной тетрадки конус-кулёк с земляникой, высыпав землянику в глубокую тарелку, Липа наливал в литровую банку воду, подравнивая, укорачивал кухонным ножом стебли ромашек и – в завершение спектакля, – подвинув пузырьки с микстурами, ставил банку с букетиком на тумбочку, рядом с изголовьем кровати.

\* \* \*

Очевидно, Анята, командуя выпечкой пирожков с маком, заклежкой окон или, к примеру, мысленно воспроизводя все упражнения утренней радиогимнастики, восстанавливала также в мечтах о выздоровлении или хотя бы притуплении боли свою прошлую двигательную активность, для того восстанавливала, чтобы унизить болезнь – вот какой я была, я, неугомная озорница, всё могла, всё-всё умела.

– Я всё время оглядываюсь, – вздохнула как-то Анята, – всё время; не за эти ли оглядки я превратилась в соляной столб?

А как быстро бегала она, играя в лапту, как ловко каталась на коньках – и на снегурочках с округло, на манер кренделя, загнутыми носками, и на коньках-роликах, а как прыгала, как ныряла и плавала в Днепре и Десне...

Но, вспоминая, не закикливалась на спортивных подвигах.

Как-то с тоской сказала:

– Есть древнеримская мудрость: если ты не хочешь чего-то бояться, знай, что бояться можно всего. Но теперь-то римские высокие объяснения мне как мёртвому припарка: для меня все смыслы перевернулись, я уже на самом деле всего боюсь, всего – боюсь поскользнуться, оступиться, споткнуться... Знаю, Юрочка, если не дни, то месяцы мои сочтены, а всё равно боюсь упасть в грязь лицом в прямом и переносном смысле, боюсь, понимаешь?

Остановились, ей захотелось прислушаться к биоритмам. И – обрести с их помощью второе дыхание.

Под непослушными ногами – снежная каша, а она любовалась колыханием на ветру цветущих акаций, её накрывали тёплые волны сладковатого духа... О, она частенько переносилась в Киев своего детства, омрачённого, конечно, не будем забывать истории, годами реакции, средневековыми ужасами кишинёвского погрома, подлыми преследованиями Бейлиса, но всё равно беззаботно-светлого, такого светлого и прозрачного детства, обещавшего светлую и прозрачную, как голубые дали за Днепром, если смотреть туда, за Днепр, с Владимирской горки, юность, вспоминала увлечение стихами Надсона и строчки любимого ею поэта тут же зачитывала наизусть вслух, чаще всего выпрение и абстрактно-смутные строчки, сим-

волизировавшие теперь, по мнению Анюты, роковую невозвратную потерю всего, что выпало ей в прошлой, дореволюционной жизни, потерю надежд на счастье. «Есть страдания ужасней, чем пытка сама, – читала с нажимом-пережимом, как школьница, – это муки бессонных ночей, муки сильных, но тщетных порывов... на свободу из тяжких цепей...»

Продекламировав и, похоже, испытав облегчение – говорила, что оглядки-воспоминания для неё как обезболивающие уколы, – вспоминала дачу в Боярке, белые грибы в сосновом бору... Или вспоминала учителей и подруг по знаменитой женской гимназии на Фундукле-евской улице, где даже зубрёжка латыни ей была в радость, где она, первая ученица, была на выпускном акте награждена медалью. Вспоминала кондитерскую с пышными на вид, сладко-рассыпчатыми и слегка вязнувшими в зубах безе, вспоминались ей и бутылочки с соком, зель-терской и даже вкус ванильного мороженого в вафельном стаканчике, прибаутки морожен-щика, торговавшего под большущим каштаном... И уже пила она впервые в жизни «Токай», сладкий, нежный «Токай», танцевала на последнем своём гимназическом балу до упада, и уже высоко-высоко, до неба, взлетали качели, и увидеть сверху можно было гладь Днепра, Тру-ханов остров, чуть правее – Лавру, зелень садов: золотые денёчки! И сразу же она возвра-щалась в Петербург, встречалась с Липой, но не спешила отвечать на вспыхнувшее у него чувство, не спешила расставаться с текущими увлечениями. Я, – неизменно предупреждала слушателей Анюта, – была разборчивая невеста, очень разборчивая, хотя и не так уж долго Липу за нос водила, он того не заслуживал, нет, уж точно не был он вертопрахом, напротив, смущал какое-то время чрезмерной своей серьёзностью и даже в статусе жениха ни разу не рас-петушился. Сердце не камень, сердце не камень, – выразительно вздыхала и шептала с улы-бочкой: – Как хороши, как свежи были розы, и, – сыграв счастливое смущение, признава-лась: – Поехали в Павловск на концерт, потом в белой ночи, одурманенные черёмухой, гуляли по парку, на каменном мостике у Пиль-башни я приняла Липино предложение, – и уже рубила воздух указующе-направляющим ребром ладошки, и уезжали молодожёны с Варшавского вок-зала в свадебное путешествие в Вену, Прагу, Берлин. – Все меблированные комнаты и номера в гостиницах, где останавливались, были пышными напоказ, но, по правде сказать, убого оди-наковыми, будто б обставляли их под копирку, хотя цены за постой в этой сомнительной рос-коши заламывались немилосердные, – не мог без улыбки вспоминать нахмуренную Анюту. – Я грезила раем в шалаше, и на тебе: засиженные мухами зеркала, бархатные драпировки аль-ковов, из которых позабыли выбить столетнюю пыль, слежавшиеся перины, под ними вовсе не горошины заждались проверки на благородство крови сказочных заезжих принцесс, нет, Юрочка, под ними, псевдоперинами теми, поверь, пролетарские лежали булыжники.

А затем – в Париж, в Париж, куда же ещё?

Разумеется, в Париж, где проживала в те годы её сестра Соня, вышедшая замуж за какого-то богача, но при этом – никак не угадать заранее, с кем найдёшь, с кем потеряешь, пожимала плечиками Анюта – видного французского, хотя и с русскими корнями, бородатого социалиста, сподвижника и друга Жореса, друга ещё каких-то социалистических шишек, видных неумных борцов за свободу масс.

– Как вам это понравится? – спрашивала Анюта, показывая фото внушительного боро-дача на фоне тяжёлого письменного стола с антикварным чернильным прибором и... бюсти-ком Наполеона. – Как вам понравится? Ни в какие ворота – борец за свободу как почитатель императора. Высокообразованный, окружённый шкафами со старинными книгами в тиснёной коже Леон, сидя на куче золота, обедая исключительно на лиможском фарфоре, потягивая fine-shampagne из пузатой рюмки тончайшего богемского стекла, и, – заметьте – поклоняясь гению Наполеона, призывал бедных и угнетённых силой отнять у него самого богатства и поровну поделить всё между собой, хотя сам наш передовой и состоятельный monsieur социалист ску-пым был, как Гарпагон, сам он ни сантимата бы не пустил на ветер, ничто, ничто, кроме проле-тарской костляво-загребущей руки, не понудило бы его порастрасти мощну. У него, свобод-

ного и просвещённого, всё только силой голодных и угнетённых рабов можно было бы отнять, понимаете?

Впрочем, зла на него она не держала – Сониного мужа-социалиста Анюта всего лишь не жаловала за фанатизм, в своих устных мемуарах уделяла мало внимания ему и его революционной борьбе, ибо слишком давно на него махнула рукой, давно поняла, что ему аукнется свободолюбивое словоблудие, когда решится он воплотить чудесные красивые мечты в пустопорожнее народническое дело. – Её прогнозы сбудутся: за фанатичную идейную борьбу с ним заслуженно и сполна расплатятся жестокие советские единоверцы. Зато без усталости Анюта пересказывала популярные парижские истории и легенды давно минувшего блестящего века, пересказывала, разумеется, с чужих слов, ибо приехала в Париж спустя несколько десятилетий и ухватила лишь завистливо расцветивший хвост тех историй и тех легенд, но пересказывала так выразительно и страстно, будто сама она режиссировала апокалипсическую картину падения огромной, переливавшейся хрустальным сиянием люстры в новой, только-только отстроенной и торжественно открытой для публики опере – падения в премьерной кульминации «Фауста», как раз под громовой хохот Мефистофеля; чудо из чудес, огромно-пышнейшая, изукрашенная, как подарочный торт с избыточным кремом, – не находила слов поточнее Анюта, не знала с чем ещё можно сравнить то, что увидела внутри декоративно-лепного и щедро раззолоченного шедевра. Ну а падение люстры взбудоражило всегда алчущий новизны Париж посильнее, чем наркотические стихи Бодлера, все, вместе взятые, романы Бальзака, Золя и Мопассана, возведение Эйфелевой башни, дело Дрейфуса, изгнание конных пруссаков в остроконечных касках, победа и поражение Парижской коммуны или так потешившие оравы газетчиков и зевак громкие скандалы с обязательным битъём витрин на выставках импрессионистов; падение люстры на долгие годы врезалось в коллективную парижскую память.

– Я, – самокритично сообщала Анюта, – когда люстра грохнулась и хрустальные осколки во все стороны разлетелись, там со свечкою не стояла, я ещё – вообразите такое! – даже не родилась и никак не смогла бы поспеть к трам-тарараму тому, но с открытым ртом, как набитая дура, на ту исправно-великолепную и заново подвешенную, заново переливчато засверкавшую люстру потом пялилась всё представление, придя на «Аиду», вместо того чтобы на сцену поглядывать, следить за постановкой и действием, наслаждаться музыкой Верди...

И тогда, спустя столько лет, спустя столько кровавых революций и войн, давали «Аиду». Чудеса, но и тогда, когда впервые я прилетел в Париж, давали «Аиду», удивлялся совпадению Германтов.

Рухнет, проржавев, железный занавес, неожиданно жизнь выйдет из заморозки, и Германтов, без промедлений примчавшись на крыльях Аэрофлота в Париж... Все-все тогда, все, кто натерпелись разбойного, а потом и скучного до зевоты однопартийного гнёта, все, кто всласть – кто до горечи, кто до оскомины – намечтались-наговорились в кухонном своём вольнодумстве, так и эдак прикладывая на пробу к морде зверя-социализма маску человеческого лица, короче, все, кто наивно жаждали перемен, пока нудно длилось относительно безбедное брежневское правление, но не решались поверить, что российский лёд когда-нибудь тронется, едва реально замаячили перемены, возжелали поскорее глотнуть заграничного кислорода, в качестве опорного пункта в жадных и пока лишь воображаемых путешествиях своих по всему свободному миру, конечно, избирали Париж! И Германтов, пусть укоряя себя за стадное чувство – рабы, толкаясь, ринулись на волю, в досель железом отгороженную Европу, а он, будто бы несвободой вообще не задетый, он, франкофил-франкофон, у которого французский язык едва ль не в крови, отстанет? – он тоже, как все, при первой же послабляющей оказии в Париж полетит, а уж там отправится в оперу. Собственно, оперу, этот апофеоз музыкально-вокального жанра, он, сын оперной звезды, терпеть не мог, он тогда и билет-то в оперу вовсе не ради «Аиды» покупал и не ради созерцания скульптур, балюстрад, лестниц, нагромождённых мсье Гарнье, дабы на века, на зависть потомкам, возвести памятник буржуазному

самодовольству в непревзойдённо-многопудовом стиле Наполеона III. Он отправится в оперу, чтобы увидеть вмонтированный в грузное рыхлое чудо эклектики тонко выписанный плафон Марка Шагала, и – под плафоном – увидит люстру, ту самую легендарную люстру, тот застывший над головами зрителей переливчатый поток хрусталя, вспомнит Анюту, её возбуждение, её восторги и горести, её бесстрашие, стойкость и твёрдость, её простой, но особенный, приперченный юмор, вспомнит и не поймёт никак, сам ли Шагал, расчувствовавшись, размыл кистью свои зеленовато-малиновые аллегии на плафоне или так преобразила воздушную плафонную роспись наворачнувшаяся на глазах Германтова слеза.

\* \* \*

Нет, живопись, тем паче – скандально-загадочная, нежданная живопись, которая на рубеже веков предьявила растерянному хлопавшему глазами зрителю какую-то заумно-издевательскую мазню, а вовсе не то, что реально видели вокруг себя нормальные люди, Анюту поначалу лишь раздражала, хотя – по её же признанию – разбиралась она в такой – халтурной, по её задиристо-смиренной оценке, – живописи, как свинья в апельсинах: «Я видела, Юрочка, Руанский собор, настоящий великий собор видела, понимаешь? А потом, внутренне содрогнувшись, увидела на музейной стенке какую-то жалкую квашню-размазню в солидной раме и подпись под ней на золочёной табличке – „Руанский собор“; и в какой же из двух соборов, настоящий или ненастоящий, прикажете мне поверить? К чему напрасно спорить с веком? – усмехаясь, смотрела ему в глаза. – Да хотя бы из самоуважения спорю я, поскольку не верю в сказки о мазне как о внезапном раскрепощении духа. Не желаю терпеть злонамеренного обмана, этой шарлатанской имитации высоких порывов, не желаю – понимаешь?» Неугомонная Соня таскала её по парижским выставкам, приобщала, но старания Сони пропали зря, глаза б Анюты не видели этих халтурщиков-импрессионистов или – ещё не легче – постимпрессионистов, не говоря уже о безобразных кубистах!

– И зачем воду они мутили? Зачем? Картина называется «Завтрак на траве»: лежит голая девица, и впрямь на зелёной травке лежит, а рядышком с ней, лежащей в чём мать родила, господу хлыщи в чёрных цилиндрах, фраках, ну и что? Впрочем, pardon, запомывала, были ли на хлыщах цилиндры.

О, как увлечённо она играла вопрошающее негодование!

Исключительно для маленького Германтова играла... И раздражила-таки его любопытство, его воображение, раздражила.

– Они как бы ею, созерцаемой ими девицей, завтракают? А на других картинах и вовсе тела, дома, деревья какие-то размазанные, затуманенные, расплывчатые. Я носом в одну картину утыкалась, в другую, а ничего чёткого и близкого мне никак не могла увидеть, хотела, но не могла: не картина, а лишь многокрасочное, но при этом какое-то закамуфлированное выпячивание своего «я» и какое-то уже не только модное, но и возведённое во всемирное правило надувательство! Стоило в Париж, за тридевять земель, на перекладных ехать, чтобы похлебать киселя? Ну так вот, съездила, нахлебалась, теперь меня на те выставки и на аркане было б не загашить. Хотя такого беспардонного, но якобы добропорядочного, якобы обогородить нас готового надувательства, – ворчала, – с недавних пор уже и дома вполне хватало. Анюта ведь и в Русском музее передёргивалась от «бубновых валетов» и «ослиных хвостов», и от картин художника Махова, соседа по квартире, неумоимо творившего за стеной её комнаты, воротила нос и тихонько, чтобы Махов, не приведи Господи, не услышал её едких суждений и не обиделся, спрашивала: «Если вы все такие умные, скажите мне чистосердечно, на что это похоже, на что? Я, конечно, не семи пядей во лбу, но и не так глупа, чтобы...» И говорила, что никто не убедит её, будто красная и мохнатая – так и говорила, приподняв, будто изображала клятву в суде, ладошку, – мохнатая маховская мазня утаивает от профанов,

но зато адресует просвещённым и утончённым натурам хоть какой-то смысл. Анята смешно морщила носик, её раздражали запахи олифы и скипидара, просачивавшиеся в коридор из комнаты Махова.

Соня, кстати, не только к новой непонятной живописи безуспешно приобщала сестру – брала с собой Аняту в Баварию, на музыкальный фестиваль в Байреит, но и в музыке она не принимала громких новаций, пусть и связанных с общепризнанными уже именами авторитетов.

– Какая я всё-таки ослица! – весело казнилась Анята. – Баварский король-утопленник обезумел от этой тяжёлой, оглушительной, неудобоваримой музыки, казну разорил, возводя в честь самовлюблённого напыщенного композитора сказочные замки-дворцы, теперь же все горячечные почитатели новообретённого музыкального божества в баварскую дыру понаехали, все, как по заказу, в экстазе, все, как один, обезумев, воспылав, аплодируют стоя, а я не понимаю, ну никак, хоть убейте, не понимаю, чему надо хлопать, чему? И во имя чего такой гром литавр? Мне, как ты догадываешься, чужда патетика, вдвойне чужда претензия на ложное национальное воодушевление. И что же – заискивать наперекор себе перед тенью велеречиво мрачного германского гения? Присоединяться к беснованиям клаки? Я, как ты, Юрочка, знаешь, при кротости своей даже вежливо поддакивать не приучена, я куда охотнее негодую, открытый бой принимаю, и потому не пожелала я делать при плохой игре хорошую мину: ничего сногшибательного, поверь! Мало что оркестр сам по себе гроыхает и гремит, поглощая мелодию, так ведь ещё оркестр и голоса певцов заглушает, до подвываний низводит. Уши заложены, в глазах, как кажется, непроглядный мрак, да ещё, признаюсь, мочевой пузырь переполнился, боялась – лопнет. И всё вокруг дрожит, всё колеблется. И хлопать до сожжения ладоней надо ураганно-безудержному, подавляющему и сотрясающему напору звуков? – та музыка была для неё чересчур густой и тяжеловесной. И не только для неё. Ей вспоминалась английская книжка и извлечённое из той умной и глубокой при артистичности своей книжки наблюдение некой викторианской аристократки, заметившей за пятичасовым чаем, что музыка Вагнера такая шумная, что под неё, как она, аристократка та, уже проверила на «Лоэнгрине», можно – сухой смешок сорвался с Анятиных губ – громко проболтать в опере целый вечер, и никто из посторонних ничего из болтовни твоей даже при желании не услышит, никто не делает тебе замечания. Нет-нет, это – не её. К тому же нечеловеческая музыка эта внушала ей страх, из духа этой громоподобной музыки действительно рождалась трагедия... Как бы то ни было, душераздирающему новомодному симфонизму – как, впрочем, и воспевающей тёмные мифы опере – Анята предпочитала оперу итальянскую. Она могла долго сравнивать достоинства голосов Карузо и Тито Скипа. И Анята любила театр, классическую драматургию; Сару Бернар она, увы, не застала, однако исправно посещала Французскую комедию, хвалила игру актёров... С той поры сохранился у неё миниатюрный театральный бинокль с отслаивавшейся, если поддевать ногтем, перламутровой облицовкой. Юра частенько силился представить себе молодую нарядную Аняту в пузатой ложе с этим поднесённым к глазам биноклем.

Но вообще-то искусства никогда не заслоняли Аняте жизнь, а вот жизнь, сама по себе французская жизнь, сытная и удобная, с пахучими сырами и утиными паштетами, её высокие духовные запросы никак не могла удовлетворить, такая жизнь вызывала у неё и уважение, и отвращение. Аняте, противнице всех социалистических, тем паче, коммунистических теорий, претил буржуазный дух Парижа. Как понять? Ей, противнице любой уравниловки, претили также скупость, фальшь, пошлость и лицемерие буржуа, их коллективная послеобеденная отрыжка; она спешила вернуться, чуяла, что именно в стране «вечной мерзлоты» – так, слегка перефразировав Победоносцева, говорившего о «ледяной пустыне», окрестила тысячелетнюю Россию Соня, – да, в стране «вечной мерзлоты», где, всяких ужасов натерпевшись, всё равно в рай на печи въезжают, а счастье своё у разбитого корыта находят, и должен был вскоре случиться желанный для Аняты, какой-то особенный, справедливо-праведный пово-

рот в мировой истории. И вот оно! Особенный поворот приближался... А пока не полетело всё вверх тормашками и не плюхнулось в грязь кровавую – её слова, – училась на каких-то престижнейших женских курсах, то ли на Потёмкинской, то ли на Кирочной – Германтов сразу позабыл, где они, курсы те, размещались, – поступала на медицинский факультет, а затем... Сейчас-то она неодобрительно рассказывала, как разграбили германское посольство, как Вагнера с Бетховеном верноподданно выкинули из репертуара, но тогда и сама она в патриотическом опьянении отправлялась вместе с воодушевлёнными добровольцами на войну с Германией, на Первую, империалистическую, главные поля сражений которой отважно исколесила в вагоне-госпитале санитарного поезда как сестра милосердия. На одной из фотографий, висевших на стене, она, серьёзная и строгая, с твёрдым взглядом исподлобья, в белой косынке с крестом на лбу, была запечатлена – в испарениях гноя, крови и пота, как вспоминала, – в отчаянной тесноте, меж перебинтованных, с костылями, раненых-покалеченных; она, между прочим, и в Совете по справедливому распределению пожертвований для раненых заседала. Была у неё в альбоме ещё одна военная фотография, и вовсе страшная, удушающе страшная, подаренная ей фронтовым фотографом: вдаль, чуть ли не в бесконечность, за линию горизонта, туда, где, как смерчи, вставали разрывы снарядов, уходила кривая чёрная щель окопа, в щели, уменьшаясь в перспективе, словно нанизанные на извилистую нить бусины, – остриженные «под ноль» головы солдат вровень с верхом окопа, с землёй: головы солдат, юных совсем, не понюхавших ещё пороху, будто бы покорно ждущих погребения заживо, стоящих в узкой змеевидно-длинной братской могиле, но ещё не засыпанных. А вот она на побывку в конце шестнадцатого года с фронта приехала: фото у афиши, сделанное перед концертом московской балерины Каралли.

– Через день, возможно, через два или три дня, точно уже не вспомню, – говорила Анята, – убили Распутина; нет, чего плохого, господ хорошие, в меру прогрессивные, не подумайте, – говорила.

Распутин не был и никак, ну никак не мог быть героем её романа, она его, заскоружлого крестьянского мистика, на дух не выносила, но... легко ли сердцу стерпеть такое? Сама видела, великий князь Дмитрий Павлович с романтической поволокой в глазах вчера-позавчера ещё в ложе своей вычурным танцам Каралли хлопал, но... ларчик просто открывался: Каралли эта, выяснилось, писала от лица некой таинственной красавицы письма Распутину с просьбой о встрече, заговорщикам надо было в условленный вечер выманить Распутина из его дома на Гороховой, понимаете? Высокообразованный и утончённый великий князь и другие, близкие к царскому двору и дворянской верхушке негодяи-недоумки с леденящей кровью жестокостью убили Распутина! Мало что сделали из развратного старца святого мученика, так ещё и так получилось, что всем-всем-всем, кто думать-страдать умел, просигналили тем убийством: пришла беда – открывай ворота! И всё-то шло поначалу так, как порешили всевластные недоумки – а у них и совести было с гулькиным нос, – всё во благо отечества; долго ждать блага ведь и впрямь не пришлось: пьяное ликование, красные банты, радостно заброшенные в небо треухи, но... Злобная мстительная орда вскоре запрудит улицы, обитатели дна с гиканьем погонятся за городскими – их камнями добивали, затаптывали в кашу из грязного снега, навоза, крови. Относительно мирная революция? Не верьте! Толпа бросилась штурмовать «Асторию», где укрывались ещё верные царю офицеры, так толпу поливали свинцом из пулемётов, а потом тех же офицеров из тех же пулемётов и постреляли. И повсюду посвистывали шальные пули... Как точно совпадут рассказы Аняты, которые запомнит Германтов, с картинами революции, которые выпишет в «Красном колесе» Солженицын! А у родовитых и высоко вознесённых душегубцев, «благородных господ», изволивших незадолго до того в Юсуповском дворце старца, не подозревая, что нажимают при этом на курок революции, навсегда рыльца в пуху остались. Сколько раз Анятой всё это повторялось?

– Старец-то недурным был пророком: если меня убьют – скромно предупредил, – погибнет Россия. А они, – без устали повторяла-уверяла Анюта, – и рады стараться, погибнет, так погибнет, туда и дорога ей, такой паскудной и ненавистной под продажным самодержавием, – в бездну.

Что это – следствие долгого исторического невезения или закономерная расплата за скудоумие политиков? Своими ядовитыми пирожными, которыми травили ненавистного, но крепкого, как дуб, старца-сибиряка, сумели и разуверившуюся, ослабленную войной страну отравить. Политиканы привычно грызлись между собой, у них в каждой партийной избушке свои погрешности были, а тут вдруг объединились в революционной одури, трон обрушили, империю согласно, под восторженные пьяные вопли, в разнос пустили; при попустительстве скудоумных временных министров и склочной Думы вскоре и армия, вся армия, которую Анюта чтит, ибо и сама на своём медицинском посту всю войну под бомбами-снарядами отстояла в тесном вагоне, провонявшем карболкой, оружие побросала, побежала... Трёхсотлетнее романовское царство агонизировало, потом и сразу дух испустило, когда в Могилёве генерала Духонина, порядочного и честного, по её оценке, самого порядочного и честного из когорты царских генералов, пьяная матросня схватила и растерзала. Помолчав, посмотрела Германтову в глаза; так-то, ненавязчиво, не по «Краткому курсу...» и по-взрослому, с малых лет преподавалась ему История.

Между прочим, «Краткий курс истории ВКП(б)» однажды был обнаружен Германтовым среди книг Сиверского. Да, среди внушительных томов по искусству: Шуази, Виоле ле Дюк в толстых кожаных, с золотом, переплётках и на тебе, – книжка в картонной, серой, как сталинская шинель, обложке... а уж как долго Германтова интриговало маленькое прописное «б» в скобочке...

– Что означает это «б»? – не удержался, спросил.

– Большевиков, – отозвался Липа, не поднимая головы от расчётов. – Партия большевиков.

– А почему «б» – маленькое?

– С большой буквы писать «Большевик»? Масло маслить...

– И слишком много чести... – скривила губы Анюта.

Липа, не поднимая головы, улыбнулся.

– Та тёмная зимняя ночь на Мойке, когда садистически-долго убивали и, наконец, убили Распутина, если мозгами пораскинуть, для всех нас сделалась роковой, исходно-роковой, была допущена вопиющая, хуже, чем преступление, историческая ошибка; Анюта всю свою долгую жизнь мучительно расставалась с мечтами о просвещённом абсолютизме, хотя... не раз, ссылаясь на мудрость какого-то великого правителя, говорила, что царская корона – всего лишь дырявая, не спасающая даже от дождя, шапка. Вернувшись с войны, прослужив до самого октябрьского переворота в госпитале, который размещён был в Зимнем дворце, – красногвардейцы, ворвавшись, на её глазах искали среди раненых и, – улыбалась, – под кроватями, – членов Временного правительства, – а помыкавшись по разным непотребным, по её оценкам, конторам, служила потом, после НЭПа, когда безраздельно и навсегда уже утвердилась советская власть, хранительницей заплесневелых старинных рукописей в Публичной библиотеке – крыша по закону всемирной подлости протекала как раз там, где тесно стояли шкафы с самыми древними рукописями, – перебивалась частными уроками, дрессировала малограмотных аспирантов, рвавшихся в ряды красной профессуры, о, она прекрасно знала три языка... В юности она выучилась также играть на фортепиано, разучила все двадцать четыре этюда Шопена, уверяла, что давала благотворительные, в помощь беспризорным детям и голодающим Поволжья, концерты, исполняла, обычно в финале концерта, самый знаменитый из шопеновских этюдов, номер 12, или «Фантазию-экспромт» – указывая еле заметным поворотом головы на пианино и из последних силёнок пытаясь взмахнуть ладошкой, чтобы затем хотя бы в вообра-

жении неподвижными пальцами ударить по клавишам, назидательно повторяла: не грохотать надо, не грохотать, а мягко, нежно... Она обожала Шопена, к слову сказать, жалела его, болезненного, хрупко-беззащитного гения, сведённого в могилу бездарной – при всей революционной экзальтированности её: выряджалась в мужские костюмы, в своё удовольствие дымила сигарами, а туберкулёзник Шопен задыхался, – да! – настаивала, – бездарной и разнузданной, безжалостно-похотливой сочинительницей, да, бездарной, всё, чем осчастливила человечество эта Жорж Занд, – безвкусица и дешёвка, понимаете а priori безвкусица и дешёвка. И разумеется, едва затихали аккорды воображаемого идеального фортепиано, едва изобличённая Жорж Занд укрывалась от вечного позора в пышных пыльных кулисах своего великого века, Анюте вспоминались чаще всего стихи; не упускала случая, дабы поточнее проиллюстрировать в зарифмованных строках сценку ли из жизни, бытовую ситуацию, призвать на помощь любимого ею Надсона; символист Блок с эгофутуристом Северяниным блистали потом, после Надсона, и Иннокентий Анненский, поэт поэтов, вышел благодаря внезапной смерти своей из тени, и акмеисты чуткие сердца покорили, умы – Мандельштам, Ахматова. Позже нарождались поэты, хорошие, разные, а Анюта, зная и ценя многих из них, хранила тем не менее с гимназических лет верность Надсону.

Какими многословными бывали её рассказы! Но вдруг она выговаривала короткие фразы, простые и чёткие, без завитков, вроде такой: «Не надейтесь, что глупость сейчас сморожу, у меня мозги ещё не отсохли...» Или: «Я сейчас вам скажу такое, что всё, прежде сказанное, померкнет...» Хотя куда больше нравились Германтову и – пусть это и странно, пожалуй, необъяснимо – лучше ему запомнились как раз фразы сложные и витиеватые; а отдельные слова, знакомые ли, загадочные, она произносила весомо, отдельно одно от другого.

И – будто механическим, с нарастающим скрипом, голосом.

Природная деликатность – и твёрдость характера, твёрдость принципов и поступков, твёрдость слов; за ней угадывалась толпа пророков, а сама она, убеждённая, непреклонная, оставалась в словах и жестах своих естественной и живой, при том давным-давно и хорошо – до морщинки, до складочки на халатике – всем нам знакомой; сошедшей ли с нравоучительной театральной сцены, со страниц старинного английского романа или перешагнувшей раму выцветшего фламандского полотна.

– Всем плевать на высокие материи, но кому, как не мне, оплакивать до сих пор потери? Конечно, старый русский самодержавный мир прогнил, уверовав в тупое охранительство, сам себя привёл к слому, но чем же заменили груды обломков? После революции, Юрочка, вся жизнь была уже исковерканной, вся-вся была исковерканной-изувеченной, понимаешь? А из Петербурга, из неземной красы его, особенно после того, как «бург», заменённый по патристичному недомыслию «градом», повторно и уж совсем преступно переименовали, какие-то дьявольские насосы даже исковерканную, даже изувеченную жизнь выкачивать начали, а уж потом город понуро и безнадежно умирал, изнутри как-то умирал.

Как, не допуская и тени сомнений, произносила она убойную присказку свою: а priori. И переспорить, переубедить Анюту, когда она на своём стояла, было нельзя. Как она доказывала Елизавете Ивановне, соседке, жене художника Махова, преступность большевистской реформы орфографии, насильственно, как только и умели большевики, лишившей язык таинственной многосложности, как доказывала... И ведь не главным преступлением большевиков была та спорная орфографическая реформа, отнюдь не главным, а и тут не давала спуску... «А priori преступная реформа, а priori», – твердила Анюта, а Липа, прислушиваясь к спору, шептал: «Мой комнатный Лютер...»

Не исключено, впрочем, что твёрдость её убеждений имела куда более древнюю, чем лютеровская, пробу: дед и прадед Анюты были раввинами.

Но и твёрдость её была своей – особенной, одной ей присущей. Анюта ведь не только могла естественно сопрягать пристрастия своего старорежимного прошлого с лирическими

песнями последней войны, которые ею отделялись от казённого идеологического официоза, не только... Из разнородных явлений жизни, искусства и даже из разных религий она интуитивно вычленяла близкое именно ей, важное – для неё, а вычлененное, сочетая, гармонизировала одной ей известным методом. О, она была творцом уникального богословия: без апологетики, без верховного авторитета, прямо скажем – без Бога. Как ни странно, иудаизм вообще не был для неё религией в общепринятом, затворённом на мистике смысле этого понятия, ибо Аня не верила в жизнь после смерти. Зато верила в то, что порядок в мироздании поддерживается самим словом священной Книги; Ветхий Завет ли, Тору Аня воспринимала исключительно как этическое уложение жизни, сложнейшее и именно к ней, Анне Геллерштейн, обращённое уложение, смысл которого надо было всякий раз самостоятельно отыскивать в бесконечной сумме толкований этого смысла, а Новый Завет, хотя и восхищалась Христовым подвигом и, между прочим, обожала многоголосые церковные песнопения, и вовсе могла ласково пожурить – мол, почти два тысячелетия веры, надежды и любви минули, мистических потрясений, если заглянуть в святцы, – уйма, а вот простенький фактик бессмертия души никто так и не удосужился подтвердить. Новый Завет она рассматривала исключительно сквозь призму выпестованной веками христианства великой культуры, органично связанной, к радости Ани, с культурой античности. Она вообще считала, что Иерусалиму с Афинами нечего делить и не о чем спорить. Соборы, романы, философские системы – всё это для неё теперь и было христианством: и живой плотью его, и вместилищем действенного, непрерывного, святого, если угодно, духа.

\* \* \*

Вспоминая её, Германтов думал и прежде, и теперь, ранним утром: как много всего умела и знала Аня, сколько всего успела...

И – ничего показного.

Ей выпали редкостные по насыщенности эмоциями и деяниями будни. Она была практиком малых дел, великим, вдохновенным практиком малых и незаметных дел, великим стойком среди тихих непрерывных жизненных бедствий, которых не перечислить. Заболев, страшно заболев, превратившись в солевое изваяние, страдала она, наверное, не столько от боли и жестокостью такой телесной неподвижности, не позволявшей ей незаметные, но исключительно важные дела свои продолжать, сколько от удивления: почему-то её знания и душевный опыт больше никому не нужны? Ни знание латыни и древнегреческого языков, ни свободное владение тремя европейскими языками – она и по-украински умела, если б надо было, чисто и певуче заговорить, – ни кровавые картины сражения в Галиции, ставшего для неё боевым крещением, ни кошмары панического отступления, почти бегства. «Ветер всю ночь выл в каминной трубе особняка, где временно разместили тяжело раненых, и хотя нас охраняли солдаты-преображенцы, беспокойство не покидало... И вдруг кто-то из солдат испуганно заорал: газы, газы! Но это была ложная тревога», – начало, достойное готической новеллы, жаль, Германтов позабыл, что же с Аней страшной ночью той приключилось, а она, возможно, вспоминала то военное приключение через много-много лет, вслушиваясь в завывания вьюги...

И тут уже эхо последней войны её оглушало, будто ближний разрыв снаряда... Суровым вдруг сделалось её отвердевшее в каждой своей морщинке, словно не восковое уже, а за миг какой-то из камня высеченное лицо, когда радиоголос взволнованно, сильно картавя, принялся зачитывать молитвенно-проникновенное, но жестокое поэтическое воззвание: «Если дорог тебе твой дом...».

О, ей действительно было о чём рассказать, не только о военных страхах и напастях в Галиции или о падении люстры в парижской опере. Однако коронный, многократно и торопливо, ибо времени, чувствовала, не оставалось, повторявшийся её рассказ, повторявшийся

на протяжении многих лет, звучал всякий раз как последний, предсмертный: ею воспроизводился эпизод вовсе не своего, а чужого, причём отчаянного показного геройства. В одну из предвоенных ещё вылазок своих в центр города, и не куда-нибудь к Неве (болезнь обострялась, но Аня находила силы активно с нею бороться), ей довелось очутиться на Троицком – или Дворцовом? Нет, всё же на Троицком, – мосту в тот самый миг, когда под мостом пролетел воздушный хулиган Чкалов. И – в груди ёкнуло, и померещилось ей, что мост приподнялся и она будто бы сама, едва чкаловский самолётик благополучно стал недосыгаемой точкой в небе, поднялась ввысь вместе с мостовыми фермами, трамваями, фонарями...

Дядя Липа слушал снисходительно, даже скептически, покачивая головой, ибо Чкалов со всей своей скандальной воздушной акробатикой, изумившей и авиаторов, и земных зевак, не мог преодолеть элементарную гравитацию, тогда как межпланетные полёты в далёком космосе...

\* \* \*

Когда Юра в душной тьме, пронзённой голубовато-пыльным лучом, увидел, как Чкалов исполнял свой отчаянно смелый авиатрюк, он, позабыв, что смотрит вовсе не документальную, а художественную картину, пытался угадать в крохотных фигурках на мосту Аняноту.

Дело было в маленьком кинотеатре «Правда» на Загородном; сменив «Сестру его дворецкого», уже третью неделю шёл «Багдадский вор», затем обещали «Дорогу на эшафот», но между этими трофейными шедеврами сумели втиснуться на сдвоенном показе... Он сбегал с уроков, чтобы посмотреть сразу две старенькие чёрно-белые картины, пусть и косвенно, но с ним связанные: на следующем, после «Валерия Чкалова», киносеансе, словно по заявке нашего юного зрителя, показывали «Подкидыша».

В итоге – разочарование.

Плётка «Подкидыша», совсем ветхая, беспорядочно расчерченная сверкавшими царапинами, часто рвалась, зрители топали.

И ничего похожего на свою жизнь подкидыш Германтов на экране так и не увидел, скучал. И афиша обманула – вместо обещанной комедии была какая-то многословная чепуха, правда, когда Раневская сказала: «Муля, не нервируй меня», почему-то в тёмном зале многие засмеялись.

\* \* \*

И всё, больше дядя Липа не качал головой, не отвлекался. На столе уже лежал лист картона, горела настольная лампа; еле слышно выпевая какой-то легкий мотивчик, чаще всего прилипчивый мотивчик танго «Счастливые заблуждения», он, чуть притопывая в такт под столом валенками – изводил ревматизм, Липа дома не снимал валенок, – двигал туда-сюда стеклянное окошко-рамочку по логарифмической линейке, что-то быстро-быстро писал своим мелким почерком, быстро, не глядя, макая перо в чернильницу; наготове, чуть сбоку, но под рукой, лежали лекала, карандаши.

Дядя Липа превозносил математику, высшую математику называл «королевской наукой», то есть полагал её наукой наук, словно позабыв о печальной судьбе собственного сына-математика, всячески рекомендовал Юре не упускать время и заняться математикой всерьёз, посвятить ей всю свою жизнь... О, сам-то Липа, когда ещё молокососом был, тянулся решать задачки... Пока же он учил Юру умножать в столбик, делить, располагая делитель в уголке, проверял, как запоминалась таблица умножения; когда ученик плохо соображал или отвлекался, Липа почему-то, возможно, для того, чтобы взбодрить Юру, помочь ему ускорить бие-

ние сердца и затем пошевелить мозгами, принимался наизусть читать «Онегина», не с начала, а откуда вздумается-захочется, с любой строфы: Липа весь роман в стихах знал наизусть.

Он, само-собой, и все ходкие оперные арии знал; мог, хитро подмигивая Юре, заносся, как копьё, перо над чернильницей, пропеть угрожающе: «Уж полночь близится, а Германтова всё нет...»

И вообще Липа умел делать одновременно несколько дел, мурлыкая ли, так что слова было не различить, напевая ли, зачитывая ломким голосом строфу или строку из «Онегина», он держал в уме и все свои математические расчёты, да, мог делать сразу несколько дел, но одержим-то был он одним своим делом, главным. И постепенно мурлыканья-напевания затихали, божественные стихи обрывались, а лицо Липы напрягалось, разрезалось нервно дёргавшимися морщинами: математика всецело овладевала им, и уже ничего вокруг себя он не замечал; в такие минуты Липу, взлетавшего на пики своей сверхнауки, конечно, не стоило беспокоить.

Правда, сам Липа научной карьеры с диссертациями и кандидатскими-докторскими степенями не домогался.

Его вполне устраивала роль вольного мечтателя, хотя и в совершенстве владеющего математическим аппаратом; он даже диплома математика не удостоился, прослушав лишь два курса на мехмате университета. Будучи самоучкой, возможно, гениальной самоучкой, до пенсии прослужил всего лишь главным бухгалтером в строительном тресте, был, правда, пока служил в тресте, ударником труда, передовиком, ему вручали почётные грамоты с встречными, симметрично-зеркально склонёнными красными знамёнами, расположенными по центру грамоты, и двумя овальными портретами в профиль – подозрительно смотрящими друг на друга Ленина и Сталина – по углам белого глянцевого листа. Однако служебным успехам своим бухгалтер Липа, исправно гнувший спину над квартальными и годовыми финансовыми балансами, так же, как и научному статусу, не придавал значения. Издавна и всерьёз он увлекался лишь теорией межпланетных полётов, занимался головоломными вычислениями орбит и траекторий, его жёлтая лысина, отблескивая светом настольной лампы, часами клонилась к разложенным по картону, исписанным, с многоэтажными закорючками формул листкам писчей бумаги.

И – череда затмений и озарений, затмений и озарений...

Эврика! Липа хлопал себя ладонью по лбу, будто бы убивая комара, – пришла ли новая идея, нашёл ли ошибку.

Если же впереди, там, куда устремлялась строчка из цифр и формул, вдруг вырисовывался тупик, Липа, пропев голосисто, но с нарочитым петухом – смейся, паяц, – пускался на поиск обходного манёвра.

И находил такой манёвр, находил.

И сообщал: обманули дурака на четыре кулака; сообщал, не объясняя кто же в дураках оказался – злой дух, заводивший в тупики мысль, или сам Липа, в котором дух сопротивления поселился.

И – пошло-поехало, фиолетовые циферки и греческие буковки-символы быстро заполняли листок бумаги – вдохновение вело бесстрашного Липу, заманивало и вело в желанное, несомненно, светлое, но непроглядное пока будущее. Кое-какие научно-технические аспекты будущих устремлений Человека, замороженного звёздным небом, Липе, собственно, и надлежало математически описать; и лицо разглаживалось, и уже испарялось плывучее звучание танго о заблуждениях, и губами делал он – долой петушину самоиронию! – торжественное по-Бетховенски «трам-па-пам-пам», и вспоминался дурак, обманутый на четыре кулака, и сразу – гром победы раздавайся... гром победы раздавайся... гром победы раздавайся... и уже вновь что-то вполне лирическое мурлыкал себе под нос, клонясь всё ниже к столу, к бумагам. И вот уже напевал он, отчётливо обозначая мелодию, но отчаянно фальшивя, неаполитанские расхожие песенки из репертуара Михаила Александровича и, проглатывая слова, то есть непро-

извольнo-выборочно выкидывая слова из песен, добавлял, добавлял и вот уже игриво форсировал на пределе лирического чувства и дыхания громкость. Когда допевал он «Вернись в Сорренто» или «Санта-Лючию», слова и вовсе напрочь вытеснялись гнусноватыми носовыми звуками, а Аня с готовностью к игре подключалась, брызгала микроскопическими искорками из глаз, приподымала чуть-чуть, насколько могла, обе невесомые обездвиженные руки с выставленными вперёд и чуть вверх указательными, с солевыми узлами пальцами, причём поза Аняты, жест её беспомощных рук производили двойное впечатление, как бы выкаывая этой потешной, предельно экономной по выразительным средствам своим пантомимой и поощрение Липиногo вокализа в виде попытки дирижировать им, и физически неисполнимое желание заткнуть себе уши.

Но изредка Липин успех бывал, так сказать, этапным, и маловато было бы музыкальной пантомимы, пусть и имитирующей «музыку-туш», маловато было бы и подлинного «грома победы», чтобы отметить такой успех, а требовалось ещё и то, что называла Анята «скрепить печатью». Нет-нет, в таком редком и торжественном случае Липа, высунув язык, заново переписывал завершающую страницу расчётов готическим шрифтом, как если бы переписывал её для анналов истории, затем по-мальчишески вскакивал и в два прыжка – Анята называла эту прыткую сценку «торжеством Синдбада-морехода в валенках» – достигал стеллажа, схватив пресс-папье, прижимал его затем к драгоценной странице, прижимал и покачивал, прижимал и покачивал.

Такое вот праздничное исключение из ежевечерних трудов.

А будничными вечерами, когда такие торжества и прыжки лишь кропотливо готовились, ненадолго Липа позволял себе вскидывать голову, снимать очки.

Сдвигал бумаги, накрывал коричневый лист картона льняной салфеткой, которая дожидалась короткого ужина, будучи накинута на плетёную хлебницу, и которую Анята называла скатертью-самобранкой, подносил Аняте чашку с настоем шиповника, такой был у неё скромный ужин, а себе отрезал ломтик французской булки, клал на него ломтик плавленого сырка или медленно-медленно намазывал ножом ливер, пил со всхлипами чай с двумя-тремя соевыми батончиками вприкуску, пожалуй, чаще всего вприкуску; обычно бросал в чай лишь щепотку высушенной и раскрошенной мяты, если же пил чай с лимоном, то кирпичик пилёного рафинада кидал в стакан... За чаем мог, сладко зажмурившись, попенять Жюлю Верну: роман «Из пушки на Луну», который как раз принялся листать Юра в поисках иллюстраций, Липа считал антинаучной коллекцией несуразиц...

Но, бывало, усталость сказывалась, после чая он поклёвывал носом, потом раздавался музыкальный, с посвистами, храп.

– Липа, – с хитренькой улыбочкой звала Анята.

Ноль внимания.

– Липа! Мы насладились художественным свистом, спасибо. Тебе снится, что ты бок отлежал?

Молчание, лёгкий свист.

– Или ты вовсе не спишь, притворщик?

Затихающий свист.

– Липа, отзовись. Ты забыл своё имя? Ты – кто?

– Рассеянный с улицы Бассейной, – очнувшись, смешно моргал, странным образом, как только он умел, сочетая в выражении лица почтение и иронию.

– Enfin!

И с полчаса, для передышки, Липа с Анятой почёсывали языки, затем спрашивала Анята:

– Vingt et un?

Но три-четыре партии в «двадцать одно» лишь служили им короткой разминкой – играли в подкидного дурака; чёртики выпрыгивали из её глаз, с нечеловеческим усилием старалась удержать в непослушной руке веер карт; за картами они переходили на птичий язык, затевали игровые диалоги с каким-нибудь одним словечком, чаще всего французским, но произносимым с разными интонациями.

– Вон? – выкладывала валета Анята. – Не поторопился ли ты впасть в сладостную истому?

– Вон! – картинно позёвывая, доставал даму Липа.

– Voyons!

– И смотреть не на что!

А неожиданно, ударив титулованным козырем, торжествуя, Липа мог не без гордости процитировать какого-то из своих учёных кумиров.

– В математике, – готовил новый коварный удар, симулируя задумчивость, Липа, – нет символов для неясных мыслей.

Бом-бом-бом-бом... – напоминали о себе настенные часы; швейцарская луковичка после сверки часов отправлялась обратно в кармашек жилетки, кап-кап-кап – женьшеневая настойка наполняла чайную ложечку.

Но и Анята, промокнув салфеточкой губы, с театрализованной озабоченностью в карты поглядывая, шепча: «Какой афронт, какой афронт» и стараясь угадать при этом, какие карты пустит в ход хитрый Липа, в долгу не оставалась, как бы между прочим обещая спутать ему все карты и укоряя покачиванием головы везучего хвастуна, в руки которому шли и шли козырные короли с тузами, будто их специально для Липы вынимал небесный покровитель из воздушного рукава, вдруг принималась с напускным легкомыслием обмахиваться карточным веером и...

И поскольку изредка и ей могло повезти в карточной сече, небрежно вдруг смотрела на выложенного Липой короля. *Invito rege*, – смиренно поджимала губы она и побивала Липино монарха трюфовым козырным тузом, а выждав, с хитренькой улыбочкой ещё и уязвляла Липу репликой любимца своего, Шопенгауэра.

– С тебя магарыч, сейчас кое-что узнаешь... В математике ум занят самим собой, – тихонечко, исключительно из вредности, чтобы подковырнуть, напоминала: – Ум такой подобен кошке, играющей с собственным хвостом...

\* \* \*

Липа был, конечно, не от мира сего, к нему, ревматiku и сердечнику, мечтателю, заглядевшемуся в звёздное небо, фантазёру, даже безумцу – не зря ведь и сын единокровный его, Изя, закованный в условия своей неразрешимой задачи, психушки не избежал – короче говоря, Липой восхищались, но при этом относились к нему жалостливо-иронически, как к шлимазлу – воспользуемся для полноты и точности характеристики смачным, хотя и с грустными обертонами словечком из скудеющего словаря идиша. Но космиста Липу ничуть не смущало мнение о нём окружающих, погрязших в бессмысленно мелочной, по его наблюдениям, суете. Да и не только по его наблюдениям, он и Пушкина вспоминал охотно: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей...» – ну а сам он, живя и мысля, доверялся прежде всего внятному, если и не одному ему, то уж точно немногим, зову будущего, далёкого и прекрасного. Состоял в переписке с Циолковским и, посылая ему в Калугу какие-то таблицы с внушительными столбцами цифр, по сути прикладывал руку к эпохальным его трудам – с гордостью показывал дарственный автограф на титуле «Монизма Вселенной», – читал и перечитывал на редкость удачно сопрягавшиеся с космическими идеями Циолковского труды православного философа Фёдорова, одержимого идеей «общего дела» – воскрешения мёртвых.

О, дух призван был управлять материей и вывести её, материю, на орбиты практического биокосмизма. Собранными наново из атомов и оживлёнными неожиданно для них самих мертвецами, собственно, как понимал тогда Юра, и предстояло заселить сияющие в ночи планеты, тернистые пути к которым трассировал Липин математический ум, так как на земном шаре им бы всем, умиравшим в свои сроки, но воскрешённым одновременно, повсеместно, дружно и торжественно поднявшимся из бесчётных могил, не хватило бы места, то бишь – жизненного пространства... Тут и радио напомнило о биографии основоположника космонавтики, так сказать, идейного Липино работодателя: сын лесничего, после осложнения от скарлатины утратил слух...

– Хотя бы из вежливости к вашим сверхчеловеческим идеям стоило бы мне набрать в рот воды, но я спрошу: неужели и отсева никакого не будет? Вы что, вот так, с кондачка, всех скопом, включая слободскую голытьбу и подвальную шантрапу, будете оживлять? – прошептала как-то Аня, не дождавшись, впрочем, ответа. Липа притопывал валенками, склонялся над столом и в творческом забытии, продолжая клониться к бумагам, вдруг начинал рукою машинально бороздить воздух, как если бы отгонял ожившего комара, чьё тонкое зудящее жужжание отвлекало его, или, что было куда вероятнее, не комара отгонял, а прочерчивал путь звездолёту, на котором и он, Липа, когда-нибудь, когда и ему придёт счастливый черёд встать после неминуемой смерти своей из могилы, отправится под «Марш энтузиастов» осваивать другие планеты.

Аня, правда, посматривала на его увлечение сквозь пальцы, а на него самого, трассировавшего воздушные и безвоздушные пути, – настороженно; побаивалась в душе, что Липа вязался в чересчур рискованное для того зловещего времени предприятие и сгубит себя до срока, но страхи свои наружу не выпускала, комплексную же идею Фёдорова-Циолковского, грешившую, на её взгляд, при всей фантастичности обещанных пертурбаций чрезмерным практицизмом, и вовсе воспринимала с иронией и всё чаще её критиковала.

– Будешь рад-радешенек и впредь выплетать бесконечные свои формулы? Надеешься, бумага всё стерпит? И не боишься, – язвительно-строго спрашивала, – что бумага с твоими закорючками скоро в филькину грамоту превратится, а тебя, кустаря-бумагомараку, обманчивыми идеями свой толоконный лоб приукрасившего, увидят всё же таким, каков ты есть? Ты сказку про «Новый наряд короля» читал? Помнишь, что мальчик выкрикнул, когда...

Критика выливалась в исполненные комизма уроки риторического искусства, которые, бывало, затягивались на целый вечер!

– Чистую игру ума я готова принять, понять. Однако – оставим пока в покое математику как науку и квадратуры её кругов – что-то мешает мне поверить в счастливую судьбу заливчатских ваших идей. Напротив, хочется предостеречь от шапкозакидательских настроений: я, во всяком случае, осознаю щекотливость твоего положения. И, пожалуй, хотя и муху я не обижу, мне тебя по лбу щёлкнуть хочется, раз уж ты, шагнув вперёд из анонимных прогрессивных рядов, прикинулся невольным мальчиком для битья. Да, чужие мнения-сомнения вам всем, космистам, пока не указ, вы сами с усами, и ещё не высохли чернила в самоуверенных ваших, с победительными росчерками, расчётах да, вы, устремившись по зову душ своих к звёздам, в счастливом пока полёте, за которым не без восхищения и я слежу, а осень ещё не настала, чтобы сухо цыплят считать, однако я, восхитившись-умилившись полётом межпланетных идей, тебя и творческих сотоварищей твоих всё-таки рискну приземлить. Скажи мне, дерзновенный Леопольд Израильевич, всем дуракам уже по четыре своих кулака отвесивший, неужели и после моих неподкупно разящих слов у тебя не будет дрожать перо? Ты и твои высоколобые, но прячущиеся пока у тебя за сутулой спиной приспешники, неудержимые, опьяневшие от своих, очищенных от сучков с задоринками фантазий, а если прямоты не побоятся – опьяневшие от чистой воды маниловщины, неоправданно хорохоритесь, да. Я, на беду свою, бывает, грешу запальчивостью, слов нет, и даже, бывает, рукам своим готова дать волю,

но всё же у меня мозги ещё не отсохли, и сейчас я точна в выборе формулировок, не сомневайся: смехотворно и неоправданно хорохоритесь, и напрасно вы в раже своём надеетесь перехватить инициативу, отбить у меня охоту спокойно и трезво думать. Не на ту напали, замечу по-обывательски, дураков на здоровье обманывайте, но вам меня не сбить с панталыку! Я даже готова съесть свою шляпу, если...

– Какую ещё шляпу? – оживлялся Липа.

– Самую большую, ту, что хранится на антресоли.

– Ту, что обсыпал я нафталином? – улыбаясь, уточнял Липа.

– Это твой последний аргумент? Забыл, что в вопросах чести я непреклонна?

Липа изображал растерянность...

– Ты, – вздыхала, – избалован вниманием, граничащим с почитанием. Когда ты что-то толковываешь по телефону своим непонятливым сподвижникам-приспешникам, я, поверь, вижу мысленно, как они тебе смотрят в рот... К сожалению, никого нет, кроме меня, кто мог бы тебя одёрнуть.

Изображая свехрастерянность, Липа уже втянул голову в плечи.

– Ну, как, Леопольд Израильевич, ударили по рукам? Ты смущённо слушаешь меня, подставляя поочередно щёки для оплеух, а я – между оплеухами – увещевания свои продолжаю. Я, конечно, не хочу запугивать тебя перед сном, и я отнюдь не прокурор Страшного суда, обойдусь без напыщенности; да я и не осмелела настолько, чтобы резать правду-матку во всеуслышание. Лишь наперёд попрошу тебя не путаться в показаниях, а пока по большому секрету тебе, Липонька – упаси бог, не подумай, что невпопад, – шепну: овчинка не стоит выделки, понимаешь? И ещё, не прибегая к ультиматумам, лишь попрошу покорно: не уходи от правды в кусты, будь начеку, чтобы не пропустить решающий удар, не жди со своими приспешниками-соратниками вселенского переполоха и гимнов радости, держу пари, не дождётесь! – чуть приподняв руку, пальчиком погрозила. – Чем ещё, кроме цифр, плавных загогулин и пусто-звонно-красивых фраз, вы хотите задурить доверчивые чересчур головы? Я знаю-угадываю, что хочешь ты мне ответить, поэтому не утруждай себя оправданиями и мечтательной влагой за очками не пытайся меня пронять. Вам, захмелевшим вольнодумцам-фантазёрам, отрицателям очевидностей, ведь и небесный океан по колению, уже и лавровые венки примеряете, а зря. Сами вы свои же фантазии гробите тем, как ни странно, что, замахнувшись на покорение вселенной, по существу в землю упёрлись взглядами! Неужели думаешь, что всё это не про тебя? Ох, субчик мой... Скажи, краснеть мне или бледнеть? Зная тебя как свои пять пальцев, я не перестаю удивляться! Я, конечно, несносна, я никогда на свой счёт не заблуждалась, понимала и сейчас тем более понимаю, что несносна, сама ведь терпеть не могла когда-то скрипучие интонации-нотации классной дамы, и, как ты хорошо знаешь, не в моих правилах было, семь раз не отмерив, рубить сплеча, однако не сумею я удержаться, спрошу, ибо сгораю от любопытства: что значит – человечеству, если оживут мертвецы, не удастся на земле уместиться? – с испепелявшей строгостью смотрела на Липу, безумно счастливого уже от того, что она так на него смотрела.

– Абсурд, форменный абсурд; если твой собственный лексикон-жаргон позаимствовать, – абсурд в кубе! Ты давно под моим неусыпным оком находишься, однако, – с потешной сердитостью поджимала губы, – умудряешься дивные выкидывать фортели! Искренне не понимаешь, что обоснования твоих мечтаний взяты с потолка или вилами по воде написаны? Из-за толчеи на маленьком нашем шарике бывшие мертвецы примутся вдруг сматывать удочки? Благодарю покорно за подаренную надежду. Но чересчур уж заземлённое прожектёрство...

И сокрушённо вздыхала.

И плечиками еле заметно пожимала и усмехалась.

– Осмотрись по сторонам, ты где находишься? Где? Вспомни-ка классика: «Шёл в комнату, попал в другую», да? Чтобы в реальность вернуться, может быть, ущипнёшь себя?

О, прежде чем окончательно обух плетью перешибить, мне, чувствую, пора уже вопрос поставить ребром: ты, Липонька, конечно, твёрд как камень, верю, нет тебе в твоём призвании равных, но раз уж ты сам в короли не вышел, надеюсь, не репетируешь роль кума королю? Минуточку! Надеюсь, ты не выслуживаешь в поте лица правительственные награды и песнопения акынов на Кремлёвском приёме? Учти, пряников на всех не хватает.

А если временно перейти на серьёзный тон?

Или хотя бы – на полусерьёзный?

Ей ближе был утопический сюжет Страшного суда, утопический потому хотя бы, что, – горьковато шутил её дед-раввин, – мёртвые встанут из могил лишь тогда, когда все-все евреи, именно все и разом, вдруг опомнятся и примутся соблюдать Субботу. Но Анютины сомнения и частенько ею разыгрываемые с серьёзной миной нападки Липу никак остановить не могли, да это и не было её целью, она ведь мужем своим гордилась, талант и увлечённость его высоко ценила. Недаром ведь она подбадривала его, раз за разом повторяла как назидание: делай, что должно, и будь, что будет. А Липа, собственно, так и поступал, он делал, что должно, не задумываясь о будущих воздаяниях ли, наказаниях, ибо видел себя неким необходимым связующим звеном между Фёдоровым – философское обоснование глобальной гуманистической идеи воскрешения мёртвых и последующей межпланетной миграции и Циолковским – общая теория космонавтики, на службу глобальной той идее поставленная. У несложившейся ещё общей теории были и частные ответвления, ибо неудержимо ветвились фантазии Циолковского. Так, дабы послать сигнал о поступательном прогрессе сознательной жизни на земле инопланетным цивилизациям, он предложил расставить по чёрной весенней пахоте от Калуги до Воронежа огромные белые, с отражающим слоем фосфора, щиты, чтобы они, те щиты-экраны, отсвечивая-отблескивая солнцем, забрасывали зайчиков в пока недостижимый для прожекторной земной техники тёмно-лиловый космос. Ну а Липа помог Циолковскому предельную дальность прыжков тех сияющих зайчиков рассчитать. Липа как расчётчик был, конечно, на высоте, к цифровым выкладкам его навряд ли и самым въедливым из математических педантов удалось бы придаться, да, никакой комар бы носа не подточил. Липой, конечно, можно было бы продолжать гордиться, однако и тут всё было не гладко, к постановке и конкретному решению самой общечеловеческой задачи, так ли, иначе, но нацеливавшей на контакты с инопланетным разумом, ибо без спроса у инопланетян негоже было бы эмигрировать на их планету, у Анюты оставались вопросы. О, Платон мне друг, но истина... Чуть ли не ежевечерними своими монологическими спектаклями, темы, сюжеты и реплики которых, пусть и варьируясь, повторялись всё-таки из вечера в вечер, она и укоряла Липу за непростительные логические промахи, и стимулировала к расширению его узко целеустремлённый ум. До чего же искусно она делала вид, что гневается, плечиками пожимала еле заметно, как если бы имитировала, расталкивая задремавшую мысль, идейный конфликт.

Сокрушённо, с новым недоумением – Станиславский бы, наверное, в искренность её терзаний поверил! – вздыхала.

– Всё ещё веришь, что найдутся простофили, которые захотят тебя на руках носить? Ох, я, конечно, завзятая ворчунья, и позловредничать я не прочь, а ты бы знал, как хочется мне окончательно махнуть на тебя, ум за разум спрятавшего, рукой! Окончательно, понимаешь? Но подожди, Липочка, подожди и потерпи, коли всё ещё я терплю, мой саркастический пыл ещё не угас.

Вздыхала, вздыхала...

И для полемической убедительности продолжала снижать и вульгаризировать на разные лады великую фёдоровскую идею.

– Знаю, пророков побивают камнями, и, заметь, никто меня за язык не тянет, однако же не могу молчать. Хотите в поте вдохновенных лиц своих оживить и заново очеловечить мёртвых землян? Похвально... я прослезилась даже. Но полегче на поворотах, полегче, дорогие

мои! Боюсь, не обзавелись вы волшебной палочкой, а я уж точно пока не спятила – с какой стати за компанию с нашими дорогими мертвецами очеловечиваться захотят инопланетяне, чтобы достойно их, бывших мертвецов, оживших и непрошено прилетевших, встретить? Ты мне в рот смотришь, а лучше сам пораскинь мозгами: мы все, все двуногие люди-человеки, рядышком, в тесноте-обиде, рождаемся, весь век свой боками трёмся, толкаемся, а ни за какие коврижки сами друг друга понять не можем. Чуть надоест нам на бобах сидеть, чуть что ещё не так – под лозунгами спасения человечества, высоко поднятыми над безголовыми толпами, неугодных выжигаем, на куски рубим, расстреливаем. Как же они, инопланетные обитатели-обыватели, своим невообразимым умом живущие, примут чаяния землян к сердцу, все наши порывы поймут и новоприбывшим столы накроют? С какого рожна поймут? Держи карман шире... Правда, это ещё – туда-сюда, бабушка надвое сказала, палка о двух концах: налицо лишь заманчивая перспективка... Не сверли меня демоническим своим взглядом, всё равно тебе не сбить меня с панталыку! Ты, надеюсь, держишь себя в руках? Отрадно... тогда нелишним будет сразу и без экивоков тебя предупредить, Липочка, что я не шучу: если сразу не погибнет, то закономерно захиреет ваше якобы благородное, но липовое, явно липовое – прости, Липочка, за слегка обидный каламбур – дело. И надеюсь, ты при всём своём искреннем волнении не сможешь не увидеть, что от стыда за вас у меня уши уже горят? Скажи, пожалуйста, дело в шляпе будет, если даже поймут? Но пусть и поймут, пусть – я брошу лишь мимоходом, что рано шампанское откупоривать, – вы-то, кашу заварившие, как сумеете узнать про их, инопланетян, такое желанное для вас сочувствие-понимание, про их добрую готовность к встрече оравы загробных колонистов с цветами и хлебом-солью? Как вы и все мы, земные бессловесные доходяги, узнаем, что пойманы и разгаданы сигналы-зайчики? И что мне прикажешь делать: плакать или смеяться? Вам что, кто-то позвонит по беспроводному межпланетному телефону? Здравствуйте, скажет, я далёкая ваша тётя?

Липа молчал, критика Анюты доставляла ему острое удовольствие.

– Не надоело ли тебе и сподвижникам-приспешникам твоим, записным и прогрессивным умникам-разумникам, дурака валять?

Липа молчал, внимал...

– Умри, а лучше, чем промолчать в знак согласия со мной, ты всё равно не скажешь. Но ты не бойся, пока я только зубы показываю и загрызать тебя не готова, и нет у меня секиры, я не буду отсекай твою повинную голову – лучше изменить её содержимое, если есть оно, понимаешь?

Липа молчал.

А Анюта с укоризной вздыхала.

– Милые вы мои пифагорейцы, где ваших умов палаты? И хотя я забросала уже камнями ваш математический огород, числовая одержимость ваша не может не внушать трепет. Я, трепеща, сама с собой спорю, однако повторю всё же сказанное мной ранее, повторю кратко, в специальном переводе на школьный язык: не смею поучать, мне неловко злоупотреблять нотациями, но неужели некому, кроме меня, вправить ваши скучные математические мозги... *à la lettre*, да-да, дословно: вправить! Или вы всё ещё без посторонней помощи надеетесь выкрутиться из вопиющих противоречий, которые сами же на свою и общую нашу беду навалили поверх точных своих расчётов? А может, хуже того, ибо нет ничего хуже позора – поманили иллюзиями, теперь готовитесь умыть руки? – И опять вздыхала. – Пока ещё я тьфу-тьфу, но не доводите меня до белого каления, а то искры из глаз посыплются, и я, огнедышащая, за свои слова не смогу ответить, – строго на Липу поглядывала, как если бы именно он стоял во главе сомнительного космического предприятия и нёс полную ответственность за все-все его, предприятия того, планы и начинания.

– Не хочу палки вставлять в колёса ваших идей, не хочу и заранее, до того, как идеи ваши потерпят крах, потирать руки от удовольствия...

Очки у Липы слепяще блестели.

– Да, мёртвых на земле много больше уже, чем живых, с этим, учитывая, что и я, неверующая, вскоре присоединюсь к подземному большинству, надеясь всё же с мамой и папой свидеться, надо бы, действительно, что-то делать, но – без сногшибательных глупостей, понимаешь? Ты бы знал, как мне не хочется бить лежачего, но терпение моё на пределе, объявить мне вскоре придётся во всеуслышание, что табачок – врозь. Ручаюсь, не поладим мы, не поладим, вы явно переусердствовали. Считали-высчитывали с высунутыми от натуги умственной языками, переписывали начисто и печатями скрепляли свои расчёты, пока не убедились, что дважды два четыре? Или – признайтесь! – ещё так и не убедились?

Пассаж про «дважды два четыре» – в разных вариациях – не раз повторяла.

– Я не взялась бы птицу учить летать, а рыбу – плавать, но математики – особые, трудно обучаемые таблицы умножения существа. С присущим мне чувством такта напомню тебе, что притязания высшей математики на всевластие не грех поверять азбучно-арифметическим здравым смыслом.

Липа – удовольствие плавно переходило в наслаждение – смешно водил по сторонам очками, как филин.

– Или вам, новоявленным сынам бури и натиска, отчаянным и неудержимым, слов нет, но, прошу прощения за прямоту – недалёким, лишь бы послать сигнал во вселенскую пустоту, отрапортовать богу или чёрту, что свой абстрактный сигнал послали, а там – трава не расти?

Подняла глаза и как бы мысленно погрозила пальчиком.

– Хорошо, конечно, если денег у них там, у Христа ли за пазухой, у чёрта на куличках, куры не клюют и, повторяюсь, с распростёртыми объятиями они закутанных в рвано-истлевший саван земных колонистов щедро готовы встретить. А если всё не так, если у них, на другой планете, нищета нищетой и в карманах дырки, да ещё эпидемия какая-нибудь свирепствует и сами они мрут, как мухи? Что ответишь? Да, мишень давно мною пробита, но я ведь ещё все свои патроны не расстреляла, при том что в резерве у меня, как ты догадываешься, есть тяжёлая артиллерия. Я огорчена, удручена – незавидный у вас удел: посеяв ветер, вы бурю в стакане воды пожнёте. Не побоюсь обвинений в риторическом занудстве и вновь горячо изолью на тебя то, что в голове накопело! Боюсь, однако, того, что вы, ты и единомышленники твои, в красивых словах своих обещающие вечное счастье в космосе, сами с собой заигрались в прятки: познания в высшей математике от простейшей глупости не спасают, да и глупость сама собой не способна сойти на нет. Но это, поверь – глупейшая из всех ваших запредельных затей, во всяком случае, я для её продвижения и пальцем о палец бы не ударила...

У Липы, потешно втянувшего в плечи голову, казалось, быстро-быстро завращались глаза-очки, заблестел на кончике носа пот; увы, доза интеллектуального наслаждения – Липа ведь не только внимал Анюте, но и мысленно подбирал ответные аргументы, – видимо, была чрезмерной. У Липы покалывало и даже с ритма сбивалось сердце, он уже медленно накапывал – раз, два, три, четыре, – шевеля губами, считал капли, – валидол на кусочек сахара...

– А дальше-то что вы соизволите предпринять? – между тем спрашивала Анюта. – Только учти: ты и бедная душонка твоя всё ещё у меня на мушке! Отвечай сразу, кота не тяни за хвост!

А Липа глазами-очками продолжал вращать, но ответ так и не подобрал. Ещё бы, едва сердце унялось, ублажённое валидолом, тыльная сторона ладони у него расчесалась; изводила его много лет экзема, он, как мог, боролся с зудом, смазывал сухую растрескавшуюся кожу и раны – опять стигматы обозначились, с сочувственным вздохом подбадривала Анюта – топлёным бараньим салом.

\* \* \*

И... тут, воспользовавшись заминкой, надо в интересах объективности сказать, что Липа, вроде бы лишённый начисто практической жилки, вроде бы витавший за границами атмосферы, за самыми высокими метафорическими облаками, свято веря в отступление всяческой оголтелой косности землян, не говоря уж об отступлении преодолённых в новейших формулах тяг и скоростей силах земной гравитации, был, однако, в тесном и лестном для него деловом контакте не только с провинциальным мечтателем Циолковским, но и с энтузиастами-ракетчиками, предшественниками фон Брауна и Королёва. Скромная Лаборатория реактивного движения в двадцатые годы ютилась, пока тех ракетчиков не разогнали, а многих из них и в лагерную пыль превратили, в одном из бастионов Петропавловской крепости. Липины многостраничные расчёты уже в те далёкие от полёта Гагарина годы имели для близкого космоса практический смысл, сугубо практический: Липа рассчитывал космические скорости ракеты, преодолевающей тяготение, рассчитывал выгодные баллистические кривые, выгодные орбиты... И когда он склонялся над столом – синяки под глазами, сползшие на кончик остренького носа круглые очки с поломанной, замотанной изоляционной лентой дужкой, ввалившиеся, серо-фиолетовые, с залепленными пластырем порезами от бритвы, щёки, блеск мокрого подбородка, – казалось, он не фантазирует попусту, а действительно вовлечён в глубокую умственную работу государственной важности. Уже и мифологический Циолковский умрёт и превратится в космическую икону, и о Фёдорове – от греха воинствующего идеализма подальше! – надолго все позабудут, и чудом выживших в годы террора ракетчиков аж до оттепельных лет в шарашках запрут, и много тяжких, невыносимо тяжких лет минет, с войной, блокадой, и Ахматову с Зощенко всенародно осудят в партийной прессе, и на верноподданных научных и литературных собраниях генетиков, кибернетиков, а за компанию с ними и космополитов крикливо разоблачат и смешают с грязью, и даже «дело врачей» закрутится устрашающе, но поджилки у Липы так и не затрясутся, всё будет он уточнять – уточнять и перепроверять – свои расчёты, вычерчивать самые выгодные для заброса в космос максимально полезных грузов баллистические кривые...

Так и умрёт он, счастливо склонившись над столом, заваленным исписанными-исчирканными листками, внезапно умрёт от разрыва, как тогда говорили, сердца; встанет ли он когда-нибудь из могилы, чтобы улететь на другую планету по своей космической трассе?

Или уже встал и летит, летит со старым, из потускневшей крокодиловой кожи с проплешиной у металлического замка портфелем, набитым драгоценными бумагами, в руке; летит, а мы об этом не знаем?

«Что за нелепость, – сонно засомневался Германтов, – на кой ляд Липе на другой планете портфель с устаревшими бумагами?»

И вспомнил, что спустя неделю, не дотянув до объявления о смерти Сталина всего-то несколько дней, умрёт Аня; гроб с её кукольным тельцем поставят на четыре стула; отзвучит тихо и механистично зауспокойно-патефонный Шопен, её увезут на кладбище... и она полетит, полетит вслед за Липой, вдогонку?

Но до смерти своей, понимал теперь Германтов, они – Аня и Липа – не знавшие серьёзных размолвок, а в пустяковых ссорах всегда делившие пополам вину, поверх физических страданий, поверх всех угроз и страхов, которых им выпало натерпеться, – чувствовали себя счастливыми. Хоть раз на судьбы свои пожаловались? Как трогательно Липа закапывал ей в глаз капли из крохотной пипеточки, когда у неё в глазу лопался кровяной сосуд, а она, моргая, шептала: «Я на эту полупрозрачную голубую занавеску люблю смотреть: её вдруг солнце просвечивает, как крыло бабочки, и она, рукотворная, оживает, будто бы трепещет... и колеблется от ветерка, пузырится».

Германтов опять перевернулся на другой бок, вслушался в удалявшийся перестук трамвайных колёс, тук-тук, тук-тук; увидел, как нафаршированный телами освещённый изнутри трамвай катил к темневшей на фоне неба махине собора Иоанновского монастыря... Донёлся сдавленный, теребящий, уже и саднящий где-то в глубине души гул, – напряжение моторов, гудки; он, растревоженный, казалось, резонировал с суммарным напряжением-раздражением всего невыспавшегося города. Хорошо хоть, что ему не надо было рано вставать, протискиваться в этот утренний час пик в метро, влипать в торопливую, обездвиженную, поделённую лишь на вагонные брикеты толпу. До него донёлся вновь, пробив насквозь дрожью, глухой гул – тысячи машин нетерпеливо, но покорно содрогались в пробках на Большом и Каменноостровском проспектах...

\* \* \*

Голубая невесомая занавеска раздвинута – две её половинки, приспособленные слева и справа, повисли мягкими складками; и как раз зацвёл кактус... Аня после проглатывания женьшеневой настойки и закапывания капель в глаз неподвижна в своём стареньком рассохшемся креслице красного дерева с фигурно выгнутыми подлокотниками, накрытыми продолговатыми репсовыми, в косой рубчик, подушечками; бело-кружевной круглый воротничок, жёлтая иссохшая шея... Спокойное испещрённое мелкими морщинками лицо нежно лепится без помощи теней рассеянным заоконным светом; еле заметный ореол окутывает серебристо-пепельные редкие кудельки, мягкое солнечное пятно расплывается по косой поле бордового, с розочками, фланелевого халатика, фоном – чёрный, с проблеском, мазок пианино.

Почему её не писал Вермеер?

Или всё же писал?

\* \* \*

Конечно, контакты Липы с ракетной лабораторией не могли не вызывать подозрений. Липу дважды на воронке увозили в НКВД, но, сочтя сумасшедшим, да ещё таким сумасшедшим, какой, наверняка, в клещи карательным органам раньше не попадался, ибо он, бухгалтер, всерьёз объяснял чекистам, как воскрешённых в соответствии с фёдоровской идеей мертвецов будут при помощи реактивной, освоившей сверхскорости, науки и техники расселять в космосе, на необитаемых пока что планетах, нехотя отпускали. Да, троцкисты и английские разведчики, кишевшие вокруг, вряд ли инструктировали его, вряд ли они при всей их вражеской изошрённости научили его так виртуозно прикидываться безумцем. Липа, дважды арестованный и дважды выпущенный из Большого дома на волю, как ни в чём не бывало, трусил к остановке на углу улицы Чайковского и Литейного проспекта, ехал на трамвае по Литейному Владимирскому Загородному домой и брался вновь за свои чернильные вычисления, выводил многоэтажные формулы, вычерчивал лекальные траектории...

– Как, как... ты вернулся?! – спрашивала, по свидетельствам домочадцев, с трудом обретая дар речи, Аня.

– Как видишь.

– И даже не разукрасили, – с нарастающим удивлением рассматривала живого-невредимого Липу Аня, явно ожидавшая худшего. – Как... как ты оттуда вернулся? – повторяла вопрос, не веря глазам своим.

– На «девятке» приехал, – бодрился Липа, снимая мокрое тяжёлое драповое пальто, – вот только под дождь попал.

– Что у тебя там, на Литейном, выспрашивали?

– Выспрашивали, чем я занимаюсь.

– И что ты им отвечал?

– Правду!

Осёкся и...

– Ты же меня научила говорить правду и только правду, вот и не смогли они подкопаться.

Мне повезло, мне поверили.

– Дуралей ты мой, зачем было говорить? Ты – никудышный врун, у тебя правда на лбу написана, – повеселела Анюта.

Ему вообще везло, и Анюта, комнатный ангел и Лютер в одном лице, конечно, его хранила.

Если верить трагико-анекдотичному семейному апокрифу, как-то, ещё года за три до счастливого возвращения на трамвае из многоэтажной бетонной преисподней, Липу приходили брать по «Кировскому призыву» как зиновьевского пособника, хотя Липа никогда в партии большевиков не состоял, понятия о зиновьевской оппозиции и вероломных её умыслах не имел. Ну, значит, пришли брать – под утро, когда сладкие снятся сны, однако Липа, в кои-то веки командированный в Москву на какой-то слёт, кажется, слёт ударников-бухгалтеров, дома отсутствовал. Раздосадованные опричники грубо напирали на маленькую Анюту: куда сбежал муж, где прячется, когда вернётся, а Анюта грубости не терпела, ей бы помолчать в тряпочку, а она в лобовую пошла атаку.

Поразительно, ей не было страшно!

– Я русским языком сказала, нет дома, в отъезде, – строго-повелительно и при этом презрительно глянула на свирепых гостей в фуражках с синим верхом. – Охотно верю, что послали вас на дело государственной важности, но не порите горячку! И выбирайте выражения, хотелось бы мне, товарищи, понять, что значит – сбежал? Он что, перепуганный заяц, у которого душа в пятках? И не нервнируйте меня, и так здоровье пошаливает, – приложив руки к вискам, изобразила приступ мигрени. – И проход, прошу покорно, освободите, мне растения пора поливать... – потянулась к лейке; хорошо хоть ума хватило не указать на дверь.

Отвага и хладнокровие?

– Не надо пересаливать! – осаживала она, взмахнув ладошкой, домашних, которые расхваливали, охая-ахая, её бесстрашие. – Хотя мне изрядно нервы пощекотали, и отвратительно разглядывали, сверлили, сверлили меня оловянными зеньками, и на орехи, конечно, могло достаться, если бы они не на меня пялились, как на ископаемое, а заметили бы на полке немецкие и английские книжки.

Перевела дыхание.

– Конечно, язык мой, как помело, и в тот день я встала с левой ноги, могла поплатиться за неуважение к власти. Не желаю влезать в их поганые волчьи шкуры, но, думаю, особо ретивых, клыкасто-разнузданных по более важным адресам посылали, – скромно объясняла свою эффектную неожиданную победу над карательной машиной, то ли уставшей, то ли дававшей по отдельным адресам сбои. – Эти квёлые какие-то были, а уж когда другие, brave и бешеные, потом по городу разъезжали, чтобы всех без разбору брать, они и выслушивать бы ничего из-за спешки не пожелали, не то что внимательно обыскивать... Им тогда многих и поскорее, для отчёта, надо было арестовать, привезти к себе в узилище и поставить к подвальной стенке...

Вот и всё, не хотелось ей возвращаться к ночным страхам, к растянутым на многие годы ужасам террора, когда непрерывное ожидание ареста могло быть страшней, чем последний выстрел. Боялась детей пугать? Всё время на Юру, листавшего журналы, посматривала.

– Они нагрянули при Ежове? Или Берия уже верховодил?

– Что вы, тогда ещё Ягода усердствовал.

– Чума на оба дома, и даже на три, с вашего позволения, и свержчумы не жалко для них, – выносила свой, примиряющий спорщиков приговор Анюта и отмахивалась ладошкой, не желая

сравнивать по степени жестокости палачей. Никого, даже Сталина самого, она не боялась, хотя имени усатого деспота, как и имён Ленина, Дзержинского, других вождей-садистов ни разу, если исключить спонтанно пропетую частушку про пришитого в коридорчике Кирова, Германтов от неё не слышал, произнесение презираемых имён было бы ниже её достоинства. Зато иносказания её бывали хлёсткими, ёмкими, правительство, например, называла она «коллегией адвокатов дьявола», при том что имя дьявола всем было хорошо известно. И политические комментарии её к зловещим идеологическим спектаклям бывали убийственно точными, но непременно краткими. Передавали по радио доклад Жданова, а Аня только сказала:

– Какие позорные, грязные глупости они, изолгавшиеся, талдычат, никогда от грязи им в своих наркоматах-комиссариатах подлостей не отмыться, – и безуспешно пыталась ручку невесомую приподнять, чтобы показать, что всё, что вытворяют они, ей поперёк горла.

Липа тем временем – мало что был простужен – старательно накапывал валидол на кусочек сахара. И бурчал себе под нос: – Но они ведь культурные, главные наши большевики-вожди, классический балет любят.

– Не только большевики наши заядлые балетоманы, – откликнулась Аня, – фон Риббентроп, помнится, по срочным надобностям ненападения в Москву залетел, но выкроил время, преподнёс Улановой хризантемы.

А спустя полчаса, всё ещё прислушиваясь к продолжавшему вещать радио, нечто непонятное молвила:

– Мармеладовщина, типичная мармеладовщина! Нет, – поправились, – мармеладовщина пополам со смердяковщиной.

И затеяла сама с собою дискуссию:

– Дело прочно, когда под ним струится кровь? Нет, не обязательно прочно! Реки крови пролили, но большевистское их дело непременно развалится.

Когда же космополитов в кровь били, объясняя широким народным массам кто скрывался под псевдонимами, когда испуганно обсуждались по углам погромные статьи Софронова, Бубеннова, тихо, будто для себя одной, обронила:

– Им воздастся ещё, они поплатятся.

И даже порадовалась.

– Скоро их гнусная песенка будет спета.

А уж когда «дело врачей» они состряпали, силы совсем её оставляли, лишь зашептала: как не поверить, что несусыпно светится кремлёвское окошко в ночи? И еле заметно руку приподняла и дошептала: им конец теперь, уверена, им конец.

Они? Им? Их? Кто они, кто – конкретно?

И кому – воздастся, кому – конец?

Да, Аня избегала конкретизаций... не из страха – из презрения; и, конечно, многие, очень многие из её смелых суждений давно сделались уже общим местом, но тогда-то юный Германтов услышал их в первый раз, запомнил их и, главное, усвоил ещё в нежном возрасте.

Петергоф, хрустальные струи и султаны фонтанов на фоне тёмной листвы. Благообразный, средних лет господин с бородкой и усами, в фуражке с околышем, запечатлён на парковой аллее у выставленных в ряд по краю аллеи кадок с аккуратными стриженными шарообразными лавровыми и померанцевыми деревцами... Юра рассматривал чёткое коричневое фото на журнальной вклейке, на чуть желтоватой мелованой бумаге.

– Это последний царь, – Аня еле заметно скосила глаза. – Я видела его близко, так близко, как тебя сейчас, перед отправкой на фронт.

– И где он теперь, что стало с ним? – спросил Германтов.

– Его убили, вместе с женой-царицей, детьми.

– Кто убил?

Анюта поджала губы и промолчала, имена убийц она бы ни за какие коврижки не стала произносить.

Но её молчание было как приговор.

– За что убили?

– За то, что был царём, от рождения, понимаешь?

В разговор вступил простуженный Липа – позавчера ещё Анюта вздыхала: пальцы не двигаются, не могу с сахарным песком желток растереть, а то бы взбила я тебе гоголь-моголь, – но накануне так у Липы подскочила температура, что гоголем-моголем было б уже не обойтись. Липе даже ставили банки, от них на спине и груди сохранялись ещё багровые следы-кружки, и чеснок Липа в лечебных целях активно ел, на чёрную хлебную корочку натирал целый зубчик и жевал, жевал, от густого чесночного запаха в комнате было не продохнуть. Ко всему сердце вчера весь день сбивалось с ритма, ныло, валидол под рукой был... Липа сидел на кровати со старым вафельным, когда-то лицевым, полотенцем на голых коленях; парил ноги, тощие, бледно-жёлтые, с рельефным узором из голубых жил, блаженно шевелил сплетёнными, с бугристыми ногтями, пальцами в тазу с горячей водой. И разговор принял неожиданно радикальный оборот, перекинул совсем уж неожиданный мостик в будущее, конечно, не в то, далёкое и – без обманов! – светлое будущее, обещавшее межпланетные переселения век за веком умиравших, но затем вмиг оживших народов, а в будущее относительно близкое, во всяком случае, вполне обозримое. Липой в том разговоре словно предвосхищалась большая тематика усыхающих советских иллюзий, когда, как утопающий за последнюю соломинку, любой соискатель социализма с человеческим лицом хватался за противопоставление хорошего Ленина плохому Сталину.

– И кто же были те честные коммунисты? – спросил под конец разговора Липа. – Те, кто в Ленина верили?

– Дураки! – Анюта попробовала поставить точку.

– Но у них же сила была, идейная сила.

– Была, да сплыла.

– Когда?

– Окончательно – после «съезда победителей», когда благоверных партийцев, дураков-победителей, пустили в расход.

Липа, однако, пожелал продолжения.

– И чего же, если ты одна такая умная, останется ждать, к чему стремиться? Есть новая историческая идея?

– Есть старая идея, но – на все времена.

– Какая?

– Карфаген должен быть разрушен.

Точка на этот раз получилась жирной.

\* \* \*

После двукратного возвращения домой на трамвае оттуда, откуда обычно не возвращались, да потом и все девятьсот дней блокады Липа не выпускал логарифмическую линейку из слабеющих коченевших рук, высчитывал скорости ракет и координаты орбит, вычерчивал траектории для ракет с межгалактическими летунами в капсулах. Чудеса, да и только – Липа и Анюта, безнадёжные хроники, вопреки всем болячкам, голоду и холоду выжили. Им везло: у Липы ни разу не украли в молчаливых замёрзших очередях хлебные карточки, хотя он в очередях не о хлебе думал, в уме проверял расчёты, правда, возвращаясь по ледяным колдобинам домой, не забывал поискать газету с очередным поднимавшим дух рисунком Владимира Гальбы. Рисунки Гальбы вырезала из газет, складывала в «папочку свидетельств» – её назва-

ние! – Анюта. Да, им везло... И в дом их, такой заметный дом, ни бомба, ни снаряд не попали, а от медленной голодной смерти Липу с Анютой сказочно спас, упав с мешком провианта с неба, Изин одноклассник, преданный Шура Штурм, командир эскадрильи лётчиков-торпедоносцев, который погибнет затем, вернувшись на фронт, в воздушном бою над Кольским заливом. Анюта вздыхала: конец близился, нас уже голодные, «деликатесные», как я их называла, да ещё пахучие при этом, видения посещали: то я вдоль бесконечных пузырчато-стеклянных прилавков с французскими сырами прохаживалась, любясь оттенками и узорами плесени, вдыхая гнилостные благовония рокфора, то Липа покупал в Торгсине жестянки с сардинами, копчёную лососину, и вдруг... Да, частенько вспоминалось ей чудесное явление Шуры – ладного, энергично напружиненного, возмужавшего и обстрелянного, в щегольски начищенных сапогах и новенькой гимнастёрке с нагрудными скрипучими ремнями крест-накрест. Приехав на побывку с Северного фронта, он привёз им запаянную трёхлитровую банку томатной пасты, бутылку рыбьего – трескового, уточняла Анюта – жира и большой куль муки, да ещё оставил две пачки солоноватых американских галет из своего офицерского пайка. О, хвасталась Анюта, у нас ведь ещё до начала гастрономических видений и до появления Шуры с царскими дарами только соль со спичками на самый чёрный последний день были припасены, боялись, впроголодь куковать, теряя силы, придётся, и вдруг – не дом, а полная чаша: жили на широкую ногу, жарили на том жире лепёшки, по капельке жира, крохотной капельке – на одну лепёшку; как музыкально шипела каждая капелька жира на чёрной чугунной сковороде! Анюта с Липой ещё и делились тем жиром и той мукой с соседкой по лестнице, а та отсыпала им гороха, так что варили по семейным праздникам гороховый суп, на крохотные, как птифурчики из кафе «Куполь», кусочки ржаного чёрствого хлеба намазывали томатную пасту, да ещё соседка им приносила воду. На дрова без сожалений пустили мебель, только пианино, книжная полка и стол с креслицем сохранились. К тому же слушали радиотрансляцию Седьмой симфонии и регулярные выступления Берггольц по радио тарелке – да, в давнишнем радио кумире Яхонтове Анюта разочаровалась, в официальном дикторском гласе Левитана ей не хватало человеческих интонаций, а вот голос Берггольц, страдающий и твёрдый, воспевающий и оплакивающий, её согревал; надежда на бессмертие души, признавалась не раз Анюта, ещё в юные годы была поставлена под сомнение и потому ничуть не грела её, а вот голос, искренний голос внутренней боли и непреклонности, обращённый к ним ко всем, осаждённым, голос не сомневавшегося в победе сопротивления, оказывается, мог согреть...

И благодаря педантичным Анютиным заботам выжили, затем и намного пережили её бегония и кактусы на подоконнике. Один из кактусов даже как-то и после её смерти зацвёл, причём – в день её рождения; такая мистика... И сохранилась маленькая детская леечка.

И утюжок не пропал, хоть и с перегоревшим давным-давно плоским слюдяным элементом; миниатюрный, как подкованная блоха, реликт.

И ещё остались от Анюты театральный бинокль со следами потускневшего перламутра, крохотный, вторящий форме амфоры кувшинчик-пузырёчек от французских духов, маленькие изящные маникюрные ножницы с чуть-чуть загнутыми, остренькими кончиками, из Парижа привезённые...

– Чудеса в решете! Я с лёгким сердцем расставалась с дорогими вещами, а вот потерю мелочей каких-то всегда переносила болезненно. Но зачем они мне теперь, – вздыхала, – перекладывать из кулька в рогожку?

Повздыхав, поднимала глаза:

– Прости за сантимент. Помнишь, где мы ножнички покупали? Свернули с бульвара... Сен-Жермен?

– Нет, Распай, – уточнил Липа. И пропел строку из жестокого романа: – И с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви.

– Прошедшей? Покорнейше благодарю.

– Ножнички? А ты могла бы вспомнить сейчас...

– В мгновение ока! Свернули с бульвара Распай, и там, за углом, был маленький, торговавший ширпотребом и всякой всячиной, всякими забавными финтифлюшками-бирюльками магазинчик... И продавец, помню, был в большой чёрной шляпе, низко надвинутой на лоб, а рядом было кафе.

– Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар, – комментировал, не отрываясь от бумаг, Липа.

– Но почему ты в том кафе заказал анисовку?

– Чтобы отбить навсегда охоту пить эту гадость... бр-р, аптечный запах... Но с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви...

– Анисовка – гадость. Но ты, надеюсь, достойно воспримешь критику.

– Критику чистого разума? – опустив глаза, быстро-быстро начав писать, хитро улыбался Липа.

– Уши вянут! И прошу тебя – не паясничай! Но чёрт с ней, гадкой анисовкой, в том кафе были, помню, чудные воздушные бисквитики с розовой и жёлтенькой сахарной глазурью.

И ещё, ещё совсем уж загадочная штуковинка отлеживалась на полке, между деревянным грибом с красной шляпкой и книжками, как о ней можно было забыть? Собственно, в штуковинку, причём в загадочную штуковинку, обычную коробочку с леденцами превратило время. Да. Анютой – хотите – верьте, хотите – нет, – с неправдоподобно давних, парижских лет почему-то сберегалась круглая металлическая коробочка с наклеенной на неё, как переводная картинка, озорной, с улыбкой до ушей и различимыми веснушками рожицей.

– Как мы спешили жить! Помню череду глупых своих желаний, всё-всё помню, будто вчера ещё ходила по магазинам – мы отправились за покупками накануне моего отъезда, а потом... – Анюта, похоже, пребывала в хорошем расположении духа. – А ты помнишь, что потом я... Я тебя из Баварии письмом известила...

– Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу ещё сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать... – Липа, улыбаясь, не поднимая головы, что-то быстро-быстро строчил, строчил, так быстро, как если бы весь божественный роман в стихах в уме хотел пробежать, а цифры, которые он быстро выписывал, от звуковой поэтической пробежки по строфам-строчкам Александра Сергеевича не отставали, и вот уже он ответное послание забормотал. – Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел: привычке милой не дал ходу; свою постылую свободу я потерять не захотел.

– Так как, Липонька, помнишь? Или ты... Не делай, прошу тебя, *bonne mine*! Ты, даже если мне удастся состричь, так и не улыбнёшься? И понудишь меня, забыв о кроткости, клещами слова из тебя вытягивать? Помнишь или не помнишь? Отвечай, а то достанется тебе на орехи.

Липа строчил, строчил, клонясь к бумаге, шептал:

– И, может, в Лете не утонет строфа, слагаемая мной... – и вдруг, подняв голову: – Из Баварии? Не помню, какое ещё письмо? А-а-а, было что-то слезливое.

– Такое, – обиженно бросала Анюта, но сразу брала примирительно-ироничный тон, – слезливое, да-да, слезливое, иначе бы ты ни за что не вспомнил, то самое письмо... То самое, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно.

– Так что в том слезливом письме мне сообщалось? Или ты попросту хотела меня разжалобить?

– Притворяешься, что забыл? Ты, Липа, плохой актёр... И, прошу тебя, ради бога, не пой мне Лазаря! Я скучала, но сердилась на тебя, да, сердилась-кипятилась, как фурия, но всё же оставляла тебе надежду, я лишь с прохладцей предупреждала, что вернусь не сразу, хочу крюк сделать, завернуть в Голландию.

– В Голландию? – Липа, всё шире улыбаясь, строчил. – Что такого могло быть в маленькой заштатной Голландии, чтобы предпочесть встрече со мной...

– Сыр! – отрезала Анята.

– Какое низкое коварство... – Липа строчил, строчил. – Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая, а ты...

А Анята, упиваясь ролью комической старухи, указательный пальчик, как дуло пистолетика, в его сторону выставляла...

А Липа, продолжая строчить, уже плакуче затягивал:

– Паду ли я стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она...

В коробочке – разноцветные леденцы.

– Что тут невероятного? – удивлялась. – Я была в растрёпанных чувствах, на сладкое потянуло... Старая-престарая коробочка с монпасье, я куда-то в угол, богом забытый, её задвинула, потом было жалко выбросить.

Однажды – силы ещё окончательно её не покинули – Анята собственноручно, хотя и с помощью Липы, поддевшего крышку ногтем, открыла коробочку; отдельные конфетки потеряли яркость и блеск, поблекли, стали матовыми, как сухие пляжные камушки... и – срослись; в коробочке лежал, заполняя её, круглый, многоцветный, чуть липкий на ощупь камень.

Захотелось окаменевшую конфету лизнуть.

– Нет, ты, Юра, только понюхай, – порекомендовала Анята и сама, не скрывая удовольствия, понюхала первой; еле уловимый аромат, тонкий и сложный.

Анята хранила аромат прошлого?

Липа, помнится, тоже тогда понюхал... И лицо Липы, обычно напряжённое, ибо космические задачи неохотно отпускали мысли его на волю, каким-то расслабленно-мечтательным стало.

А пришло время лекарство принять, так, подавая Аняте на ладони какую-то чудодейственную гомеопатическую горошинку и – сразу – чашку с водой, Липа не удержался даже, задекламировал:

– Татьяна то вздохнёт, то охнет; письмо дрожит в её руке; облатка розовая сохнет на воспалённом языке.

Анята, запив горошинку, тоже не удержалась, минималистским, одной ей доступным жестом изобразила рукоплескания и обвела затуманенным взглядом комнату:

– Я всё, Юрочка, думаю, думаю, что тебе на память оставить?

На полке также сохранилась книжка Николая Фёдорова в аккуратном самодельном переплёте из красного протёртого бархата с металлическими накладочками на уголках, тощая, с надорванными бумажной обложкой и титулом брошюра, отпечатанная в губернской калужской типографии, заполненная соблазнами инопланетной жизни; и томик Надсона, и один из романов Чарской – не запомнил, какой именно роман, терпения хватило на две-три страницы приторной скуки, – и в комплекте с Чарской были «Ключи счастья» Вербицкой. Чарская с Вербицкой сопровождали Аняту в странствиях по миру с гимназических лет. Два душещипательных романа на полке разделяла папочка с любовно вырезанными из газет рисунками-карикатурами Владимира Гальбы. И ещё были «Сказки братьев Grimm», затрёпанный, зачитанный Анятой до дыр Шопенгауэр на немецком языке, «Алиса в стране чудес», с чудными иллюстрациями, на английском... Да, как не вспомнить – Анята, быстро выучившая Юру начальной русской грамоте, не раз находила повод предупредить его со своей многозначительнейшей, будто бы через силу выведенной усмешечкой:

– От Сони вчера весточка из Кемеровской области пришла, скоро срок ссылки её кончается... Бедная Соня, ни кола, ни двора, но, тьфу-тьфу, выжила. Если ты, Юра, даст бог, попадёшь в цепкие руки Сони, она сразу начнёт тебя обучать французскому, и – поверь, – непохоже, чтобы удалось тебе вывернуться: не выпустит из рук, пока не выучит... – Анята уже

не усмехалась с ехидцей, а ласково улыбалась. – Берегись! Соня, если всё же рыпаться вздумает, будет тебя шпынять, даже тиранить, и непременно припомнит, что у твоей мамы девичья фамилия Валуа, а королевскому отпрыску, как понимаешь, сам Бог велел...

Да, Анюта отлично знавшая, но почему-то, возможно, из-за тягостно неприятных впечатлений, которые произвели на неё в Париже и социалисты, и буржуа, не очень-то жаловавшая французский язык, хотя отдельные французские словечки машинально вставляла в речь, частенько принималась читать ему то, к примеру, сказку про горшок каши по-немецки, то «Алису в стране чудес» по-английски, чтобы он понемногу учил, впитывая звуки, языки, но – стыд какой, стыд какой, приговаривала Анюта, – он ничегошеньки не понимал и откровенно скучал, хотя и не ерепенился, а Анюта – вот уж упрямица, так упрямица – говорила, что такую учительницу, как она, надо бы гнать взашей, однако, не желая делать ему поблажек, ни словечка не переводила на русский, сама же восторгалась, дёргалась от смеховых судорог, как ребёнок, и даже зажмуривалась от удовольствия... Впрочем, во время медлительных их прогулок она всё же пересказывала по-русски самые умные, по её словам, и при этом самые остроумные, самые смешные места. Улыбка чеширского кота, отделявшаяся от кота, особенно её восхищала и забавляла... И ещё на книжной полке сохранились подшивки старых ветхих журналов – «Нива», «Русская усадьба», казалось, тех же журналов, которые Юра зачарованно листал ещё в эвакуации; во всяком случае, в Анютиных журналах он нашёл знакомые гравюры, включая, разумеется, и те две гравюры с хрестоматийными, самыми выигрышными видами Петербурга и Венеции, те, которые Сиверский повесит вскоре над Юриной кроватью, рядом с окном.

\* \* \*

Окно его комнаты, то есть окно той комнаты, где обитали Анюта с Липой и в которую после их смерти переберётся Юра – жизненное пространство расширилось, мало что мама пела в Мариинке и была ведущей солисткой, так и Якову Ильичу, заслуженному архитектору РСФСР, кандидату наук и лауреату Сталинской премии, до того, как он окончательно получит по шапке, полагалась дополнительная жилплощадь, потом ему даже большую отдельную квартиру – за полгода до громогласного начала опалы – успеют дать, но это потом, потом, а пока освободившаяся комната досталась пасынку; первым делом антресоль над дверью сломали, всё старье выкинули... Итак, окно смотрело на Звенигородскую улицу, хотя самой Звенигородской, уходящей влево, из окна, если не высовываться, не было видно. Правда, удавалось увидеть внизу искрившую зелёными искрами дугу и грязно-серую, с драгоценно сверкавшими чёрными коростами битума и какими-то заляпаннами битумом электроящичками по центру, под дугой, крышу сворачивавшего с Загородного на Звенигородскую – или со Звенигородской на Загородный – трамвая: на скруглённом повороте в шарнирной сцепке между вагонами трамвай драматично разламывался на части-вагоны, а оконное стекло музыкально вздрагивало. Если же дело было летом, в открытое окно залетал скрежет колёс о рельсы. Но вот трамвай, поднатужившись, наконец сворачивал, и прямо перед окном вытягивался вдаль Загородный проспект, вернее, самый жалкий участок Загородного проспекта – Германтов не понимал, чем, собственно, мог любоваться Яков Ильич, когда выходил на балкон, когда раскуривал, глядя вдаль, трубку? Как такое с блистательной столицей империи могло стрястись? Город не где-нибудь на задворках, а в самом центре своём будто бы прерывался и до угла Гороховой был не городом вовсе, а заштатно-безликим каким-то пригородом с длинным-предлинным, как склад, грязно-розовым, с редко посаженными окошками и выстроившимися в неровный ряд над карнизом большими и маленькими печными трубами, низким домом на одной стороне проспекта, а на другой стороне – с грязно-зеленоватыми, соединёнными дощатым забором низенькими типовыми корпусами бывших казарм лейб-гвардии Семёновского полка, с буль-

варчиком, уставленным на всём протяжении его по краю аллейки, спинами к казармам, монументально-бутафорскими досками почёта с отслаивавшимися на углах листами побуревшей фанеры, а также покосившимися газетными и афишными стендами. Иногда вдоль бульварчика зимой прокладывали лыжню. В морозный солнечный день лыжня бывала синей, густо синей, а снег поскрипывал под подошвами; бывало, узорчатые следы птиц оттискивались на податливой белизне, ветер сдувал снег с крыш казарм, завихрялась снежная пыль...

И оживало на миг давнее воспоминание.

Однако – на миг, всего на миг. Снег на том убогом бульварчике был каким-то ненастоящим; только что выпавший снег лишь ненадолго оставался белым, пушистым, а промерзая – чистым и поблескивавшим, таким, каким всю долгую зиму был снег в костромской деревне, в эвакуации; снег на бульварчике быстро делался серым, испещрённым угольными чёрными точечками...

Не деревня, не город. Город нарочито пропадал в этой невнятной пространственной заминке, словно, исчезнув, где-то с силами собирался, чтобы чуть поодаль, у Витебского вокзала, вновь возродиться?

– Да, мой дорогой ЮМ, градостроительная пауза, такое бывает, – несколько церемонно скажет Германтову через много-много лет Штример, когда они, выпивая, вспомнят эпохальные вечеринки, которые закатывал Сиверский в доме на Звенигородской, вспомнят вид с балкончика на бульварчик, тоскливо тянувшийся вдоль забора и низкорослых казарм. – Однако же, согласитесь, после воздушной той паузы Витебский вокзал возникает как сказочный мираж.

Германтов кивнёт.

Мой дорогой ЮМ... Если бы Анята в пору их счастливых прогулок по бульварчику с тощими деревцами могла знать, что безо всякого амикошонства, а уважительно, хотя с разными интонационно-смысловыми оттенками в будущем станут кратко называть её племянника ЮМом, она, наверное, была бы довольна – по крайней мере, она уловила бы положительные фонетические ассоциации: всё-таки явное созвучие со словом «ум»; да и слово «юмор», такое близкое Аняте по сути своей, не стоило бы сбрасывать со счетов. Но это лишь приятные звуковые совпадения, да? А Анята чтит философию, и скорей всего вспомнила бы про Юма – Юм был ведь знаменитым, да ещё с любезным ей идеалистическим душочком, философом. Сам же Германтов – с удивительной последовательностью раскладывался судьбоносный пасьянс! – когда повзрослеет близок будет к юмовскому пониманию агностицизма, констант человеческой природы, психологии художественного восприятия...

– Не обязательно в Версаль ехать, – между тем медленно продолжит Штример, по обыкновению своему мысленно оттачивая концовку фразы, которую собирался произнести, – приём «ах-ах», с внезапным вокзальным миражом после паузы, поджидал вас в двух шагах от вашего дома.

Собственно, и одоление «двух шагов» этих превращалось для Аняты в подвиг; на Дворцовую площадь, на набережные Невы она давно уже, по её словам, лишь на крыльях мечты летала, а вот к Витебскому вокзалу, когда благоволили к ней биоритмы, всё-таки могла, пусть и через силу, держа Юру за руку, дойти на своих ногах; эти прогулки по бульварчику – по «нашему променаду», как она говорила, – Анята называла бесплатным счастьем.

Ей и бодрящие команды-присказки помогали первому шагу; ох, – вздыхала, преодолевая сомнения, – хочется и колется, но... Но чаще всего она браво провозглашала: с места – в карьер!

Божий одуванчик на прогулке.

Божий одуванчик – упрямый, твёрдый и не сворачивающий, если упрямым, твёрдым и не сворачивающим может быть одуванчик. И конечно – незабываемый.

– Не подумай, ради бога, что я синим чулком была. Я часто тогда влюблялась, порой безнадежно влюблялась, безответно – *grande passion*, понимаешь? Правда, я была чересчур пылкой, нередко оставалась внакладе.

Медленно шли, еле переставляя ноги, Анюта говорила с улыбкой.

– В тихом омуте черти водятся – это, Юра, святая правда, но сейчас реалистичней для меня было бы употребить прошедшее время: водились.

Вылиняло-лиловый, надвинутый на бесцветные брови фетровый беретик, так энергично надвинутый, что и сморщенного-то личика почти не было под ним видно, старое-престарое короткое бежевое пальто с лисьим, изъеденным молью воротником, расклёшенное, словно раздутое ветром, с приподнятым хлястиком и расходящейся складкой на спине; какой-то гриб трухлявый с обвислой шляпой.

– Юра, сейчас я в чучело превратилась, отцвели давно хризантемы в саду, понимаешь? А раньше... – её голова дрожала. – Не поверишь, но за мной как-то даже на Садовой офицер увязался, – хихикнула, – усатый, стройный, как кипарис. Раньше я ужасно привлекательная была, ужасно, во мне в отличие от постных «благородных девиц» была, как говорили тогда, перчинка, – улыбнулась, – перчинка-изюминка, понимаешь? Правда, я и в бальзаковском возрасте сердца вдребезги разбивала, от меня ведь не один Липа был без ума, за мной ухаживали, и это, поверь, выливалось не в какие-то там шуры-муры – по пятам за мною ходили, на колени бухались, не подстилая соломки, мне безумные и жертвенные, с угрозами застрелиться или утопиться, письма писали и вкладывали их в огромнейшие букеты белых роз, в верности-преданности до конца дней своих клялись, ждали, что отзовусь, двое так и до сих пор ждут...

Германтову вспомнились ветхие жалкие старички у её гроба.

– И я тогда сдуру выбрала себе идеал. Знаешь кого? Графиню Самойлову, модель и возлюбленную Брюллова. Смех и грех, выбрала себе идеал, грезила им, хотя сама моделью, хоть озолотили б меня, не стала бы, мне терпения бы не хватило позировать, часами сидеть, не двигаясь, да и художникам бы со мною не поздоровилось, я бы замучила их глупыми вопросами. И вот даже на твою долю я вопросик приберегла: скажи, Юра, модель сидит, не шелохнувшись, позировает, а потом, по готовому портрету, можно определить, о чём она думала, пока позировала, что у неё было на сердце? Она, Наталья Самойлова, сказочно богатая и своенравная, вела себя очень независимо, очень, потрясающе независимо, и это, а не богатство её само по себе, богатству я бы не позавидовала, было для меня важно. Да, в столичном свете, на балах и в салонах, графиня выделялась не только редкостной красотой, но и свободным своим нравом, спровоцировала недовольство двора, куда там! У самого его императорского величества Николая Павловича её своеволие вызвало раздражение, ей намекнули, что с таким неподобающим поведением... И что только ей в спину не говорили, а злые языки – страшнее пистолета, так ведь? Самойлова расплевалась с высшим петербургским обществом и укатила в Италию, купила дворец на озере Комо, окружила себя художниками. Скажи, Юра, если модель – ещё и возлюбленная художника, картина получается лучше?

Помолчала с робкой полуулыбочкой, словно ждала от него ответа.

– Понимаешь, это почему-то большой вопрос для меня: любовь художника – просто любовь, как у всех нормальных людей, или ещё и усилитель-ускоритель самого таланта и вдохновения, какой-то волшебный двигательный придаток к обычным, продающимся в любом магазине кистям и краскам? Вот – Брюллов и Самойлова. А ещё в письмах Щепкиной-Куперник вычитала я про любовь Левитана к Кувшинниковой, с которой он ездил в Плёт на этюды, про несчастную любовь к чеховской сестре Маше, Левитан ведь стрелялся от любви к ней, Чехов едва вылечил... Вот я, за живое задетая, и спрашиваю: как счастливая ли, несчастная любовь отражались в картинах-пейзажах, как?

Помолчала.

Потом – вздохнула.

– Я была отчаянной модницей, да, отчаянной, за чистую монету прими! На заказ сшила себе длинное чёрное пальто с большой, отороченной снежно-пушистым песцовым мехом пелериной на пуговицах, пристёгиваемой к воротнику, – с увлечением рассказывала Аня. – Чтобы пофорсить, я, Юра, надевала большущий, расплющенный, лихо сползавший на ухо, да и на полщеки, плюшевый зелёный берет, напяливала пальто и ездила в открытом ландо; как загадочная Незнакомка ездила, понимаешь? Допускаю, то пальто сейчас выглядело бы старомодным, но оно до сих пор на антресоли хранится, жаль в шурум-бурум отдавать...

Осень – золотым листопадом не успевали налюбоваться – накрывала холодными ветрами, дождями, и улетучивались воспоминания о лете, и чернели голые мокрые деревья, подпиравшие тучи, и вот уже зима заставляла одеваться потеплее, валил мокрый снег или ударял мороз... А вот уже и плавали-тонули деревья, прохожие, машины в весенней распутице, вода хлюпала под ногами, а они, Аня и маленький Юра, шли, медленно шли вдоль бульварчика: одна ласточка обычно весны не делает, но вдруг, специально для нас... Аня была тогда ещё хоть куда! «Вперёд, смелее и быстрее вперёд, вперёд, с черепашьей скоростью, но – вперёд: смелого пуля боится, смелого штык не берёт», – озорно шептала-напевала она и еле-еле, осторожно, но одновременно с какой-то показной удалью и шаловливостью, какой отличалась она, надо думать, в свой счастливый киевско-парижский период, передвигала несгибаемые ножки в стоптанных, с косыми застёжками на кнопках, прорезиненных ботиках, из последних силёнок пыталась сжимать Юрину ладошку в своей твёрдой ладошке, чтобы он не выскользнул, не утонул в этой, весело и радостно ворчала, непролазной, хлюпающей грязи.

Тактильная память сохранила свойства её ладошки – твёрдой, прохладной и какой-то ласково-гладкой, пергаментной, но необъяснимо гладкой, её касание было таким приятным – нет, нет, не пергамент, а отверделый бархат или... твёрдая лайка? И солевые узлы на суставах пальцев тоже были твёрдыми, как камушки, обтянутые кожей, но – будто бархатными...

В памяти Германтова домашние диалоги Ани и Липы смешивались с Аниными монологами на прогулках.

– Царь ненавидел Думу, себялюбцы-думцы хотели уничтожить царя, и вот все игроки доигрались! «Царь отрёкся, царь отрёкся», – кричали на всех углах продавцы газет, долго каркали, как вороны, и накаркали, но царь-то не сам отрёкся, Юра, его политики-проходимцы, недавние ура-патриоты и генералы-предатели отречься вынудили, понимаешь?

– И что с царём стало потом?

– Его убили потом, я говорила уже...

И сразу:

– На Дворцовой площади, в темноватом подъезде Губчека, выстрелил в Урицкого молодой поэт, мститель Канегиссер – вынес идейному палачу свой романтический приговор и попытался дать дёру на велосипеде, но уже на Миллионной его схватили... После того ритуально громкого выстрела Канегиссера и скорой расправы над ним самим все мы растерялись-перепугались, что будет, что с нами, бедными-несчастными, будет, причитали, гадали, надолго ли нас всех припёрли к стенке, а уж потом – или не потом, а на другой день после выстрела Канегиссера? – едва позорный мир заключили в Бресте, провокатор Блюмкин, наш, киевлянин, я к нему в мужскую гимназию на балы ходила, выстрелил в Мирбаха, германского посла, а слепондыра Каплан неудачно выстрелила в главаря революции и мирового пролетариата, промахнулась, можно сказать, и начался красный террор...

– А что с самой-то Фанни Каплан стряслось?

– Её сожгли.

– Как сожгли?! – Липа нервно снимал очки.

– Так, заживо! В железной бочке с бензином, на заднем дворе Кремля; столб чёрного дыма долго подпирал московское небо.

– Откуда у тебя эти подробности?

– Из сарафанного радио.

И, как кажется, на бульварчике она тот разговор итожила:

– Стреляй, не стреляй в палачей-вождей, а доходило постепенно до последних из безмозглых мечтателей, что всемирная справедливость – сказочка для мелких людишек, а реальная большевистская власть – надолго, как скука смертная с обязательными кровопусканиями, потом... – очередной, не по Краткому курсу, урок. – И как по доброму ли, злому, но таинственному заказу, не иначе как для того, чтобы об общей долгой беде правдиво предупредить, у многих наших знакомых зеркала в те дни разбивались, обещая всем нам годы несчастий. Время свинцовое всех нас, будто тучей, накрывало, придавливало и побеждало неотвратимо. Едва вздохнули при НЭПовских послаблениях, как уже снова тиски сжимали, сжимали... – вот когда надо было её об отце расспрашивать, сожалел Германтов, хотя понимал, что тогда, у Семёновских казарм, он ни о чём серьёзном её распросить не мог.

\* \* \*

Шажок за шажком, шажок за шажком – медленно, осторожно передвигая ноги, огибали большую небесно-синюю лужу, по которой ветер гнал рябь. Ой, как бы выйти нам из воды сухими; Анюта шутила, чем-то всякий раз дополняя свои безразмерные сказы о незабываемых киевских и парижских бульварах, неожиданно выпячивала выпадавшие на её долю опасные, и не только военные или революционные, приключения, ей и в мирные-то вполне времена доставалось, по её словам, на орехи, ей ведь приходилось за долгую свою жизнь выпутываться из многих рискованных переплётов.

Германтов до сих пор не переставал удивляться – обычно детям рассказывают умные и добрые сказки, выразительно зачитывают стих про золотую цепь на дубе, учёного кота, а она...

– Не исключая, что всё затеяли закулисные злопыхатели, чтобы лживым бульварным газетёнкам потрафить, – начинала остросюжетный рассказ Анюта, а Юра поглядывал на газетные стенды с побитыми дождём и ветром, отсыревшими «Ленинградской правдой», «Вечерним Ленинградом» и «Сменой»; ветхие покосившиеся газетные стенды, словно иллюстрируя иронично её рассказ, выстроились вдоль убогого, с тощенькими деревцами, бульварчика.

– Ума не приложу, как меня туда, на праздник тугих кошельков, занесло! Я на фешенебельном званом том вечере пожадничала, много вкусного всего слопала, да и савиньонское каберне там лилось рекой, а вот атмосфера, сама атмосфера была, признаюсь, неаппетитной. Выросший из-под земли доброхот-ухажёр какой-то – гора мышц а-ля Поддубный, с нафабреными усами, шепча пошлости, желая поскорей вогнать меня в краску, исправно мне наполнял бокал, да ещё я, дурёха, в духоте, от которой плавилась помада и румяна, два стакана холодного оранжада выдула, – увлекалась Анюта, хотя куда благоразумнее было бы воздерживаться от излишеств в еде с питьём, поскольку в животе её непристойнейшим образом забурчало. Или, ещё лучше, пошляку, едва рот открыл, но не успел ещё окончательно распоясаться, надо было отвесить пощёчину или психануть, шарахнуть по башке ридикюлем и сразу уносить ноги, так как помощи мне ждать было неоткуда, но я, ужасная фаталистка, наплевала на мрачные предзнаменования, чему, подумала, быть, того не миновать, мне даже захотелось, поверь, до смерти захотелось для этого гурта разношёрстных мошенников, ловких на все руки, отмотать что-нибудь из ряда вон; и – есть упоение в бою! – она, как в старых добрых романах с приключениями и геройствами, побеждала в конце концов непременно – побеждала, несмотря на тяжесть в животе, лицемеров-преступников выводила на чистую воду, спасалась от скрежещавших злобно зубами, задыхавшихся в бешенстве преследователей, отбивалась от обвинений то ли полицейского, то ли городского, то ли милиционера, обвинений абсолютно надуманных, несправедливых...

Она без видимых усилий, без натуги, поднималась над обстоятельствами и потому – побеждала?

И – при этом – следовала законам жанра? Поверженное и посрамлённое зло, обязательный happy end...

– Среди шумного бала, случайно... – не без самоиронии запускала она очередной рассказ... и замолкала – не лучше ли попридержать язык? И уже еле заметная улыбка трогала губы. – Я ужасно переволновалась, Юра, на правую руку надела перчатку с левой руки... И, готовясь к схватке, даже непроизвольно зашипела, зашипела зло, как гадюка... и, поверь, я ни минуты не сомневалась, что одержу победу... И вообще, как ты убедился уже, я предпочитаю быка за рога держать...

И вновь замолкала.

– Так, бузина в огороде уже цветёт, цветёт и дурманит, осталось командировать в Киев дядьку, – шептала Аня, хотя сама думала о том, как бы половчее обойти лужу; многое она наверняка весело привирала, чтобы очередной завлекательный рассказ, умело выдерживаемый ею в жанре «бульварного чтива», получился поинтереснее.

– Думаешь, я выжила из ума или так умело завираюсь, что барон Мюнхгаузен мне завидует? Я хоть смешу тебя своими небылицами?

Юра слушал, благодарно слушал, хотя далеко не всё понимал, словарный запас его расширялся чересчур быстро – куда быстрее, чем мог он понимать смыслы, но он слушал её и блаженно внимал мелодии слов, многие из которых слышал впервые, как если бы Анятины рассказы – «завлекательные, но пустые», самокритично улыбалась – теперь компенсировали неспетые ему колыбельные... И ещё, ещё: в рассказах её он обретал защищённое персональное пространство – слова Аняты, казалось, ласково пеленали; слова – как тонкая и отбелённая бязь...

Как нравилось ей напускать на себя таинственность!

И еле передвигая ноги – воображать себя другой, совсем другой: той, которой не стоило бы попадать под горячую руку, удалой, смелой, азартно весёлой.

– Ситуация была дьявольски запутанной. Дьявольски запутанной, понимаешь? Это и слепому было бы ясно! А я, конечно, не сразу догадалась, как были распределены в той пошлой трагической комедии роли, и чего все они, пригласившие меня, загадочную брюнетку, как сказал лысый толстый прощелыга-жуир с вонючей сигарой, колоритный, доложу тебе по секрету, в шутовской феске с кисточкой, которую то снимал, то надевал, тип, там от меня хотели. – Приторные любезности и тошнотворные комплименты, хихиканья, болтовня с жалобами на подагру и затасканными остротами, на дамах, неотличимых от дам полусвета, – сверхсмелые декольте с фальшивыми бриллиантовыми колье, асфодели в напольных вазах, бутылки в ведёрках со льдом, какая-то сладкая отравка в графинах... И тут из вестибюля с песнями ворвалась, прорвалась к столам ватага франтов каких-то в масках, и натужное веселье закрутилось с новой силой, да так, что захотелось воскликнуть «Ах!». Вдобавок к сорока бочкам арестантов ещё и запорхали на эстраде с декорациями пряничных замков дряблые воздушные грации с наведёнными жжёной пробкой бровями. К чему всё это? Пируэтами меня увлекают в сказку, где капканы расставлены? До сих пор меня жуть берёт! И знаешь, чего я не могла потом не подумать, припомнив две-три дрянных шпионских книжонки? Вавилонское то, с элементами маскарада, столпотворение наверняка секретными агентами кишело... Хотя успокойся, Бог миловал, никто меня не завербовал. Но что за нездоровый интерес к скромной моей персоне? Откуда уши растут? У них, богатеев с прилипалами, все – свои, все – на смазке-подмазке, если не на полном денежном содержании, и вдруг – я! И с какой стати в лепёшки расшибаются хозяева жизни и преданно хвостами помахивают, почему не поспешили на угощения с лакеями и церемонною сменой блюд, которые нормальным людям не по карману, с какой корысти корчат они из себя столь расточительных шутов? Впору было бы

захохотать в голос, но ответом моим было ледяное моё молчание, а сама я была холоднее мрамора! Не солгу, если скажу, что голова моя никак не варила и я сочла за лучшее ступать: выжидала, делала вид, что смертельно скучаю. Да и дым коромыслом не способствовал размышлениям – курили там, все напропалую, удушающе пахучую дрянь загадочного происхождения. Я поначалу, пока не принялась, закашлялась, боялась, безнадежно закашлялась, как дама с камелиями, – скорчила скорбно рожицу, как комическая старушка, выглянувшая из-за кулис мелодрамы. – Однако дым рассеялся, ларчик-то просто открывался, к великому, даже к величайшему изумлению моему, до смешного просто, – о, сколько ларчиков она успевала открыть за время одной прогулки! – А быть пятым колесом в телеге, я, само собою, не желала. И я, замечу без ложной скромности, не позволила бы комплиментарно вить из меня верёвки, но – учти! – я привыкла всегда, в любой драке брать верх умом, а не кулаками, понимаешь? К тому же я ещё одним убойным оружием обладала, я, поверь, и впрямь тогда была недурна собой. С меня-то... Ох, после того как умолк оркестр, начали обносить ликёрами, и поняла я, что попала в логово прохвостов и вульгарных мошенников и меня попросту вывести из себя хотят, а скрытые угрозы под поэтичным флёром выеденного яйца не стоят. Когда поняла, что к чему и что почём, кто верховодит и музыку заказывает и кто с кем и за какую мзду спелся, кто против кого, после того как удачно пыль пустила в глаза и заговорила зубы, – Германтову послышался Анютин сухой смешок, совсем рядом послышался, как если бы смешок тот залетел из прошлого в сумеречную спальню, – они из кожи вон лезли, чтобы произвести эффект и гнусными улыбочками понудить меня остаться, а с меня, – азартно, лихо, как кавалерист-девица, уже выпаливала она, – и взятки гладки, я говорила уже, что увилывать не привыкла? Однако терпение моё истощилось. Я, как ты знаешь, не трусиха, но решила не разжигать больше страсти и пойти ва-банк, – сколько раз она шла ва-банк за время одной прогулки? – Я хладнокровно направилась к выходу, после чего события в церемоннейшем высоком собрании стали развиваться с молниеносной быстротой, и маски все были сброшены, все... Из меня сделали как-никак гвоздь программы, чтобы на меня глянуть, валом повалила публика, и поэтому мой уход произвёл многофигурный фурор, форменный немой и оцепеневший фурор, как оповещение о скором появлении на сцене настоящего ревизора, понимаешь? Но уже спустя минуту, всего минуту, там, Юрочка, поверь, Юрочка, начался такой мордобой, такой мордобой... И, поверь, я все силёнки свои приложила, чтобы справедливость восторжествовала, – негодуя, едва приподняв ручку, уже вроде бы рубила она узкой ладошкой воздух, и, вроде бы засмуцавшись, сушила героические страсти свои, а через минуту всего с преувеличенными восторгами, словно единственная из оставшихся в живых свидетельница-очевидица всех чудес Света, вновь распространялась о своих путешествиях; ветры давних и дальних странствий и на этой мучительной прогулке по жалкому бульварчику вновь её оведали.

\* \* \*

– А-а-а, – заулыбалась Аня, – «Процесс о трёх миллионах», там, Юрочка, неподражаемый Кторов.

Да, завидев громоздкий фанерный стенд с киноплакатами, она уже подробно вспоминала про немое кино в «Пикадилли» или «Паризиане» с зазывно и празднично-переливчато мигающими лампочками над входами и отражениями их в чёрном мокром асфальте Невского. – Кино это покоряло её когда-то сказками про белошвеек, превращённых нэпом в демонических глазастых красавиц в бальных длинных платьях, с оголёнными до копчиков спинами, бокалами в руках, и их покровителей, вкрадчивых воров-бильярдистов в шёлковых жилетах, у которых, воров этих, когда, склонившись и вывернув набок головы, хищно целят и ударяют они в шары, бильярдные кии воспринимаются как естественные продолжения ловких рук, или лощёных, в угольных смокигах с белыми гвоздиками в петлицах, но бледных, как мерт-

вещи, хлыщей-картёжников из обедневших аристократов с прилизанными, блестящими от брильянтина, идеально разделёнными на прямой или косой пробор волосами.

– И едва фильм начинался, думала я: опять ни рыба ни мясо? Сколько ещё и, главное, чего ради будут они то выкатывать, то закатывать глаза, заламывать руки? Но, знаешь ли, Юрочка, кто они были на самом деле, кутившие напропалую, такие холёные и шикарные, такие неотразимые? Ведь ничегошеньки не понять весь фильм, они ведь немые, наобнимавшись-нацеловавшись, только рты открывают, как караси, выброшенные на песок, и бессмысленно пялятся, улыбаются, вот и изволь угадывать по их ужимкам и прочей неестественной, на камеру, мимике, что к чему и кто есть кто – угадывать, пока самовар с кипятком не опрокинут или стол, ломящийся от яств, не зальют кровью, чтобы стало всё ясно! Да, Юрочка, только под конец тех фильмов, когда кутежи до точки кипения доходили и выливались в кровавые оргии, когда сгребались с зелёного сукна купюры и взламывались под шумок кассы, выяснялось, что все они мало что воры, для отвода глаз прицельно гоняющие шары, мало что прохвосты-эротоманы, так ещё вампиры и шулера, вампиры и шулера, – заливалась сухим смехом, словно и над собой, купившейся на шик и блеск, поверившей в жуткую чепуху, смеялась.

И, разумеется, вспоминались ей затем военные фильмы; не раз тихонечко подпевала она Бернесу: «Любимый город в синей дымке тает...» – сразу легла ей на душу песня из «Истребителей». И «Тёмную ночь» в напряжённом молчании слушала она многократно, но всегда – будто бы впервые, шепча: «Тускло звёзды мерцают». И, само собой, многократно, на повторных показах в «придворной», как она говорила, «Правде», пересматривала «Жди меня», где так нравились ей Серова и Свердлин, не роли их, а сами они, живые, по-детски отождествлённые ею с экранными персонажами; их дуэт заставлял вздрагивать, замирать. «Помните – многократно спрашивала, – сцену фотографирования? Я, когда смотрела, будто наэлектризованная была и сидела как на иголках. Помните – упали с улыбками на диван, а Свердлин, которого скоро убьют, с фотоаппаратом... Помните прибауточки, смешочки, дурашливые манипуляции с салфеткой?» У неё бегали мурашки по позвоночнику, когда Серова – Анюта называла её просветлённой, грустной, беззащитной, но внутренне готовой к потерям девочкой, – испуганно и одиноко забившись в угол того самого дивана с высокой спинкой, остро вздёрнув худое плечико, дрожащим тихим голосом пела: «Понапрасну её не тревожь, только в сердце мельком загляни...» Анюта точно воспроизводила мотив, а слова какие-то пропускала, будто проглатывала, бывало, что подменяла. «Как можно заглянуть в сердце?» – подумал Юра, прислушиваясь: «Сколько ни было б в жизни разлук, в этот дом я привык приходить, – Анюта тихонько подпевала Серовой, – я теперь слишком старый твой друг, чтоб привычке своей изменить...».

– Мне больно, хочется её защитить, так хочется, а получится ли? – шептала чувствительная Анюта. – Я была в смятении, девочка оставалась беззащитной даже потом, в прелестной послевоенной кинокомедии, – Анюта уже мысленно пересматривала «Сердца четырёх», – разве не беззащитна Серова, когда так чудно поёт, покачиваясь в гамаке, в саду, когда ловко правит открытым модным авто, помните её, очаровательную, за рулём, в приспущенной на брови шляпке с ленточками-пёрышками? Бедняжка, у неё ведь ещё перед войной, до официального, но небесталанного поэта-фронтовика с усами, муж – лётчик, красавец, косая сажень, погиб в авиакатастрофе. – О, ясновидящая Анюта не иначе как прозревала во мраке грядущих, но не таких уж далёких лет концовку горестной судьбы беззащитной хрупкой своей любимицы, как если бы узнала про поджидавшее Серову, всеми покинутую, забытую после счастливых купаний во всенародной любви и славе, страшное и одинокое, наедине с бутылкою, умирание.

Так вот шли медленно по бульвару; Анюта, готовая погибнуть за правду, жадно заглатывала прекрасную ложь кино. Её навсегда покорили простые и искренние фильмы, в сюжетах которых сходились любовь и смерть, покорили саднящей, перехватывающей дыхание внутренней своей правдой, и, перемешивая от волнения обрывки оценок-воспоминаний, нахваливая

раз за разом тот ли, этот из незабываемых фильмов, она понемногу успокаивалась и чаще всего, опережая будущие экранные впечатления Германтова, принималась увлечённо пересказывать ему трогательную, но ещё и неожиданно-весёлую и оптимистическую, со счастливым концом картину «В шесть часов вечера после войны». Повернув к нему голову, со смехом объясняла, что странное свидание в шесть часов вечера после войны назначал ещё brave солдат Швейк, свидание в пражском кабачке «У чаши», только свидание то назначалось после Первой мировой войны, почти забытой и такой далёкой уже, на которой сестрой милосердия провоевала – от мобилизационного построения на плацу в присутствии государя-императора до постыдного, врассыпную, разбегания грязных и голодных солдат – ещё полная жизненных сил и патриотических иллюзий Аня.

– Я чуть не задохнулась в папиросном дыму в том прославленном кабачке, где все-все, обалделые, лопочут на разных языках, перекидывают друг друга, перемигиваются с соседями и подъёмом полных кружек приветствуют вновь вошедших, будто бы все они миллион лет знакомы между собой. И пиво я с тех пор в рот не брала, ни глоточка, ни капельки, горькое такое, противное, – помолчала, по-птичьей как-то повернула головку. – Юра, непедагогично тебя отправлять в пивную, где буянят весельчаки-пьянчуги и хлопья пены ползают по мокрым дубовым доскам, но ты вспомнишь меня, когда вырастешь, когда приедешь туда и... Понимаешь, Юра, мне ужасно приятно думать сейчас, что ты меня вспомнишь...

И он вспомнит Аня, когда и сам полночи пропьанствует в кабачке «У чаши» – в том вечном, все войны и дружеские социалистические оккупации пережившем, развесёлом дымном вертепе, конечно, вспомнит, попивая «Пильзенское», то самое, с неповторимой отдушкой хмеля.

Аняте было ужасно приятно думать, что её вспомнят...

А кто его вспомнит, кто? Далековато было, но доносились тоскливые гудки с перекрёстка... С набережной Карповки машины никак не могли свернуть и выехать на Каменно-островский?

Кто его вспомнит? Разве что – Игорь, больше вспоминать некому.

– Но покинули мы райские кущи... – о чём она?

И сразу, на ближайшем щите: «ЛАРИСА ГЕРМАНТОВА-ВАЛУА, вечер романсов», – читал Юра по складам, как бы хвастаясь, к радости Аняты, своим новообретённым благодаря её настойчивости умением, но в то же время не очень-то и веря, что эта роскошная, с крупными бордовыми буквами афиша приглашала на концерт мамы... Тот концерт в Малом зале Филармонии имени Глинки записан был на пластинку. «Гори, гори, моя звезда, гори, неугасимая», – пела мама, и он мысленно следил за подвижной, глубинной, гибко оконтуренной жирно-алыми губами тёмной её открытого рта. После аплодисментов и откашливаний наступала мёртвая тишина, и красивый грудной, взволнованный, неожиданно звонкий голос объявлял: Булахов, «Свидание».

«Лариса Германтова-Валуа» – всё-таки лучше, чем «Лариса Синеокая», – подумал Юра и сжал ладошку Аняты.

И – шажок, ещё шажок – Анята выпевала строчку-другую из какого-нибудь исполняемого мамой романса, и вдруг замирала, и вдруг, будто кто-то одёрнул её, предупреждала с максимально доступной ей строгостью в голосе:

– Запомни, Юра, нельзя сбрасывать гору необходимостей с плеч долой, чтобы постоянно порхать среди звёзд, нельзя...

Он порхал среди звёзд? Или – хотел порхать?

И – шажок, шажок.

Кто кого вёл за руку?

Шажок, ещё шажок... но куда удаль подевалась? Прошептала:

– Совсем безногая, совсем... а всё путь свой от самых истоков, *ab ovo*, понимаешь, снова хочу пройти, – и заулыбалась: – Совсем безногая, а будто бы – сороконожка. Знаешь, Юрочка, почему это я – сороконожка? У меня – не одна ахиллесова пята, и даже не две... Из-за уймы недостатков своих я многократно уязвима.

Пожалуй, всё же она вела.

\* \* \*

Ни на мгновение не забывала о главном, о сверхзадаче развлекательно-воспитательного мероприятия: упрямо, и впрямь с лютеровской непреклонностью, вела Юру к Витебскому вокзалу – не только потому, к примеру, что сентиментальность замучила, ибо с этого вокзала по-прежнему отправлялись поезда в Киев, где в это самое время вполне могли зацвести акации, но и потому, надо думать, что в качестве пространственно-многолюдного контрапункта к словесным романтическим излияниям-восторгам своим хотела показать ему, именно показать, жизнь такой, какая она была, есть и будет на самом деле, показать, как говорила Аня, вмиг перелицовываясь в поборницу реализма, даже натурализма, грубое до неприглядности кипение жизни со всем её свинством, но – в оболочке прекрасной архитектуры. А Юра, пока они медленно-медленно приближались к невидимой пока цели, к обещавшему материализоваться при приближении к нему миру, озирались, вертел головой и шёл, по определению Аня, задом наперёд. Ему нравилось с нелепого бульварчика посмотреть назад, на свой угловой, с большим, славившимся диетическими продуктами гастрономом, дом; этот дом так выделялся среди прочих окрестных домов башней, фигурными фронтшпицами, эркерами с чугунными, увитыми ажурными перилами балкончиками на них, на пятом, последнем этаже. И вот уже вырос-возмужал Германтов, закончил вполне успешно университеты свои, заслужил в своём кругу второе, уважительно-неформальное, имя ЮМ, снискал лекциями и книгами своими известность, причём, напомним, не только отечественную известность, но и международную, короче говоря, состоялся по всем статьям, высших научных степеней и престижных премий удостоился и даже уже незаметно для себя самого состарился, да и прижился-то он давным-давно на Петроградской стороне, на одной из милых поперечных улочек между Большим и Малым проспектами, а всё оборачивается по детской привычке, когда вдруг, раз за несколько лет, не чаще, заносит случай его на тот памятный, хотя уже с разросшимися деревьями и без газетных стендов бульварчик; и трамваи там не ходят уже, ни по Загородному, ни по Звенигородской, не грохочут, не заворачивают со скрежетом – закатаны в асфальт рельсы... И если доведётся вам синхронно, заодно с Германтовым, вдруг обернуться, заставив и самое время сделать попятный шаг, на одном из балкончиков, среднем на протяжённом фасаде, до сих пор – присмотритесь-ка, присмотритесь! – можно будет увидеть застывшего в гордом и задумчивом одиночестве, раскуривающего трубку Якова Ильича Сиверского. А уж когда особенно повезёт подгадать с помощью случая сезон и погоду, можно будет в мерцаниях белой ночи увидеть Сиверского в компании с развесёлыми пьяненькими гостями, азартно толкающимися из-за тесноты балкончика за спиной Якова Ильича, в залитом электричеством проёме балконной двери: гости что-то кричат нам, стараясь перекрыть самих себя, счастливо кричат и смеются, и по команде Сиверского – раз, два, три-и-и! – выпускают в опаловое небо стаю разноцветных воздушных шаров. Но прежде всего выделялся дом богатством и разнообразием отделки – солидностью полированного красного гранитного цоколя, огромными арочными окнами гастронома – арки облицовывались таким же красным и полированным, как и цоколь, гранитом; да ещё были на высоту двух, первого и второго, этажей рустованные пилястры из тёмно-бурого рваного камня, и вставки – между пилястрами – поблёскивали сизой керамической плиткой; дом выделялся основательностью и даже каким-то шиком.

\* \* \*

И достигали они большущего, едва ль не бескрайнего, пустыря, в который невнятно упиралась Гороховая – Германтов отлично запомнил, что Анюта подчёркнуто, с неизменной твёрдостью своей выговаривала: «Гороховая»; имя Держинского вслух произносить не желала, и затем, за глубоким вздохом, следовала фраза, совсем тогда непонятная:

– Здесь, Юрочка, казнили, вернее, намеревались казнить Достоевского, но царской или, вернее сказать, божеской милостью в последний момент смертную казнь заменили каторгой. Достоевский, взойдя на чёрный эшафот, думал вот здесь, где мы стоим, вернее, в каких-то двух шагах от места, где мы стоим, что прощается с жизнью. А как он мог не прощаться? Его ранним зимним утром привезли с подельниками из Петропавловской крепости в сопровождении конных жандармов с обнажёнными саблями, вокруг выстроились в каре войска, ему и мешок надели на голову, в барабаны начали бить, запомни это страшное место, запомни, здесь ведь и народовольцев потом казнили, но их, исторически безмозглых и озлобленных маньяков, бездушно-жестоких, хоть по заслугам потом казнили, за то казнили, что цареубийством они бредили и взорвали-таки царя-реформатора, – и ни словечком дополнительным не обмолвилась, – кто такой был этот Достоевский, за какие реальные провинности хотели его казнить и почему решили помиловать; а кто такие всё же были народовольцы? Ни одного имени жестоких и исторически безмозглых, поскольку никому воли не принесли, врагов самодержавия не назвала; сколько, однако, достойных имён впервые услышал он от Анюты.

И через два-три шажка напряжённого молчания, через два-три шажка справочных сообщений – там, где казнили, был потом ипподром, я там два лета выездке обучалась, брала барьеры, а зимой каток заливали, – Анюту прорывало.

– За что Достоевского хотели казнить? Не поверишь! Шили ему, как водится у нас, смертельно боящихся бесцензурного печатного слова, подпольную типографию, но не забудем о главном: за чтение-обсуждение в кружке друзей-единомышленников письма Белинского Гоголю хотели казнить, вот за что! С Белинского-то, когда-то самого Пушкина за повести Белкина в пух и прах разругавшего, что возьмёшь? Взбрело ему на умишко, что литература должна быть учебным пособием по правильному изменению жизни, вот и накатал он свою назидательно-претенциозную муру и как невольный провокатор вошёл в историю: гения Достоевского потом, найдя глупый повод, за чтение той высокоидейной муры охранители неизвестно каких устоев-порядков надумали в лапы палача сдать... Чего так Николай Павлович опасался? Декабристский бунт его на всю царскую жизнь перепугал? Да ещё потом во Франции последнего, – или предпоследнего? – ничтожно-декоративного Бурбона скинули, а нетерпеливые поляки-инсургенты, бредившие восстанием, тихой сапой в петербургских салонах обосновались, в тех самых салонах вольномыслия, где тогда и читали-обсуждали, как прокламацию, то письмо. Ох, как было не перепугаться, когда эпидемия революций и восстаний пронеслась по Европе, а своих поганцев-негодников, готовых трон опрокинуть, пруд-пруди, хотя... Может быть, интуиция замучила Николая Павловича? Были две абсолютные и самые пышные в Европе монархии, французская и русская, и вот французская монархия в крови утонула... и, может быть, предчувствовал наш самодержец кровавую участь русского трона и Николая II, правнука своего. Знаешь, как нервно, как возбуждённо встретил Николай Павлович свержение очередного французского короля, который уже был карикатурой на монарха? Ему сообщили об этом на балу в Зимнем дворце, и он по-молодецки, но срывающимся от волнения голосом, воскликнул: «Господа офицеры, в Париже революция, готовьтесь седлать коней!» А знаешь, почему так злоредны революционеры? Они – как жестокие прыщавые подростки, бездумно спешащие разрушить мир, хотя вполне могут быть в разрушительном раже своим рыхло-пузатыми, лысыми и небритыми, а порой мне кажется, что рево-

люционеры – не подростки даже, а ожесточённо злые, обиженные на взрослых дети, которые балуются со спичками. И не могу не заметить, что революционеры – всех возрастов, сословий – все они, как один, даже те, что образованны и умны, как, к примеру, и Герцен тот же, самый умный, глубокий, безвкусны в колокольню-революционном раже своём, понимаешь, безвкусны! Да, Юрочка, вдобавок ко всем кровавым дарам своим всякая революция с её лающими ораторами, обманными лозунгами, знамёнами – это апофеоз безвкусицы. Ох, прости, что я на эстетику отвлеклась, забыв о перепуганном Николае Павловиче, ох, трудно мне влезать в шкуру самодержца, просыпавшегося в холодном поту с нехорошими мыслями о революции, оценивавшего под нащёптывания придворных перестраховщиков угрозы того письма! Отпущу тебе, Юрочка, и вдумчивой участливости твоей комплимент: чувствую, ты растроганно вошёл в моё аховое, откровенно говоря, положение. Но что, Юрочка, коли мы не мнительные помазанники-самодержцы с тобой, чтобы во всяком чихе самовлюблённых краснобаев-ничтожеств смертные угрозы для империи находить... Французская властная чехарда, конечно, не могла не вызывать опасливого презрения: то реставрация, то республика, но сам подумай, что опасного для устоев абсолютистского русского государства, на взгляд разумных людей, в идейно худосочном и пустословно-пафосном письме Белинского содержалось? А на взгляд неразумных? Неужели венценосный Николай Павлович с присными своими не зря литературных прокламаций боялись и – «не пуцали», эшафотами устрашали? Неужели в самом деле... Неужели именно из-за призывов бездарного и выпендренного того письма потом, ещё через полвека, в паршивом роковом феврале, безмозглые и, главное, бессовестные политиканы-предатели аккуратненько накануне победы Антанты надругались над отважно воевавшей империей, трон в грязь и кровь повалили? Но я опять отвлеклась... И кто такой был, скажи, пожалуйста, Юра, этот чахоточный Белинский, чтобы свысока отчитывать Гоголя, который неизмеримо выше любых социальных идеалов и просветительских претензий на благотворно-всеобщую, одну на всех, истину? Гоголь недосыгаем, а этот придумывавший ранжиры для недоумков Виссарион, – брезгливую гримаску состроила, – Гоголя, как недоучку, как нерадивого школяра, песочил... А знаешь ли, как сам Гоголь в частном письме о критике своём отзывался? Дай бог память... «Апостол невежества, панегирист татарских нравов», каково? Я и Елизавете Ивановне, словеснице как-никак, доказывала с пеной у рта и, хочу надеяться, убедительно доказать сумела, что муру накатали пасквилянт Белинский, а priori – муру!

Германтов и не подозревал, что вскоре будет эту муру штудировать на уроках, а ударные высокоидейные фразы Белинского заучивать наизусть, хотя – вынужденно заучивать: промыванию мозгов, пройдя школу Анюты, он уже не поддастся; и вспоминать будет Анютины слова о том, что истину – если не азбучная она, как дважды два четыре, понимаешь? – в принципе, нельзя очертить и высказать, истину откровения здравый смысл, хотя я привержена так ему, вообще уничтожает, понимаешь – уничтожает? Недаром истина и в больных иступлениях-откровениях Достоевского лишь смутно угадывается, а – волнует, даже бурю может поднять в душе, истина Достоевским будто бы с разных сторон осмотрена, он – у кого-то из русских философов вычитала Анюта – будто бы многоглазый, у него будто бы не одно, а несколько зрений, вот искомая истина и двоится, троится... И не понять никак, дар многоглазия – проклятие или благословение? И знаешь, что, как подозреваю я, усугубляло его болезнь? Он неистово искал истину, понимая, что в России истина никому не нужна. А из его больных фантазий, как кажется, и поныне суждено рождаться особенным, причём самым омерзительным, с чертами, утрированными дьявольщиной, злодеям!

– Был, Юрочка, – скорбно вздохнула, брезгливо поморщилась, – был такой эсеровский террорист-бомбист и по совместительству полицейский провокатор Азеф – и террорист, и полицейский в одном, мягко говоря, безобразно отталкивавшем лице, лице двурушника, понимаешь? Я отчётливо помню день, когда террористы убили Плеве, министра полиции: мы с Липой сидели в кафе, ему стакан портера подали, знаешь, такой сорт пива, тёмный

и густой-густой, с коричневой пеной – врач портер прописал ему для профилактики малокровия, – а я пила чай, официант разносил газеты. Плеве я не жаловала, куда там, он, министр, позорно бездействовал в дни кишинёвского погрома, однако... Я в ужасе была, вся либеральная Россия, не желая думать о последствиях, рукоплескала терактам. Понимаешь? Ещё в прошлом веке студенты и курсистки прониклись сочувствием террористам, и что из их сочувствия выросло? Русская интеллигенция готовила революцию, а потом сама же этой революцией была уничтожена... От кровавой невероятности происходившего мне и почудилось попозже, когда Бурцев уже Азефа разоблачил, а Столыпин честно выступил в Думе и прояснилось, кто и что в Охранном отделении делал, что Азеф этот, руководивший подрывом своего начальника, своего министра, реальный во плоти, к сожалению, абсолютно реальный Азеф, выдуман и до своей последней гнуснейшей чёрточки вылеплен-выписан Достоевским!

Остановилась...

– Юрочка, ты понимаешь меня? Азеф всего-то одним из бесов был, которые тогда расплодились, но был он всё-таки не романном бесом, а живым, из мяса и костей, понимаешь?

Одним из бесов?

А народовольцы, которым сочувствовали студенты и курсистки, чем-то отличались от бесов?

И вдруг сказала:

– Хирург Дитрикс, находившийся у смертного одра Столыпина, вспоминал, что Столыпин хотел помиловать своего убийцу. Я, Юрочка, недолюбливала Столыпина, но за цельность характера и государственный ум ценила его, в нём реформатора от охранителя-ретрограда никак я не могла отделить, понимаешь? Может быть, такая нераздельность и нужна для естественности развития, может быть, реформатор и охранитель и должны совмещаться в одном лице – в государственном лице, понимаешь?

Бесов, бесов, – застучало в виске, – каких бесов? Прежде всего, он понятия не имел кто же такие Бурцев, Столыпин... Только и не хватало ему для узнавания-понимания свидетельств хирурга Дитрикса, и вовсе уводящих куда-то в сторону... Какая связь была между убийцей Столыпина и... Бесовская?

– Или, – помолчала, очевидно, мысленно перебирая в паузе имена злодеев-большевиков, которые она принципиально, для поддержания природной своей нравственной чистоплотности не желала произносить вслух, – или... Разве в шаржированном фюрере, бесноватом выродке, слепленном из натурального человеческого мяса, костей, волос, трудно увидеть фантастическое творение? – содрогнулась. – Усики, чёлка. Неужели это обычный, естественный продукт эволюции? А китель, сапоги? Это лишь одежды времени на Великом инквизиторе, предвиденном гением на все времена? Но, Юрочка, с какого боку на провидческий дар нашего мрачного гения, Достоевского, ни посмотри, догадываешься, что ни за что нельзя познать истину истоков-исходов во всей её полноте, ни за что, понимаешь? Потому и мир весь-весь понять-познать в его сверхфантастической сложности и полноте нельзя, и человека отдельного, который такой же сложный, как целый мир, тоже нельзя пониманием-познанием исчерпать. Что же до прямых писательских поучений, утверждений, будто бы практичных вполне предвидений, то как раз практичного-то смысла-резона в них никакого нет... – и, посмеивалась, заглядывая Германтову в глаза. – Велик пророк Достоевский, велик и как исторический прорицатель, а разве стал «нашим» Константинополь?

Но тут же... Неужели маленькая и слабенькая, еле живая Аня была прожжённой империалисткой? Она, будто бы мирно споря сама с собой, спрашивала: а если бы революция не помешала войну до победного конца довести, Достоевский бы оказался прав, мы бы получили Константинополь?

И... Анята, готовясь к очередному мучительному шажку, уже подбадривала себя наставлением Достоевского: страдать надо, страдать. И добавляла, как бы театрально бросая реплику в сторону:

– Я без задних ног уже, факт, но я не так глупа, чтобы поверить в силу, способную искоренить человеческие страдания, – и недоумевала: – О страдании, о зле он так страстно, так сильно пишет, а о добре, о любви – как-то безвкусно-сладко, – улыбнулась, – правда, безвкусно-сладко; противоречиво точная игра из двух слов получилась у меня, понимаешь?

Шагнув, спрашивала:

– Скажи, Юрочка, ты можешь себе представить чёрта в клетчатых брючках?

Он не знал, что ответить.

Но у неё уже был наготове новый вопрос:

– А это, Юрочка, как понять: человеку сколько счастья надо, столько же и несчастья надо ему?

Молчал растерянно...

А теперь понимал саму сверхзадачу её вопросов, напоминал себе раз за разом, что, ничего не рассказывая такого, что непременно рассказывают детям на правильных, настоящих уроках, она умела зацепить, заинтриговать.

– Гений всем мешает, всех раздражает, он, всегда единственный в своём роде, непрощенный и непредусмотренный, будто бы является вопреки усреднённой всеобщей воле и выкидывает как в искусстве своём, так и в жизни фортель за фортеlem. Вот и мне, превозносящей Достоевского за многоглазый поиск высоких и глубоких истин, вроде бы им же озаряемых каким-то высшим безумием, никак он не угодит: ну с какой стати он в зале Дрезденской галереи, заполненной чинными экскурсантами, в ботинках демонстративно на бархатную банкетку залез и нагло долго стоял над всеми? Раскапризничался бородатый ребёнок? Или нагло на банкетку залез, чтобы «Христа в гробу» удобнее было ему одному рассматривать поверх голов презираемых им бюргеров-буржуа? Дикая выходка? Нет, скорее всего специально и демонстративно он над этой публикой вздумал возвыситься, чтобы поизмываться, заодно и немца-служителя, у которого глаза на лоб вылезли, хотел позлить. И можно ли гения пристыдить за такой проступок, ведь гений – заложник своих демонов, понимаешь? Дальше – больше: гений из гениев, а безвольно сходит с ума от игры на деньги и перед дамами сердца, жалко и безвкусно воспаляясь, если верить его собственному дневнику или дневнику последней жены-стенографистки, почему-то как подкошенный валится на колени, ползает по полу и подола платья целует... Это разве не знаки душевной слякоти? Но, – колюче посмотрела на Юру, будто ждала немедленной реакции, – отчего же я, приверженная приличиям и здравому смыслу, шпиону за гением, истлевшим давно в могиле: немецкие игорные дома инспектирую, краснея до кончиков ушей от стыда, залезаю в чужие будуары? Я всё думаю – если б он не сгорал от порочной страсти к игре, не целовал мокрые и солёные от его горяче-жалких слёз подола, может быть, и писал бы хуже? Это для меня всё тот же больной вопрос, который я, пусть сузив и упростив его, задавала по поводу романтических союзов Брюллова и Самойловой, Левитана и Кувшинниковой, помнишь? Или каждый любовный случай-экстаз – особый и неповторимым образом каждое из любовных умопомрачений на художества с писательствами влияет? И не из-за таких ли вот реальных умопомрачений он в великих романах своих безвкусно так любовь переслащивал? У меня всё это уже не умещается в голове. А ты, Юрочка, представь, сам себе представь, если сумеешь пораскинуть молодыми мозгами и фантазию свою напрячь до предела, кому ещё на всём белом свете выпало бы вздорную inferнальную дамочку так безоглядно, так неистово преследовать в Кёльне, чтобы красы и гордости Кёльна, высоченного исполинского готического собора, хотя поезд почти к входу в собор подвозит, там курьёзнейшим образом не заметить? Что это – многоглазое ослепление? Да и как вообще писал он, доставая высшие смыслы и живейшие картины из глупой и мелкой подозрительности своей, из вздорных

приступов бешенства и надуманных обид, из метаний, из мнительности, вспыльчивости и низкого сладострастия? В гении столько всего намешано, столько в нём, прозорливце, и светоносного, и мрачного, гадкого, даже – грязного, он так пугает кричащими своими противоположностями, которые, позволю себе заметить, терзают-корёжат перво-наперво душу самого гения. Читая, к вечным тайнам прикасаясь пугливо, чувствовала, что неизлечимо искорёжен он сам, понимаешь? К всепрощению и любви, к спасению всех гонимых зовёт, а в стыдливом закуте своей широкой души прячет и холит примитивное манихейство? Или пуще того – прикармливает во всечеловеческой и отзывчивой своей душе зверя? Я – не из робкого десятка, но я чую горячее дыхание зверя, слышу рычание, вижу его клыки. Юра, ты следишь за выражением моего лица? Ты не ошибся: светлое чело моё тень накрыла. И знаешь, – вновь с колючим вниманием посмотрела, – чем всерьёз отвращал меня Достоевский? Ненавистью к евреям, глухой и тупой, патологически-необъяснимой какой-то для глубокого писателя ненавистью. Причём отвращение моё питала не только врождённая обида, уже тысячелетия свойственная евреям, которым не устаёт напоминать о ней голос предков, нет, я никогда бы не позволила себе спутать гения с черносотенцем! Нет, он гений, гений – твердила себе. Хотя, между нами говоря, на кое-каких страницах, будто бы специально для разжигания чёрных страстей адресованных своре озлобленных ничтожеств, с черносотенцем трудно было его не спутать! Ум непостижимого гения меня отвращал вдруг своей убогостью, а пронизательные глаза гения тотчас же застилались злобною тьмой. И поэтому я, – заулыбалась, – с присущей мне наивностью и бескорыстной пытливостью попыталась как-то сама с собою обсудить болезную тему, но в добросовестно-логичных рассуждениях своих, признаюсь, не преуспела, даже на йоту не приблизилась к пониманию. Для Достоевского евреи не народом были, а – поголовно – низким корыстным племенем; он, как и подобало поборнику добра, писал, что своё ли, общее счастье нельзя строить на страдании других, а на глумлении над другими, на отвержении других – можно? Скажи, Юрочка, я похожа на дикарку из презренного племени? Не по причине ли болезненной ненависти, угнездившейся в душевных потёмках, и обрёл злосудное наш гениальный, всемирно отзывчивый доброхот, многоглазый наш соискатель истины, а христианство самого Достоевского стало каким-то воспалённым, почти безумным? Это ведь всё равно, что Библию надвое разрывать, Ветхий и Новый Заветы стравливать...

\* \* \*

И, озираясь по сторонам, вздыхала:

– Он и Петербург не любил, потому не любил, подозреваю – а есть, верю, есть в подозрении моём изрядная доля истины, – что не ощущал небесного умысла, высокого исторического предназначения и волшебной внутренней сути его; для него Петербург, во всех бедах бедных людей виноватый, похоже, вообще сжался до затхлои коморки процентщицы, до тёмной лестницы, по которой с топором Раскольников поднимался.

\* \* \*

Итак, достигали пустыря, на котором казнили-миловали Достоевского и на котором – точь-в-точь напротив Адмиралтейства, чья игла поблескивала в далёкой и тёмной, резко сужавшейся перспективе Гороховой, – вырастет впоследствии скромно-коробчатый, без излишеств, ТЮЗ. Левинсон, помнится, скажет, подняв чашу с вином, превратившись в древнего грека и лукаво поглядев на Жука:

– Не знаю, стоило ли строить детский театр на месте, запомнившем публичные казни, но – поздравляю, это высокая честь! Как, Саша, неужели волею счастливого случая удалось вам поставить театр на священной оси башни Адмиралтейства?

И тут обгонял их, пыхтя, крупный мужчина с неподъёмным чемоданом, рюкзаком за спиной и... берёзовым веником.

– Да, – с деланной серьёзностью сообщала Аня, – куда конь с копытом, туда же и рак с клешней, понимаешь? Всем пора в баню, париться... – И вот уже – большое видится на расстоянии, учти, неизменно усмехаясь банальной мудрости, предупреждала на этом приметном месте Аня, успевая умильно поглядывать на уплывающую по траве изумрудно-зелёную тень, на зарастающую желтизной, будто куриной слепотою, лужайку, на солнечную, переполненную холодным золотом лужу, и, пусть и щурясь от набегов света, всегда вовремя предупреждала – вскоре показывался впереди, слегка, словно в припадке самолюбования собой в зеркале, отступив от Загородного проспекта, чтобы получилась площадь, вокзал...

Подавались чуть влево; свернуть к Витебскому вокзалу называлось в Анином лексиконе, «сделать крюк».

– Давно, очень давно, на месте вокзала была деревянная полковая церковь Семёновцев, её, сначала расположенную поодаль, примерно на углу Можайской, освящали в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, а затем перенесли сюда по повелению Екатерины II, но прошли годы, для царскосельской железной дороги понадобился...

Да, мираж.

– Это модерн, понимаешь, модерн? – сказала-спросила Аня. – А каков decorum... От модерна я всегда в приподнятом настроении, смотрю – и кажется мне, что сама я похорошела...

Впервые услышал надолго затем покорившее его интересны слово: модерн.

– Не понял? Юрочка, ты же на лету привык схватывать, а сейчас – не понял? Исполняю на бис...

От повторения ясности не прибавилось; я, наверное, тупица, – пристыжено спрашивал себя, – что за модерн, что за decorum, с чем едят?

– Ты думай, запоминай и думай, – подбадривала Аня, – в школе тебе всё-всё будут правильно-правильно объяснять, в рот класть и разжёвывать за тебя, и заставлять будут сидеть перед экзаменами, согнувшись в три погибели, над тупыми учебниками, но сейчас – учишь самостоятельно думать-соображать, – и принималась расхваливать Царскосельский лицей, где с начальных классов к лицеистам относились как к взрослым: преподавание велось по университетской программе.

– Знаешь, Юрочка, о чём я как-то подумала: можно ли ум увидеть? Ну да, увидеть: ведь сказать, что ум острый или глубокий, – это ничего не сказать, а вот если б можно было увидеть... И мне пришло в голову, что умы можно сравнивать с архитектурными стилями. Готический или ренессансный ум, каково? А что скажешь ты про барочный ум? Ловлю отблеск мысли в твоих глазах... – радостно засмеялась.

– А напротив того места, где стояла старая деревянная церковь и где появился потом вокзал, на другой стороне Загородного, вон там, где разрослись деревья, был возведён большой каменный собор в византийском стиле, понимаешь? Но собор тот разрушили большевики-безбожники...

Вокзал – как памятник неожиданно вылупившемуся из лепной скорлупы эклектики, энергичному и утончённому, но умершему молодым стилю?

Можно было подумать, что этот вокзал-памятник – центр мира.

Центр мира, в котором располагался магнит.

Германтов так и думал – к вокзалу подкатывали горбатые такси «Победы», люди торопливо тащили чемоданы, котомки, и из трамваев, едва останавливались, изливались чёрные людские потоки... Всех-всех притягивал вокзал; каким фантастическим благолепием дышал бы этот вокзал, будь он отреставрирован и умыт, а пассажиры – чистыми, достойными этой красоты...

– А в том крыле, закруглённом, – говорила Аня, – ресторан, когда-то туда утончённые обжоры, гурманы то бишь, съезжались к обеду, перетекавшему в ужин, со всего Петербурга, чтобы налопаться расстегаями, таявшими во рту, студнем с хрящиками, налимьей ухой, жирной-жирной...

У вокзала было два входа; у какой из дверей вокзала, тогда ещё не Витебского, Царско-сельского, от сердечного удара замертво упал Анненский?

Такси окатило грязными брызгами.

Один вход был слева, с вечной толчеей в узких дверях, под башней с часами; у дверей в почётном карауле также стояли старушки-нищенки с гноившимися глазами, и у узких дверей этих неизменно вздыхала Аня, так как всем нищенкам не могла подать милостыню; тут же шла бесхитростная торговля – анилиновые леденцы на палочках, чёрно-коричневые вязанки сушёных грибов, квашеная капуста, мочёная клюква, брусника... Другой вход, в правом крыле с рестораном, вход широкий, на три двери, судя по всему – главный и торжественный, под дивным куполом, был обычно, подчиняясь советским порядкам-ритуалам, закрыт.

Для нагнетания сакральности?

С удивлением обнаружил вдруг, что ребристый куполок над башней с часами был той же формы, что и большой, главный, вокзальный купол.

Хромоножка Пуля, наводчица Пуля, – в затрёпанном за много лет, испачканном давней извёсткой, навечно задубевшем салопе из тёмно-зелёного протёртого плюша, приобретённом, надо думать, со щедрой скидкой в «универмаге шурум-бурум». Синюшная, желтоглазая, словно навсегда заболевшая желтухой, одутловатая Пуля здесь, Пуля там – имя ли это было, прозвище? Как взбегала она, приволакивая ногу в грубом незашнурованном ботинке, по лестницам, тем узким, слякотным и замызганным; по лестницам в левом, как бы сугубо функциональном крыле вокзала спускались-поднимались приезжавшие-уезжавшие; на этих же лестницах просверливали толпу карманники, на разных площадках, выше-ниже, привычно облокотившись на чугунные перила, что-то показывали на пальцах друг другу колоритные, если не сказать, модные по-своему, босяки с ухарскими ухватками, и – вверх, вверх, к платформам, тащили внушительные мешки с буханками хлеба беспаспортные селяне, дабы подкормить родичей и скотину в тихо припухавших с голодухи колхозах Псковщины и приграничной с Псковщиной Белоруссии. И серолицые, непросыхающе-развязные завсегдаи-оборванцы – спившиеся окончательно босяки? – с трясущимися руками, лиловыми фингалами и свежими багровыми шрамами, толпившиеся под лестницей, весело, с кривляньями и солёными шуточками-прибауточками, перекрикивались с такими же серолицыми, как сами они, но яркогубыми молодыми женщинами, которые тоже за похабным словом в карман не лезли... И вдруг, как по какому-то бесшумному сигналу или невидимому знаку, лестницы пустели, вокзал затахал, будто бы вымирал, чтобы Аня могла сосредоточиться на поучительных премудростях святых книг. Но стоило зазеваться на одной из лестниц, когда, задрав голову и всё ещё прислушиваясь к рассказу о божеских наставлениях, Юра, словно во сне, зачарованно рассматривал облезлый свод или профиль карнизной тяги, как вдруг... «Не было печали, так черти накачали», – успевала с веселой обречённостью заворчать Аня, – как вдруг изо всех проёмов, сразу по всем лестницам могла сверху, с платформ, с животной напористостью и шумом, гамом повалить неукротимая вязкая тёмная толпа с ревущими детьми, рюкзаками, тюками, чемоданами и деревянными котомками, больно-больно подсекавшими ноги, ударявшими в спину.

– У них вши, вши, – панически уже предупреждала Аня, забывая свои весёлые сетования и, само собой, обрывая перечисление десяти заповедей.

Но поздно, поздно – завшивевшая толпа поглощала, несла, а Аня, дивясь точности библейских пророчеств, шептала:

– Пиши, Юрочка, пропало, последние стали первыми...

И тут получала она локтем в бок и шептала уже:

– Как бы мне прогулка не вышла боком...

Сверху напирали, толкали-ударяли чемоданами, котомками, и толпа, сдавив со всех сторон, несла вниз, вниз, да так неудержимо несла, что и при желании не получилось бы пересчитать ступени. И только вездесущая Пуля, одна Пуля чувствовала себя в той густой-прегустой толпе, как рыба в вольном течении; как удавалось ей оказываться то здесь, то там? На первом этаже – спасибо пробке у двери – удавалось выбраться из безобразного месива навьюченных тел в смрадный зал ожидания, где Аня, прошептав: «Тревога отменяется, мы спасены», возвращалась к предыстории, к чуду Синайского откровения, к несшимся с небес трубным звукам и громам-молниям, когда евреи, недавние египетские рабы, понурые и жалкие, испуганные, растерянные, поблуждав под водительством Моисея по пустыне, столпившись на восходе солнца у подножия пылающей священной горы, внимали философскому спору пророка Моисея и упрямцев-ангелов, пожелавших, чтобы Тора с десятью заповедями оставалась на небесах. – Но зачем им, ангелам, заповеди на небесах? Ангелы ведь не живут среди язычников и не могут соблазниться служением идолам, понимаешь? Никаких скидок на возраст, никаких... После того как Моисея, одержавшего идейно-практическую победу в споре с ангелами, накрыло облако на вершине горы, Аня без запинки... Однако, назвав все десять божественных заповедей, принципиальные отличия их от государственных законов, которые, увы, поворачивались, как дышло, Аня оставляла почему-то на другой раз. А на сей раз Юре, который успел привыкнуть к внезапным переменам в тематике её говорений, предьявлялся перечень достойных незамедлительного прочтения, захватывающих книг.

– Книг на белом свете много, очень много, их всё пишут и пишут, изредка пишут, конечно, таланты и даже гении, но куда чаще – посредственности, бездарности; к концу жизни выясняется, что читать надо немногие из книг. Только те книги, что могут уместиться на одной твоей полке, те, что и великие, и – близкие тебе, понимаешь? Вот, например, «Фауст», я, когда прочла по-немецки, давным-давно ещё...

На сей раз начинала она с Рабле.

– Я до слёз смеялась, до слёз. А знаешь, что есть лучшая музыка? Звон стаканов! Сейчас так сочно, так аппетитно, что облизнуться даже после сытного обеда захочешь, не сочиняют, рецепт утрачен.

Потом сравнивала Гоголя.

– На самом деле ни с кем не сравнимого, понимаешь? Картины и типы, созданные им, ни на что и ни на кого не похожи и поразительны, они невероятно смешны; боялась лопнуть со смеха и тут же чувствовала, что всё печально, ужасно, и от такой неустойчивости своих впечатлений, от двойственной природы самого сочинения, картины и смыслы которого вдруг начинали плыть, дрожать, колебаться, я испытывала что-то вроде морской болезни. Ничего более сложного и густого по содержательной начинке своей я, пожалуй, и не читала: то, думаю, поняла, это – поняла, а через строчку вижу – нет, всё совсем не так. Всё у Гоголя живое-живое, а будто бы – потустороннее, весь мир наш для него был фантасмагорией, понимаешь?

Но несравнимого Гоголя с Данте она лишь в том смысле сравнивала, что Данте в своей величайшей поэме всё задуманное осуществил – написал Ад, Чистилище и Рай, а Гоголь в «Мёртвых душах» своих, тоже в величайшей поэме, тоже, как и у Данте, трёхчастной, если судить по собственному гоголевскому плану, только первую часть, как бы условно-адскую, сочинил, вторую, про чистилище, сжёг, – сжёг на глазах плачущего слуги, а третью часть, райскую, где и сам Чичиков стал бы ангелом, и вовсе отказался писать, почувствовал, видимо, что гениальную первую часть «Мёртвых душ» не дано ему по литературным качествам превзойти, что даже ему, Гоголю, ему, которому только и ведомо было тайное будущее России, не дано написать убедительно рай, возделанный на русской почве; и вскорости в муках умер... Ну никак, никак не мог он дописать на должном – высочайше-небесном – уровне свою книгу и, наверное, от этого умер...

– Несравнимого? – переспросил.

– А как гениев сравнивать, как выбирать из них самых-самых – тараканьи бега устраивать?

Нельзя сравнивать... вздохнул с облегчением.

– И вот ещё почему «Мёртвые души» так и остались без продолжения, – заулыбалась, – потому, возможно, что Гоголь просто-напросто раздумал сообщать нам, куда именно мчится Русь... Я учила в гимназии наизусть, и тебя заставят учить: «Куда несёшься ты, дай ответ... не даёт ответа». Вот и Гоголь свой окончательный ответ бросил в пылающий камин, понимаешь?

Умильно на него посмотрела.

– Знаешь, Юра, – избавилась от хитрой улыбочки, тоже вздохнула, но уже тяжело, протяжно, затем заговорила серьёзно: – Перед Данте я благоговею и преклоняюсь, Данте как бог для меня, поэтический бог, разве он не творец выстроенной из слов вселенной? Но... я как-то подумала грешным делом, что каждый писатель, когда берётся за перо, хочет написать свою «Божественную комедию», чтобы самому себе и нам, алчущим духовного откровения, всё рассказать о жизни, любви и смерти, но писатели эти, в подавляющем большинстве своём, бездарны, никто о претензиях их на объяснение мира так и не узнаёт, так как сами претензии эти оказываются дутыми, и поэтому Данте один, один, никем не превзойдённый, с ним и сравниться-то в достоверности фантастических картин некому, разве что Гоголю и... Понимаешь? Но... я ещё, тьфу-тьфу, не выжила из ума, и, по-моему, никогда при обсуждениях сложных книг не числилась в твердолобых, но, Юра, знаешь ли ты, что за вопрос меня изводил много лет и не даёт до сих пор покоя? И у Данте ведь ад выписан убедительнее, на мой взгляд, чем рай, адские картины у него захватывающе, до замешательства с ознобом, зримы и ощутимы, от них кровь стынет в жилах, но и восторг испытываешь вдруг от сознания того, что родился когда-то на земле человек, способный это всё так пугающе подробно увидеть. Да, читая, я душевное равновесие теряла, терзалась, дрожь меня пробирала. Он будто бы не вообразил ад, а сам в аду побывал, в этом даже многие его современники не сомневались. Как-то бросились к Данте на улице в Вероне две женщины, понимаешь? Они вычерчивали палочками на земле круги ада, чтобы самим получше разобраться в его многократном, как у спирали, возвышающемся устройстве, и вдруг увидели идущего мимо закутанного в алый плащ Данте, попросили уточнить кое-какие обескуражившие их детали адского быта. А кто-то, напротив, высказал тогда простую, но глубокую мысль: ад, дескать, внутри нас, и поэтому зоркому Данте оставалось лишь заглянуть в себя. Правда, я сейчас, Юрочка, думаю вовсе не о местоположении и топографии ада. Вопрос мой, конечно, повиснет в воздухе, однако не удержусь и спрошу тебя во весь голос, – посмотрела ему в глаза: – Почему ад, именно ад, а не рай, так притягателен для искусства?

И тут мелко-мелко затряслась от беззвучного смеха и, глядя на Юрочку, принялась головой покачивать.

– Ты и не подозреваешь, что каким-то боком, – её душил смех, – во всяком случае, твой далёкий предполагаемый предок стал одним из виновников того, что наслаждаемся-мучимся мы страшными дантовскими видениями... Принц Карл Валуа, брат французского короля, командовавший небольшим войском, взялся, уж прости меня, хотя потомок за предка не отвечает, по вполне меркантильно-шкурным соображениям помочь римскому папе Бонифацию VII или VIII, никак не запомню порядковый номер этого загребущего Папы, подчинить Флоренцию Риму; во Флоренции усилились распри, начались политические передраги, в результате их победили враги Данте, и он отправился в горестное изгнание. Но, Юрочка, стоит ли нам теперь сокрушаться? Так думать, конечно, немилосердно, прости меня ещё раз за исторический эгоизм, но если бы у Данте жизнь сложилась благополучно, разве смог бы он увидеть и так выписать ад?

А потом смеховая дрожь оборвалась, сказала, что литература – школа чувств и мы все, читатели, в этой школе ученики; и ещё сказала, что мы сами что-то важное про себя, про свойства-склонности и черты свои, узнаём, когда невольно сопоставляем себя с героями великих книг... Ведь штучные герои эти, сказала, ещё и обобщённые человечьи типы: кто-то узнаёт себя в Одиссее, кто-то в Гамлете, кто-то в Чацком, допустим, или Печорине, а кто-то ни за что не согласится узнавать себя в Смердякове или Иудушке Головлёве, понимаешь?

Но вниманием её уже завладевал Монтень... Кто такой Монтень, когда и где жил? Сказала только, что всю жизнь свою Монтень прожил в замке.

– Кто-то из великих умов заметил: хорошо прожил жизнь тот, кто хорошо спрятался. Понимаешь, Монтень сумел хорошо спрятаться – он прожил свой земной срок во французском замке, в уединении, среди мрачных гулких сводов, крутых ступеней, грубо отесанных стен и – засеянных полей, лугов с перелесками, очаровательных, как просветы в рай, заключённых в рамы узеньких окошек-бойниц пейзажей. Прожил, поглядывая для отвода глаз на пейзажики, а на самом деле, – размышляя и внимательно всматриваясь в себя. Он всматривался в себя, чтобы написать внутренний свой портрет, а нам достались богатые, всеохватные опыты чувств и ума. Не каждому их дано осилить, проникнувшись помимо прочего, вдохновляющего-возвышающего, ещё и скептицизмом по отношению к самому себе, но, поверь, это по сути, если непредвзято и внимательно вчитываться в них и ни странички не пропускать, простые и мудрые опыты, и будто бы не его, Монтеня, а твои опыты, именно твои, полные душевных тревог опыты, понимаешь? И главное пойми, главное! Опыты – не плоды праздного и замкнутого ума. И поэтому опыты те – как зеркало, в которое мы смотримся и видим себя самих. Недаром другой великий француз, не помню какой, из старой трухлявой головы, увы, уже многие имена повывлетали, сказал: не в писаниях Монтеня, а во мне самом содержится всё, что я в них вычитываю; никаких скидок на возраст, никаких... – Ссылаясь на раздумья Монтеня, запершегося добровольно в замке, а по сути – спрятавшегося в себе, она касалась и античных философских воззрений, заморозивших Монтеня, да и её, вслед за Монтенем, тоже: довольно-таки образных и поэтичных, но системно соединённых взглядов Плутарха, Лукреция, трактовавших нашу Вселенную как пустоту, бесконечную молчащую пустоту, в которой падают камни, много-много камней, и поток их не иссякает. – Понимаешь, камни падают, как падает вечный дождь? Юрочка, у меня каша во рту, боюсь, ты о моей способности выражать мысли можешь подумать бог знает что, но поверь, я не хочу тебе морочить голову, падают не какие-то там философские камни, способные исполнить сокровенные наши желания, нет, падают вроде бы обычные камни, просто камни, понимаешь? Но падают и падают они, пока случайно не отклоняются, пока не сталкиваются, и от неожиданных, изначально никем и ничем не предусмотренных столкновений. Правда, эти абстрактные образы много позже вызвали возражения Ницше. Он от избытка болезненного ума, наверное, не захотел понять, как от столкновения мёртвых камней может живая душа родиться, хотя мог бы заметить, что от столкновения густо падающих камней по крайней мере искры высекаются, понимаешь? – Аня поморщилась и даже карающую ладонь-меч попыталась поднять; суждения Ницше, чересчур уж для неё прямого и мрачного в своих разящих воззрениях и вердиктах, ценившего из написанного лишь то, что писалось кровью, какого-то беспощадного к себе, да и ко всем людям, какого-то безжалостно непреложного она не могла принять. – Придётся ли тебе по вкусу такое высказывание: чем шире ты раскрываешь объятия, тем легче тебя распять? Каково? А знаешь, Юрочка, что Ницше с откровенной прямоотой своей о женщинах говорил? Отправляясь к женщине, возьми с собой плётку. Как тебе, Юрочка, при добрых помыслах твоих, написанных на челе, понравится такой совет? Но, – неожиданное Анютино «но»: гнев на милость сменила, сказала, что глубина «несвоевременных мыслей» Ницше не подлежит сомнению, а всякая глубокая мысль пренебрежительно «несвоевременна», понимаешь? И ещё сказала, что ценит у Ницше бунтарский дух, что и чрезмерному ницшеанскому уму не стоит противиться, а, воспользовав-

пись его парадоксальной мощью и помощью, стоит почаще самим задумываться, тем более что и Ницше самому, затерзанному рвотами, головными болями... короче, затерзанному недугами и любовью, сполна и выше головы от жизни досталось, он, искренний, непредвзятый и холодный исследователь природы зла, сам себя не жалел, сам горе и боль своим мыслям звал на подмогу, а впал в депрессию и даже перестал на время писать, когда на севере Италии, кажется, в Пьемонте, увидел, как извозчик избивал старую больную лошадь.

Кульбит мысли забросил Германтова в Братиславу начала шестидесятых.

После экскурсии в гостиницу возвращались вдвоём с гидом, русским стариком-эмигрантом с прямой спиной, осевшим после революции в Праге. Так вот, он, утончённо любезный и жёлчно ироничный, с первого взгляда почему-то испытывавший к Германтову симпатию, доверительно сообщил:

– Здесь, – рука с крахмальной манжеткой и агатовой запонкой проплыла по давно не крашенным фасадам, – был район публичных домов, навеки прославившихся: по легенде, которую охотно эксплуатируют местные краеведы, гневно отвергающие претензии на сомнительную славу публичного дома в Кёльне, именно в одном из братиславских заведений заразился сифилисом Ницше. Собственно, благодаря сифилису, свыше ниспосланному ему, как полагают умные, но жестокосердные люди, Ницше и стал-то великим философом, именно таким философом, какого мы теперь знаем и чтим; заболев, он напряжённо мыслил и в часы просветлений, и в годы безумия. Кстати, эти публичные дома, несмотря на медико-исторический казус с Ницше, пользовались отличной репутацией, их посещали многие важные персоны империи. Было удобно сохранять инкогнито, из Вены в Братиславу в те годы ходил трамвай.

Трамвай прогрохотал по Загородному, притормаживать вдали начинал, у поворота на Звенигородскую; капли зелёного огня слетали с проводов и дуги.

– Древние говорили: если хочешь всё покорить себе, сам покорись разуму. Вот и Декарт уже в новые времена на разум понадеялся, он ввёл впервые понятия «эго» и самосознания, понимаешь? Он увидел автономность нашего разума и предрёк возможность высшего одинокого существования в его невидимых рамках, а мир разума, мир разумный, знаешь, как он себе представлял? Как часовой механизм; но он и поэтизировал разум и мозг, сравнивал миллионы клеток мозга с миллионами звёзд в Млечном пути; потом, вслед за Декартом – Спиноза... А потом Спиноза вроде бы от своих надежд на разум человека отрёкся, вроде бы понял, что надежды такие способны лишь поколебать, а то и подорвать веру, опустошить души. Хотя хватит угощать тебя философией, сыт, надеюсь, по горло, но вспомнила я, вспомнила, – радостно останавливалась Анята, когда и Германтов забывал уже, о чём шла недавно речь, – вспомнила, это Паскаль, Блез Паскаль, сказал об опытах Монтезя как о своих душевных переживаниях...

Паскаль?

Да, Декарт... Спиноза... Паскаль... узелки на память.

– Знаешь, что ещё я почему-то вспомнила? – засмеялась, как-то заискивающе ему в глаза глянула. – Чудеса в решете, да и только! Можно я тебя сейчас, после жирной философии, на десерт лёгонькой историей угощу? Так вот, Юрочка, – всё ещё беззвучно смеясь, словно пережидая удалявшийся грохот, – тот же Паскаль говорил, что если бы у Клеопатры нос был чуть длиннее или чуть короче, это изменило бы ход мировой истории, – возможно, вполне возможно, но как было оценить суждение Паскаля, одновременно и остроумное, и прозорливое, если Юрочка тогда ничего не знал о Клеопатре, о её красоте, о её высокопоставленных римских любовниках...

Хотя, опять-таки, задет был, заинтригован.

– Я, конечно, боюсь перестараться, но всё чаще мне кажется, что я это не зря тебе говорю, не зря...

И словно не камни, заполнявшие вечным своим падением пустоту Вселенной, а имена философов валялись и валялись на него.

– Кто такие философы?

– Те, кто прямо, не отводя глаз, смотрят в лицо бытия...

– Просто смотрят?

– Не просто, совсем не просто – смотрят, чтобы задавать нелюбезные вопросы, понимаешь?

Слова тонули в грохоте...

А вот ещё и имя монарха вылупилось из грохота: Фридрих Великий.

– Как это может быть в одном человеке? Понимаешь, он насаждал прусскую шагистику, сам на плацу руководил солдатской муштрой, а потом уединялся у себя в Сан-Суси, чтобы рококо насладиться...

Рококо?

А бывает ум – рококо?

Но вот уже трамвайный грохот стихал, уже можно было, пытаясь суммировать услышанное, вполне отчётливо расслышать, что Анюта от непостижимостей природы Фридриха Великого, как и от мрачного и непреложного в режущее жестокой жёсткости своего мышления бунтаря Ницше, так и от глубоких, бывало, что и усмешливых при этом, пояснений Паскаля – а каким был у Клеопатры её нормальный, не укороченный и не удлинённый, нос? – вернулась к романтическому Шопенгауэру, который – да, да, одновременно с Надсоном – покорила Анютино сердце в гимназической юности. С тех пор она Шопенгауэра читала и перечитывала, он, вопреки своему шокировавшему многих откровенному, родственному ницшеанскому, но на полвека обогнавшему его женоненавистничеству, был близок и дорог ей своими порывами и прорывами к состраданию, о нём говорила она уже с такой же мечтательностью во взоре, с какой заглядывала недавно в душу вакхического Левинсона. Всё смешалось. Однако Евгений Адольфович Левинсон – вот он, живой, доброжелательный и неизменно весёлый южный талант, а кто такой Шопенгауэр? И сразу перескакивала от Шопенгауэра к Гюго, тоже романтику, между прочим, однако не к «Отверженным» перескакивала, нет, гавроши на революционных баррикадах не могли быть её – пусть и не экзальтированной, но убеждённой монархистки – героями; захлёбываясь, погружалась она в поэтично-трагические отношения уродца Квазимодо и молоденькой обольстительной цыганки-танцовщицы, красавицы Эсмеральды, отношения, которые, как непременно она подчёркивала, обрамляла своими сводами, пилонами, многоцветными витражами, своими романскими капителями и причудливо-узорными тенями на плитах пола замечательная и таинственная архитектура – понимаешь, таинственная? В ней, – выразительно посмотрела, – алхимики зашифровывали секреты философского камня, lapis philosophorum, понимаешь? И даже не только обрамляла архитектура, не только, поправлялась она, вспомнив ещё почему-то о козочке Эсмеральды, о солнечных зайчиках, навечно поселившихся в соборе Богоматери – синеватых, красноватых, желтоватых, бледно-сиреневых зайчиках, позаимствовавших, но смягчивших цвета витражей, безмятежно скользивших каждый божий день по тем серым плитам, – архитектура не только трепетно обрамляла, но и пропитывала их, Квазимодо и Эсмеральды, отношения и их самих, понимаешь?

Пытался преобразовать её слова в камни и витражи Собора; вот так задача – пытался слова увидеть!

– Алхимики зашифровывали философские секреты в самом обычном камне?

– Алхимия – это очищение, облагораживание материи, в том числе, конечно, и камня, который, как и всякая материя, есть двойственная вещь, *res bina*, поэтому и камень способен превращаться в нечто высшее, понимаешь?

Алхимия, двойственная вещь-материя... запоминал.

– Торговцев выгнали поганой метлой из храма, но они не растерялись, – посмеивалась, заглядывая Юре в глаза, – у трёх входных порталов принялись торговать модными поделками и подделками; у собора под готическим окном-розой были стрельчатые порталы и железные ворота, замечательные ворота с такими кругами-волютами, выкованными дьяволом, которому кузнец продал душу. А сзади, сразу за собором Богоматери, за полукруглой апсидой, было единственное, боюсь, конечно, соврать, но, по-моему, единственное место на весь Париж, где продавали изумительное мороженое с вкраплениями крохотных льдинок из лимонного сока и ломтиками тающего во рту шербета. Мне жаль, очень жаль, – огорчённо шептала, – что ты сейчас же не можешь его попробовать...

Ему, однако, было не до мороженого.

– А чуть дальше, на стрелке острова Сите, когда-то сожгли на костре главаря ордена Тамплиеров – король хотел богатства тамплиеров присвоить, понимаешь? Король стал первым из экспроприаторов, понимаешь? Но и ему по заслугам его воздалось, он с коня упал на охоте и...

Рококо, шербет, тамплиеры, экспроприаторы... – повторяя про себя, запоминал незнакомые слова.

И – архитектура пропитывала... Каменные своды, пилоны, витражи и капители пропитывали... Как могли камни и многоцветные стеклянные узоры пропитывать Квазимодо с Эсмеральдой, да ещё не только их самих, но и их отношения? И кто такие алхимики? Чем именно обычный камень, который можно потрогать, отличался от философского камня, пусть и способного исполнять желания? Можно ли такое понять?

– Выдуманые Квазимодо и Эсмеральда стали бессмертными, понимаешь? Эсмеральда в балете до сих пор пляшет...

– И всё, – настаивала, – всё в огромном соборе, помеченном клеймом рока, и всё-всё во всём Париже, и все фибры каждой отдельной человеческой души заполнял собой, пропитывая и камни, и смертные тела, колокольный звон, мощный колокольный звон; у собора – две башни, близнецы-великаны, столь грозные, столь страшные... И не было глубин, не было высот, куда бы не проник Квазимодо, – почему-то Анята радостно застревала на тех страницах, где рассказывалось о формировании души увечного звонаря Квазимодо, формировании его страждущей души по образцу самого собора Богоматери, ставшего для Квазимодо и родовым гнездом, и Вселенной одновременно. И не меньший, чем Квазимодо, восторг испытывала Анята в дни большого благовеста. Выразительно, с множеством подробностей воспроизводила она сцену, где глухой Квазимодо ловил первый удар медного языка, ловил первое и нарастающее неукротимо гудение металла, ударявшего о металл, с упоением звонил, звонил в колокола своего родного собора.

– Когда ты прочтёшь про то, как раскачивались, как гулко и звонко звучали огромные-преогромные колокола, как Квазимодо вибрировал вместе с колоколом, в который бил, ты начнёшь жить иначе.

– Как – иначе?

– Не знаю – как именно, это ведь будет уже твоя жизнь, но – иначе, непременно иначе, понимаешь?

Упоминала она и Диккенса, конечно, не раз упоминала Диккенса; и, конечно, упоминала Свифта.

И Дюма тоже упоминался, правда, без восторгов. Дюма на её книжной полке, наверное, уже бы не поместился.

А вот о Прусте – ни-ни... Пруста заранее отдавала на откуп Соне?

И вдруг – опять через два-три затруднённых шажка молчания – упоминала о другом соборе, Шартрском.

– Когда мы подъезжали, утренний туман ещё был густым, издали мы увидели, как из тумана, будто из голубоватой ваты, торчали башни собора, а потом туман медленно рассеивался, просвечивался солнцем, как сейчас... В уличном кафе заказали мы чай с меренгами.

Да, и сейчас дымку в перспективе Загородного просвечивало солнце.

– Там, в Шартре, можешь мне, Юра, поверить на слово, витражи ещё ярче, ещё праздничнее, чем в парижском соборе Богоматери. И зайчики, играющие на полу, пилонах и стенах, ярче от этого, понимаешь?

Германтов лежал на спине, смотрел в потолок; увидел почему-то себя – юного и восторженного – над куполом Исаакия, под крестом; за узеньким круговым балкончиком с решёткой из тонких стерженьков, у самых ног, вздувалась огромная золотая сфера, способная, казалось, накрыть весь город... Из-под неё безуспешно пыталась вылезти «Астория»... Как давно это было.

И совсем уж давно гулял с Анютой.

До Монтеня с Шопенгауэром ему было ещё тогда далеко, очень далеко.

И даже до Гюго, во всяком случае, до серьёзных страниц в романе о соборе было далеко-далеко, ведь о том, что книга убьёт архитектуру. Анюта тогда и не заикалась. Правда, сам собор Богоматери во всей таинственно величавой его красе он давно уже внимательно рассматривал на картинках в старых журналах. Вчера вечером, когда листал журналы, ему на плечо положил горячую тяжёлую ладонь Сиверский.

– Шевелиться тебе надо, Юрочка, шевелиться, не сидеть сиднем над книгами с картинками, – как обычно, пророкотал. И совсем серьёзно принялся объяснять. – Это – входные порталы, тот выпукло-скруглённый объём сзади – апсида, а-а-а, вот за ней-то и торгуют мороженым, радостно догадывался. – А это, – продолжал Сиверский, – готическая, с острым изломом, арка, это – контрфорс, это – видишь наклонную подпорку, с проёмом? – контрфорс с проёмом, называется аркбутаном...

Шевелиться?

Нет, он поглощён был тихим пассивным накопительством, непроизвольно запоминал имена форм, деталей.

Даже фехтовальные приключения мушкетёров оставляли его равнодушным, зато истории высокопоставленных узников – графа Монте-Кристо, Железной Маски – влекли, похоже, страдательно-стойкими подвигами одиночества... Не по контрасту ли к ним, подвигам одиночества, увлекали его, как он вскоре поймёт, фоновые – подвижные, изменчивые – картины неугомонной вокзальной жизни?

А Анюте вокзал – даже такой вонючий, неряшливый, с завшивевшими пассажирами вокзал – напоминал о прошлой, подвижной и разнообразно наполненной благодаря подвижности своей жизни?

Вокзал – как испытание памятью, как образ утраты: дальние поезда отправлялись без неё в Киев, пригородные – в Павловск...

Недаром как-то, мучительно передвигая ноги, упрямо отвоёвывая у болезни своей каждый шаг, она, завидев наконец-то вокзал, этот всегда желанный для них обоих скульптурный грязно-охристый вокзал, великолепный и жалкий одновременно в своём запущенном нынешнем состоянии, прочла наизусть, упрямо и твёрдо выговаривая каждое слово, но будто бы погружаясь в транс: «Мрамор пышных дворцов разлетелся в туман, величавые горы рассыпались в прах, и истерзано сердце от скорби и ран, и бессильные слёзы сверкают в очах».

Хотя чаще она читала Надсона тихо, словно не для Юры, а исключительно для себя, накапливая в ритмике знакомого стиха иссякавшие до призыва на помощь Надсона силы, сплавляя поэтическую ритмику с биоритмами; заговаривала-подбадривала себя, чтобы одолеть при очередном шажке боль: «Не двинул к пристани свой чёлн я малодушною рукою, я смело мчусь по гребням волн...»

И замолкала на миг... «На грозный бой с глубокой мглою». Замолкала, почуяв неуместную – здесь и сейчас – и при этом мутную высокопарность стиха?

И тут она замечала боковым зрением приближавшихся к ним, метущих юбками пол цыганок с чумазыми, завёрнутыми в тряпье младенцами на руках.

– Погадаем за копеечку по ладони, погадаем за копеечку по ладони...

В кармане были как раз две потные копеечки, только что их сжимал в кулаке. Хотелось, чтобы цыганки погадали ему по ладони... Уже совсем близко брякали цепочки, медные и алюминиевые браслеты соскальзывали к смуглым запястьям; он верил, что что-то исключительное мог узнать о себе; как соблазнительно и томно цыганки в засаленных цветастых шальных с бахромой покачивали плечами и бёдрами, какими зовущими были сладкие улыбки, вскипающие смолой глаза!

Однако Анята мгновенно переключала внимание с выпренне-высокого, но мутного штиля своего поэтического кумира на совсем уж низкие обстоятельства и, пытаясь из последних силёнок сжать Юрину ладошку в своей, почти омертвевшей уже ладошке, неловко пытаясь совершить обходной, чтобы укрыться за массивным облупившимся пилоном, манёвр, азартно шептала: «Закусим-ка, Юрочка, удила, и с места – в карьер! Ишь, бесстыжие, трудовую копеечку им за обман выкладывай! Быстрее, не дадим себя одурачить, не дадим себя одурачить».

Цыганка Эсмеральда, та, из Собора Богоматери, была прекрасна, обольстительна, а эти вокзальные цыганки...

И обольстительной была – увидел, живо и заново увидел на фоне ёлки, мигавшей разноцветными лампочками, – игравшая цыганку Машу Оля Лебзак.

Но счастливо избежав беды, с лёгким вздохом Анята вспоминала вдруг давно умершую от скоротечной чумки свою заласканную любимицу, мальтийскую болонку Шушу: «Пока чёрный носик оставался холодным и мокрым, я спокойна была за её здоровье, понимаешь?» Анята баловала Шушу нарезанным на малюсенькие кубики швейцарским сыром, причём – вот он, первый урок начертательной геометрии! – кубики, поскольку нарезался дырчатый сыр, получались неправильные, будто бы рваные... Потом сообщала она, что благороднейшие из римлян, когда хотели покончить с собой, бросались грудью на меч, а японские самураи, отстаивая незапятнанность своей чести, и вовсе бестрепетно вспарывали себе мечом брюшину. И после введения начинала подробно рассказывать о средневековых рыцарях, об их отваге в бою и верности в любви, и тут же, едва открыв рот, чтобы перейти, наконец, к образу печального рыцаря, Дон Кихота, вдруг – сколько этих «вдруг», резко поворачивавших сюжет и заодно менявших выражение Анятино лица, выпадало ему за одну прогулку? – Анята останавливалась и, передохнув, признавалась:

– Знаешь, Юра, чего хочу я больше всего? Знаешь?

– Чего же? – вопрошающе поднимал глаза.

– Хочу, чтобы у тебя была цель, большая и высокая, выше неба, цель.

– Как у Липы?

– Почему нет? – ответила вопросом на вопрос, помолчала.

– Ясно, я выгляжу смешной, а ргіогі – смешной, такой уморительно смешной бабулькой, что, боюсь, ты сейчас от хохота надорвёшь живот. Я, поверь, и сама бы сейчас покатывалась со смеху, когда бы не было мне так грустно, – робко, как смущённый ребёнок, улыбнулась Анята, ласковый взгляд её подёрнулся влагой. – Я ведь не пифия, я не знаю и не узнаю уже, что тебе на роду написано и каким ты будешь – легкомысленным, к примеру, или глубокомысленным, чувствительным или чёрствым? Я угадываю только в тебе, и эмоционально-возбудимом, и рассудительном, внутреннее упорство, но что, что именно выпадет тебе, набивая шишки, завоёвывать и защищать? Поймёшь ли ты своевременно, не поймёшь, что и окольный путь именно для тебя вполне может превратиться в главный? И поймёшь ли с годами, что даже разбитое сердце – ещё не разбитое корыто? Поймёшь? А можно ли такое умом понять,

когда не дано понять, что ждёт каждого из нас за углом? Мы верим в свободу воли, а пляшем под дудку фатума. Я прохладно отношусь к мистике, не гожусь совсем в прорицательницы и потому не узнаю, миллион каких терзаний уготован тебе, не узнаю, каким даром наделил тебя Бог, и сумеешь ли ты достойно божьим даром распорядиться. Любопытство гложет меня, но я не узнаю, к чему ты ощутишь тяготение, кем ты, Юрочка, станешь, когда вырастешь и окончишь свои университеты, каких ошибок наделаешь, какую правду найдёшь, чтобы заблестать на своём единственном, только тебе отведённом месте... И не узнаю, хотя хотела бы знать, предпочтёшь ли ты на людях блистать или удовлетворишься ролью певца за сценой. Ты, конечно, пропустишь сказанное мною мимо ушей, я в твоём возрасте тоже ненавидела любые нравоучения, грешащие пустословием, – вздыхала, поджимая губы, – но наберись терпения и учти, а если сможешь, то заодно и посочувствуй мне – я сейчас, увы, совсем в другом возрасте, ушат нравоучений непременно на тебя опрокину, к тому же я плохая проповедница, из рук вон плохая, и, сердись, не сердись, а повторяться я буду, как попугай: учти, глупо, неизменно глупо было бы проскучать свою жизнь, не посвятив себя любимому делу. – В помыслах и деяниях своих, чтобы хоть чего-то стоящего достигнуть, надобно желать невозможного и, плывя даже по течению дней, плыть против бурного течения в идеях-мечтах своих, а в самом тихом безветрии идти против урагана, надобно всё замышленное на пределе сил делать, чтобы выше головы прыгнуть и перерастить самого себя, понимаешь? Надежда на то, что ты прыгнешь, перерастёшь, греет мне душу. Тут ведь, идя своим путём как путём единственным, только тебе одному назначенным, не грех даже впасть в гордыню и к себе мерки Бога-учителя приложить, он ведь, если Библию вспомнить, откровенно ученикам своим говорил: «Куда я иду, вы не сможете прийти...» То есть, представляется мне, не только у Бога с верховной миссией, но у каждого смертного свой исключительный путь на этой Земле, понимаешь? И, прошу тебя, не сердись и не вздумай меня расхолаживать своим невниманием, если даже мне надерзишь, всё равно я, пусть я рискую в глубокую сесть галошу, всё снова выскажу тебе, всё, я сегодня в ударе, поверь, в ударе! Я такого, именно такого тщеславия тебе желаю и хочу, Юрочка, ужасно хочу, – улыбка смущения таяла, она силилась закончить на одном дыхании монолог, – чтобы ты сам над своими задатками по внутренней потребности поднялся, а не для того, чтобы, мысленно гарцуя, подразнить гусей или кому-то утереть нос, блеснуть в глазах случайной красотки или – пуще того – искупаться на публике в дешёвой славе триумфатора на час, когда в твою честь выкатывают на площадь бочки с вином, а завтра – забывают навеки. Нет, нет, хочу, чтобы ты уже сейчас если не понял, то хотя бы смутно почувствовал, что надо чем-то жить помимо жизни самой, помимо неотвязных её забот, чем-то важным, даже, сказала бы, сверхважным именно для тебя, захватывающим, наполняющим жизнь поначалу смутным, но высшим для тебя смыслом, чем-то, что надо будет выстрадать, чтобы над собой подняться и самого себя превзойти, да, не иначе, как выстрадать, чтобы превзойти, – со вздохом подкрепляла сказанное цитатой из древнего иудейского источника: – «Прежде чем достигнем мы просветления, должны мы выстрадать тёмную ночь души». Понимаешь? А жить, Юрочка, уповая на просветление, надо чем-то, чему стоит посвятить всего себя, чем-то, что должно тебя по путям-дорогам вести, при всех досадных, однако неизбежных возвратах и крутых поворотах твоих – вперёд и вверх, вперёд и вверх. Вести, как путеводная звезда...

– Куда вести? – поднимал глаза.

– И что значит, – переспрашивал, – вперёд и вверх?

Тут она замолкала, возможно, вспомнив о судьбе сына, Изи, которого одарённость и одержимость вели, конечно, вперёд и вверх, но вовсе не привели к счастью, напротив, ввергли в неизлечимую болезнь.

Делай, что должно, и будь, что будет?

Шажок с шёпотом: ноги совсем не слушаются, совсем не слушаются; ещё шажок, молчаливый.

– Да, как я дошла до жизни такой? Мух всё охотней превращаю в слонов и всего боюсь, всего – поскользнуться, оступиться, споткнуться... Сегодня, чувствую, биоритмы против меня; удастся ли не переломать кости, домой вернуться? И ещё я, Юрочка, между нами говоря, боюсь сквозняков, боюсь простудиться, подавиться... Всего, что мне сделать надо, боюсь, вот такие пугливые заботы мои... – пыталась вернуть заблудившуюся мысль к поиску истины.

– Я, нынче уж точно горемыка и доходяга, хочу напоследок пусть и мизерную пользу извлечь из своего плачевного положения, понимаешь? Один из возлюбленных моих древних греков, точно не скажу кто, но скорей всего Гераклит, сказал: старость покупает что-то ценою жизни. Что-то! Получается, я тоже это «что-то» прикупила уже – прикупила, понимаешь? И хотя мне есть на что обернуться в жизни, я всё никак не могу понять, чем же я теперь таким особенным обладаю... А ты – откровенность за откровенность, идёт? – чувствуешь во мне какое-то приращение ума, мудрости?

Беззвучно посмеялась.

– А если, допустим, приращение такое и есть, то всё равно мне мало его! Как я, Юрочка, завидую верующим, у них есть ответы на все вопросы... Ну да бог с ними, с верующими.

Решилась на новый шажок.

– Ты тоже будешь озадаченно спрашивать себя, а может быть, уже спрашиваешь – что есть жизнь, в горько-кисло-сладкой гуще которой, едва начал соображать, вдруг себя обнаружил? И что есть именно твоя жизнь, ввергнутая как бы без учёта внутренних твоих устремлений во всеобщее, как куча-мала, сражение за место под солнцем, что именно тебя ждёт? Не в моей власти в хитросплетения твоей судьбы заглядывать, скажу лишь, что судьба, предопределяющая путь твой, будет тебе бросать вызовы – вызов за вызовом, понимаешь? А ты, если не захочешь смириться и покоряться, бросать будешь вызовы своей судьбе, потому что между твоей неумолимой судьбой и самыми прихотливыми твоими желаниями есть таинственная зависимость... Я, Юрочка, бьюсь как рыба об лёд, чтобы главное объяснить тебе, чтобы ты понял...

Как такое понять? То казалось, всё-всё знала она о нём, о его будущем, как если бы и впрямь своими глазами видела, как для него жребий, трепеща, невидимая душа вытягивала из шапки Бога, наполненной тайными свёрнутыми бумажками, то...

– Скажу лишь, что вызовы вроде бы индивидуальны всегда, однако все мы одним миром мазаны, почти всем нам мнится под конец дней, что жизнь вылилась в сказку без морали, обманную, обидную и безысходную сказку. Но в юности, когда всё ещё впереди, каждый решает одну и ту же задачку, и ты, конечно, тоже будешь её решать: как выделить и определить её, твоей жизни, единственной, смысл и цель, как понять, из чего, собственно, она состоит, думаешь ты, прислушиваясь и озираясь: из звучащих и прочитанных слов, из сменяющихся непрерывно картин? Из чувств, мыслей и впечатлений? И что и как связывает тебя с миром, и что сулит тебе непостижимый наш мир? Это, Юрочка, опасные и каверзные вопросы, лишающие покоя: вопросы вопросов, посягающие на тайны тайн, понимаешь? Ответы на них, если солгать себе не захочешь, из пальца не высосать... Хотя вроде бы много их, разных ответов, и все они, пусть и исключают друг друга, кажутся равноправными. Но, – засмеялась, – ты только не убивайся, когда интуиция каверзно подскажет, что тебе познавательные посягательства на тайны тайн не по зубам, самое интересное – задаваться вопросами, на которые в принципе нет ответов.

– И философы, выходит, зря смотрели в лицо бытия, задавая свои нелюбезные вопросы?

– Не совсем зря, – замялась было Аня, но губы её тронула улыбка, она явно порадовалась, что он, как умный взрослый спорщик, поймал её на противоречии, – философы, задавая свои вопросы, затем искали вероятные версии ответов, понимаешь? Всего-то – версии.

– Но если они, философы, ещё и верующие – им-то всё понятно должно было бы быть, у верующих ведь есть, ты сказала, ответы на все вопросы.

– О, удачный выпад с твоей стороны, – глаза лукаво смотрели. – Из тебя, возможно, вырастет фехтовальщик.

И сказала с бессильной усмешечкой:

– Ты вынудил меня на признание, учти, на непедагогическое признание: у жизни, наверное, куда меньше смыслов, чем нам хотелось бы думать.

И повторила уже серьёзно:

– Я вкрадчивым голоском пробуждаю любопытство твоё, тонко намекаю на толстые обстоятельства, хотя боюсь при этом оказать тебе медвежью услугу. Ответов нет, Юра, нет. Даже для умных верующих нет, понимаешь – для умных. Много нас, званых на пир мысли, да мало избранных, понимаешь? Даже версии ответов – удел избранных. А мы, сколько ни шевелим мозгами, лишь забалтываемся в беспомощных попытках сформулировать вопросы.

\* \* \*

Хм, не далее как вчера вечером Сиверский с Анютой затеяли на кухне шутивную пикировку по поводу тайны тайн; силы казались неравными – маленькая-сухонькая Анюта и внушительный Сиверский – широко расставлены крепкие ноги, вязаная жилетка растянулась на животе.

– Как здоровье?

– Тьфу-тьфу, тьфу-тьфу, благодарю Бога и вас тоже благодарю покорно: женьшень выручает. Знаю, знаю и верю, что вы – всемогущий, но где вы, Яков Ильич, всё-таки женьшень добываете, если корня нет ни в одной аптеке?

– Тоже мне бином Ньютона! Из-под земли достаю.

– Ура, пока достаёте – жить буду!

– И что же такое жизнь как процесс, Анна Львовна? Не биологический процесс, замешанный на белках, почему-то полюбившихся Энгельсу, а, допустим, нравственный.

– Краплеными словами не брезгуете?

– Но-но, я обижусь!

– На обиженных воду возят...

– Но я пытлив безмерно, до идейной неразборчивости...

– Тогда простите великодушно. Нравственный процесс, как вы изволили коряво, по причине идейной неразборчивости, сказать, как ни печально, предполагает необходимость идти навстречу потерям.

– И кто же навязал нам, покорным и безответным, печальную необходимость?

– По слухам – Бог!

– А по достоверным сведениям?

– Коснись-ка предыстории, чтобы заострить аргументы...

– Будьте любезны!

– Власть греческих богов была всеобъемлющей, они, интригуя между собой на Олимпе, играя и заигрываясь, флиртуя, во все любовные тяжкие пускаясь, умудрялись ещё и следить за каждым шагом каждого человека, – головкой принялась покачивать, как бы искренне сокрушалась, – а у единого Бога-Господа давненько уже опустили руки. Неудивительно, что мы сейчас идём-бредём по инерции, а потерь – больше и больше; наш Бог с усложнявшимся земным хозяйством не справился, отказался от спасения неисправимого мира, всё бросил на само-тёк... А мы, лишённые небесного попечения, чувствуем, что осиротели.

– Языческая предыстория и ваши выводы из неё убеждают. Но что достоверные источники вам об единобожии в начале начал поведали?

- Самое главное! Если верить Библии, если не пугаться попусту, а между строк читать безнадёжное откровение её, Господь Бог раскаялся, что сотворил человека, вот и опустил руки.
- Какая безответственность!
- Выше-то нет никого, нам некому жаловаться.
- И зло в мире допустил Бог. Зачем?
- Чтобы красоту добра в сравнении со злом оценить и возвеличить; без зла добро бы попросту не существовало.
- И кто это первым понял?
- Наверное, Блаженный Августин.
- Но почему же Бог позволил человеку грешить?
- Бог сотворил человека свободным, а свободные люди во всём свободны; они, между прочим, не только грешат, но и каются.
- Для Бога свобода человека была столь важна?
- Исключительно важна!
- Но свобода – это ведь что-то расплывчатое, чересчур общее.
- Её каждый может индивидуализировать для себя.
- Как?
- Знаете главную молитву Франциска Ассизского?
- Будьте любезны, Анна Львовна, просветите.
- Господи, дай мне свободу! Я немножко поиграю и верну её.
- Получается, что свобода сама по себе – сверхценность, она куда важнее грехов и бед, свободую обусловленных?
- Всякая палка о двух концах.
- А дьявол нам разве не подкузьмил, не из-за его ли вкрадчивых наущений мы погрязли в грехах?
- Беда не в том, что дьявол и свита его сильны, а в том, что человек слаб.
- Отлично! А божественные заповеди нам спущены с небес для того, чтобы свободный человек сомневался, мучился?
- Снисходительно посмотрев:
- Близко к тексту.
- К какому?
- Библейскому.
- Кто был первым грешником на земле?
- Притворяетесь, что пропустили вводный урок? Адам.
- И он же, Адам, первым покаялся и первым же был Богом прощён?
- Вы всё-таки неплохо подкованы.
- И до каких пор сохранится порочный круг прегрешений, покаяний и надежд на прощение?
- До тех пор, пока встаёт и садится солнце.
- Но, – хлопнул себя ладонью по лбу, языком пощёлкал, – сотворив человека свободным, Бог спровоцировал его на греховность, пусть так, а как же отдельные люди, которые всё же придерживаются благочестия? Бог их, выходит, закабалит?
- Благочестивые сами ограничивают свою свободу.
- Где изучали вы, Анна Львовна, в таких тонкостях богословие?
- В начальной школе.
- Какая вы ядовитая, – Сиверский опустил голову, опять языком пощёлкал. – Так что, свободный порочно-греховный человек при попустительстве Бога так далеко зашёл, что в нашем мире уже поздно что-то менять?
- Поздно, мы обречены век за веком расхлёбывать скорби свои.

– И...

– И, надеясь безосновательно на отсрочку, покорно брести в сумерках, чтобы в какой-то миг, назначенный каждому, шагнуть во тьму.

– Но самотёчная, полная скорбей жизнь в сумерках-потёмках, нам самим, несмышлёным, отданная на откуп, – что это такое? Что?

– Разложить по полочкам, начав от Адама, или подать на блюдечке афоризм?

– Сойдёмся на афоризме.

– Извольте. Белковые тела высокочтимого вами Энгельса и тут ни при чём... Жизнь – приоткрою пошловатый секрет, который для меня в моём положении давно уже не секрет, – жизнь, вся жизнь, есть предсмертная мука. Можно и чуть иначе, увидев щёлочку просвета, сказать: жизнь – это долгие муки, которые оплачивают миг счастья.

– Аплодирую! – смешно защёлкал языком Сиверский. – Но коли сам Господь Бог в нашем человечьем назначении разуверился, чего ради, скажите, претерпевая мучения, всё-таки мы живём?

– Ай-я-яй, школьную программу забыли? Чтоб мыслить и страдать.

– Спасибо, напомнили.

– Пожалуйста!

– Что является земной первопричиной наших страданий?

– Тело. Во всех смыслах – болезненное и смертное тело. Не зря ведь вне тела и душа не страдает.

– Логично.

– А теперь с вашего позволения я спрошу... Сначала я, по гроб благодарная за целебный корень, подлизывалась, но теперь, раз уж походя и всуе мы неосторожно Бога задела, а Бог – архитектор как-никак, ибо сотворил мироздание, я вам, вхожому в заоблачно высокие сферы, беспардонно вопрос задам, для меня, блуждающей в трёх соснах, сверхсложный вопрос, а для вас, поскольку вы понимать должны то, что делаете, а за поприще своё живот на алтарь положите, верю и надеюсь, простой: объясните-ка мне, Яков Ильич, что такое архитектура?

– Этот вопрос, – засмеялся Сиверский, – всегда загоняет меня в тупик.

– При всех моих реверансах я вам лёгкой жизни не обещала.

– Да я и не ждал от вас снисхождения...

.....

По поводу смысла жизни Анюта ответила серьёзно вполне, без хитрой своей улыбочки, хотя, по правде говоря, отшутилась... И потом сказала как-то, вздохнув, что всякий прямой вопрос о вечно насущных смыслах многие склонны принимать за вызов приличиям. Да, поиск ответа на вопрос вопросов откладывался.

А Сиверский вообще не ответил на её вопрос, отшутился тоже.

Разве нет и на этот вопрос ответа?

Так что же такое архитектура?

Сколько длились поиски понимания, да ещё в самых разных, пожалуй, и неподходящих вовсе для глубоких размышлений местах, даже на пляже под бастионами Петропавловской крепости... Ожил уморительный рассказ Штримера о том, как изредка наезжал из Москвы консультировать студенческие проекты Руднев – да, тот самый крылатый Лев Руднев, собственной персоной, в хорошую погоду предпочитал консультировать студентов Академии художеств на пляже, ибо успевал истосковаться за месяц-другой в Москве по исключительным невским видам; тут же был и Сиверский, верный ассистент-оруженосец, оба раздетые: тощий узкоплечий Руднев с рёбрами наперечёт и выпуклым белым животиком, холёная бородка клинышком, очки – хрестоматийный чудак-профессор, хотя в треугольной, сложенной из газеты шляпе и просторных длинных чёрных трусах; а Сиверский в модных, безразмерных – так-то, не только женьшень в суровую эпоху дефицита умел из-под земли доставать! – в модных, безразмер-

ных, в обтяжечку, да ещё красных плавках – разве не пижон? – массивный и лёгкий, литой атлет с курчаво-седой грудью; мало что серебряная волосяная скоба эффектно охватывала на затылке и висках загорелую лысину, так ещё, будто шкурку серебристого барашка к груди приклеили – Сиверского за эту серебряную курчавость посвящённые называли Сильверским. . . Студенты, скинув одежды, образовали сидячую очередь к профессору-академику-демиургу и для любого из них в каком-то смысле духовнику. Вставая, не без робости подходя за приговором или утешением по одному, раскладывали на песке чертежи, придавливали камушками уголки бумажных листов. Советы-пожелания и указания сидевшего на полотенце Руднева были невнятные, взгляд почётного профессора-академика-демиурга рассеянно скользил по чертежам, а заинтересованно ощупывал обнажённые женские, соблазнительно раскиданные окрест тела. Однако каждого студента или студентку, прежде чем пожурить их за нехватку прилежания, а затем добросердечно отпустить всем им учебные грехи, Руднев несколько театрально спрашивал: «Что такое архитектура?» В ответ – растерянность, онемение учеников; и – в соответствии с двойственностью натуры Сиверского – бесшабашно-хитрые улыбочки монументального Якова Ильича, величаво-важные покачивания куполообразным кумполом. Под конец консультации, как если бы был очень доволен молчаливой растерянностью студентов, замедленно царственным жестом длинной костлявой руки Лев Владимирович обводил затенённую Дворцовую набережную, солнечную колоннаду Биржи, мосты, высившиеся над крышами златоглавый Исаакий и башню Адмиралтейства со сверкавшей иглой, чтобы театрально громко, обращаясь уже ко всем юным дарованиям, а заодно и ко всем раскиданным по пляжу телам, изречь: «Всё это, как ни странно, и есть архитектура, друзья мои».

В самом деле, в самом деле, – что же такое архитектура?

Чудеса в решете?

Витебский вокзал, дом с гастрономом на углу Загородного и Звенигородской, соборы в Париже, Шартре, о которых столько ему рассказывала Аня? Арки, карнизы, балконы, эркеры, лестницы, витражи, апсиды, контрфорсы, аркбутаны. . . Всё такое разное, и всё это, и врозь, и вместе, собираясь по счастливым наитиям, но с учётом каких-то общих для всех трёхмерных правил и каких-то высших неписанных законов, – архитектура? Германтов тогда не спрашивал – почему? Задаваясь недетскими вопросами, он самостоятельно искал границы понятия. Вокзал – архитектура, но – с толпами пассажиров или пустой? Принадлежит ли дому с шикарным гастрономом тачка-ящик с «шурум-буромом»? И статуи чудовищ и демонов, прогуливающиеся по карнизам, и медные купола-колокола, в которые истоиво звонил Квазимодо, тоже архитектура? Да и сам Квазимодо, карабкающийся на башню-звонницу, чтобы разорвать вороньи гнёзда, уже тоже неотделим от собора? А Эсмеральда с козочкой? Они все стали неотделимыми от собора исключительно благодаря Гюго, его роману? Как же всё скопище различных-разностильных каменных чудес и утилитарных строений, да ещё и рождённых камнями литературных сюжетов, мифов, привязанных к ним бытовых историй, людей и вещей, свести воедино, выразить-объяснить и обобщить словами, если и Аня блуждает в трёх соснах, а сам Сиверский, зодчий от Бога, как говаривали о нём, да ещё и сталинский лауреат – в тупике?

\* \* \*

Шажок, затруднённый шажок, особенно, почувствовал, затруднённый; у Аняты не было уже сил.

– И идеал тебе нужен, только свой, не заёмный! И оставаясь слугой своего «я», не бойся всего того, что будет тебе казаться твоими недостатками, не бойся и не принимай свои сомнения слишком уж близко к сердцу. Может, это и не недостатки вовсе будут, а исключительно тебе свойственные особенности, понимаешь? Те особенности, которых как раз недостаёт другим, те, которые и помогут тебе уцелеть в памяти людей. Ты прислушивайся к себе и – перечь

себе, понимаешь? Отбрасывай сомнения и – не бойся строго себя судить. Но я не хочу, чтобы ты исключительно варился в своём соку и сделался самоедом, ни в коем случае не хочу. И иди, иди одновременно и на зов Провидения, и – наперекор своему уделу.

Шажок, ещё молчаливый шажок, ещё... Замолкала, чтобы сказанное успевало укладываться в его сознании? И – заодно – взывала к помощи биоритмов?

Обращалась к нему, всерьёз и ничего, чего бы ни касалась, не упрощая, хотя это был нескончаемый внутренний, начинённый сомнениями и спорами с собой, монолог, внутренний, но – произносимый вслух?

– Тебе не скучно?

Шажок, такой вымученно-затруднённый.

Накатывались сзади гомон, безголосое пение с рваной музыкой. Недовольно оглянулась.

– Угораздило в красный календарный день отправиться на прогулку.

Их нагоняло коммунистическое шествие по слякоти, с гармошками в переднем ряду, с мокрым, провисающим кумачом на палках.

– Только чуть-чуть-чуть потерпи ещё, хорошо? – молча провожали чёрный удалявшийся хвост колонны.

– Enfin! – гомон, музыка стихли.

– У меня силы иссякают, но, к стыду моему, непростительно язык развязался, это старческая болтливость, одна из главных моих, если так можно сказать, ахиллесовых пят, мне тягостно долгих монологов не избежать. И учти, Юрочка, учти и не прими за ересь: чем талантливее ты будешь, тем большее сопротивление встретишь. Но двоечников не бойся, не сторонись – самые отъявленные оболтусы могут быть бескорыстны и очаровательны! А вот ябеды, вечные троечники, маленькие мерзавцы под масками пай-мальчиков и прочая всеядная и внешне апатичная шушера возненавидит тебя как выскочку!

С сожалением посмотрела: доходят ли увещевания?

– Язык – враг мой. Извинишь ли не только за глубокомыслие на мелком месте, но и за скверную привычку говорить правду? Паскудно-мерзостный закон никак не отменить, никак – в один прекрасный момент ты почувствуешь, что окружён врагами. И не обязательно быть святым – достаточно и искры таланта, чтобы ополчались против тебя, пытались бы крылья тебе подрезать...

А что значит быть талантливым, что?

– Надо... любить тайны вокруг себя, только не мелочные, не такие – кто кого? – которые, будто бы в конце детектива, исчерпываются, будто их и не было вовсе. Чувствуешь, как дрожит мой голос? Чувствуешь, что я власть над собой теряю? Любовь к вечным тайнам, тяга к разгадыванию-постижению чего-то таинственного, что так манит и тревожит нас в перспективах жизни, сродни охоте за счастьем. Если по душе тебе разгадывание тайн, это верный признак теребящего тебя изнутри таланта.

И уже совсем не хотелось Юре быть талантливым, он побоялся даже дожить до того расчудесного времени, когда он, настолько умный, талантливый, что им бы могла гордиться Аня, должен будет поплатиться за свой ум и талант; совсем ему не хотелось, чтобы коварные враги его окружали...

– Участь гения и вовсе трагична, понимаешь? Произвол судьбы по отношению к гению я, Юрочка, воспринимаю как сверхпроизвол. Или я ошибаюсь, и гений сам со смертью в русскую рулетку играет, как Лермонтов? Попивая шампанское, дразнил Мартынова, близкого друга своего, мартышкой и поддразнился, получил пулю. Или гения могут неуёмными восторгами сопровождать и встречать, а он по внутреннему своему ощущению – как пария. Ждёшь примера? Толстой под конец жизни захотел бежать от людей, захотелось ему в тихом одиночестве, наедине с собой и своими последними мыслями, побыть перед смертью; думалось ему, что в итоговом этом одиночестве сможет он приблизиться к истине, а его на маленькой желез-

нодорожной станции нагнала свора газетчиков, всемирная свора подлых, голодных до смертей-новостей преследователей... – не понял ничего, но слово в слово всё, что сказала она, запомнил. – Семь дней Толстой на виду у всех умирал, а газетчики ждали – когда, когда? Им не терпелось отбить поскорее новость по телеграфу, а я эти же семь дней от сочувствия к Толстому, от жалости к нему, думала, сойду с ума, такая расплата за гениальность...

А что значит – быть гениальным?

– Гений – не от мира сего, понимаешь? И дар гения – помнишь, я про это говорила уже не раз? – то ли проклятие, то ли благословение, гений, как тот же Лермонтов признавался, «под бременем познания и сомнения» живёт, жуткие противоречия его раздирают. И вот он, гений, рождается; раз он не от мира сего, то, получается, он и не принадлежит своему времени, не выражает время, до него длившееся, понимаешь? Гений будто бы послан будущим – он меняет текущее время и выражает в нём уже лишь то, что сам он и преобразил-внедрил, выражает ту новизну, которую сам он принёс.

Беспомощно на неё посмотрел.

– Каюсь, столько всего наплела тебе, что ты, наверное, перепугался? – угадывала его страхи Анюта и круто меняла обыденную тональность на возвышенно-поэтическую, можно было подумать, что сам Надсон поучаствовал в сочинении её вдохновенной и вдохновлявшей речи.

– Если поведёт тебя в солнечную даль умный талант зорких глаз, чутких ушей и отзывчивого сердца, ты непрерывно будешь стремиться к совершенству, и пусть весь мир будет защищать привычную серость, ополчится против тебя, пусть все люди в злую толпу собьются, обстоятельства словно изготовятся исподтишка тебе дать подножку, но ты, упаси боже, не должен почувствовать себя уязвлённым, гонимым, неприкаянным, не должен жертвой себя считать – ты внутренне должен выстоять.

И напряглась, готовясь шагнуть...

– Я, конечно, боюсь, что ты, замкнувшись, уйдя в себя, будешь отрешённо скользить по жизни, будешь нечуток, душевно скуден для других, а богатства внутреннего мира раскроешь лишь для себя одного. Но оставайся самим собой и сам по себе, только при этом не будь, прошу тебя, эгоистом, понимаешь?

Как, как такое понять? Одно ведь исключает другое. Боже, как описать то, что творилось у него в голове...

Шажок и шёпот: «Я не сломлена, я не сломлена, и скажу тебе именно то, что надо сейчас сказать, понимаешь? Снесу яичко к Христову дню».

Ещё шажок.

– Юрочка, я, конечно, главные свои слова растеряла, каюсь, но хоть что-то из того, что я пытаюсь тебе сказать, ты понимаешь? Хочу тебя пожурить: почему ты, Юрочка, так редко спрашиваешь меня – «почему»? И скажи, почему ты вопросами своими, сомнениями своими не остужаешь на каждом шагу мой педагогический пыл?

Вопрос «почему» Германтов на тех прогулках задавал себе, преимущественно себе, и поскольку не мог найти прямых ответов, мысль его привыкала к тупикам, к окольным путям, на коих он и предавался сомнениям... Тогда, видимо, самопроизвольно закладывались основы его специфического мышления.

– Со мною быстро каши не сварить, я вспомнила, что даже гений, светоч этакий, бывает злым, пакостным, но...

О чём она?

– Я хочу, чтобы ты разбирался в людях. И был к ним снисходительным, даже к тупым и злым людям, ибо тупые Богом наказаны, а злые – не ведают, что их ведёт через жизнь дьявол; даже к порочным, например патологически-жадным, завистливым, людям надо быть снисходительным, а к себе – при всех несравненных достоинствах твоих – требовательным.

«Она разбиралась, – подумал Германтов, – ещё как разбиралась, всех насквозь видела. Да, на косточки разложила гостей Сиверского, пока они шагали по коридору. Может быть, поэтому как-то... Ну да, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать... Как-то презрительно-брезгливо людей, при всей своей деликатности и доброте, любила? Помимо сочетания косточек и хрящей в духовном скелете личности она и всю мусть по-чеховски в каждом и во всех сразу видела, все осадки заблудших душ?»

– Кто-то из умных людей, забыла кто, сокрушался по поводу вечной распри старых и молодых, отцов и детей. И это тоже не ересь, учти! То, что Тургенев написал, это ещё цветочки, миленькие усадебные цветочки. Даже я, закоренелая оптимистка, побаиваюсь уже, что поведение молодых, самых вежливых, почитающих родителей молодых, вскоре будет определяться жадой возмездия, понимаешь? Всякое новое поколение бессознательно мстит старикам за их прошлые, пустые мечтания, обернувшиеся бедой для детей и внуков, за их, стариков, нажитые в трудах и бедах замшелость, заскорузлость и близорукость, но теперь-то, думаю, полный швах. Да, всякое поколение подкладывает следующему за ним поколению историческую свинью. Но я-то признаюсь тебе, что мы навлекли на себя особый позор, мы особенно виноваты, Юрочка, особенно, и я испытываю за вину свою стыд, жгучий стыд, не знаю, куда мне деться – не искупить вину, не загладить: я ведь знала всегда, что лучшее – враг хорошего, даже на носу себе это зарубила, а тоже мир избавить от зла мечтала, разумно хотелось мир исправить и перестроить, ох как хотела и счастливого для всех переворота ждала, не понимая, что силой и кровопусканиями будут насаждать счастье; ждала и инквизиторов – великих и карликовых инквизиторов – дождалась, понимаешь? Из-за нас всех, сверхмечтателей, возжелавших от извечного мирового зла найти сиюминутную панацею, столько дров наломали, кашу кровавую заварили, да ещё так подло обманули всех вас, как раньше – за все минувшие века – никого никто не обманывал. Вы только родились, а уже заранее обмануты были, на много-много лет вперёд обмануты, понимаешь? Мы все так перед вами виноваты, и я, я виновата тоже, mea culpa... – отвела покаянный взгляд.

Но тут же посмотрела в глаза с улыбочкой: я, Юрочка, разоткровенничалась, тормоза отказали.

Как такое можно было понять? В чём она, прожившая свой век в ладу с собой и своей совестью, виновата?

– *Suum cuique*... Каждому своё, понимаешь? Но под конец жизни я, Юрочка, чувствую, что потерпела фиаско. А ты поймёшь меня, когда сам состаришься и воспримешь вдруг долгую свою жизнь как нечто непоправимое; сам почувствуешь и, главное, прочувствуешь свою вину и ужаснёшься.

И вдруг биоритмы дали ей новый шанс: к ней пришло второе дыхание, пришло и вернуло к жизни – вспомнив о художнике Махове, Анюта, до сих пор говорившая затихавшим падавшим голосом, с испугом вскрикнула:

– Тебе у Максима Дмитриевича интересно? Честное слово? Ты зачастил к нему... Поверь, я не хотела бы вбивать между вами клин, но я его со всеми его неопрятными кистями и красками, грешным делом, поторопилась заподозрить в чёрных намерениях. Увы, я на свою беду чересчур впечатлительная, и я, Юрочка, не лишена предрассудков. Правда, в смешанных чувствах я пребывала, испытывала какое-то влечение-отторжение. Обычно я в открытую дверь ломлюсь, но на днях дверь его комнаты была приоткрыта, а я, ужасно и до неприличия любопытная, лишь в щель слегка просунула нос, хотя запахов скипидара и лака не переношу, – сколько сил потратила, чтобы так потешно у неё задёргался нос? – Мне, будто околдованной, и отпрянуть, и смотреть одновременно хотелось. Он меня не видел: мазал, мазал и так был увлечён, что, думаю, грабители смогли бы безнаказанно, пока он мазал, всю его мебель вынести. Я была в замешательстве: под боком у меня, за стенкой, такое влекущее безобразие творилось, а я онемела и растерялась, ни бе ни ме себе не могла сказать. Вот и решай, Юра, кто кого

врасплох захватил. Я – как бы я ни ворчала! – не нуждаюсь в фальшивом правдоподобии, и я, поверь, Юра, не против, когда с традиции хотят пыль смахнуть, но когда совсем, враз традицию, идущую от кумира моего, Аристотеля, отменяют и уже не понять никак, что хорошо, что плохо... – лицо приняло скорбное выражение.

– Он раззадорил меня, безнадежно устаревшую, замшелую, своей огненной мазней, неведомо... Это – не моё, чувствую, не моё, а лезу... Лезу наперёд батьки в пекло, понимаешь? Я потом и Елизавету Ивановну на кухне осторожно расспрашивала – что это, с чем едят, как ей самой всё это нравится на вкус и цвет; она, смеясь, только руками разводила, мол, не её ума дело.

Помолчала.

– Нож разума безнадежно затупился? Кто-то из мудрецов сказал когда-то, что мозг наш более пронизателен, чем последователен. Возможно. Но мне-то уже и пронизательности, и последовательности недостаёт. И чувства вмешиваются в самые неподходящие моменты, и без того растрёпанным мыслишкам моим мешают. Ну как, как мне, распрощавшись со здравым, но не спасительным, увы, смыслом, выразиться яснее? Начну издали, хорошо? Давным-давно, ещё на той войне, мне в санитарном поезде врач Гилевский, большая умница, за день до гибели своей от снаряда, подорвавшего хвостовой вагон, где Гилевский был на обходе – я во втором от паровоза вагоне делала перевязки, а так тряхнуло! – про хитрости в устройстве мозга рассказывал. В лобных долях мозга, говорил, есть сгущение клеток, которые всецело ведают памятью. Ещё тогда Гилевский предположил, что воспоминания с возрастом множатся-накапливаются и посылу своему в прощания превращаются, понимаешь? Человек стареет и, подспудно готовясь уходить в мир иной, прощается со всем тем, что довелось ему пережить, со всем своим живым миром. Вот и мне сейчас кажется, будто клеточный участок, ведающий памятью в драгоценном моём мозгу, вот здесь, – хотела, но не смогла до лба дотронуться, рука не послушалась, – разрастается-переполняется и теснит, теснит прочие участки мозга, оба полушария себе подчиняет; мозг наш – *segebrum* на возвышающемся языке латинян, – выходит, не так уж и всемогущ? А у меня – и вовсе беспомощен? Юра, может так быть, что память моя, переполняясь воспоминаниями-прощаниями, уже не только не уместается в изначально отведённом ей лобном закутке и подавляет другие клетки, но вытесняет из мозга самую способность откликаться на новизну и оригинально мыслить? И что же мне поделать с напором сожалеющей памяти? Не поверишь... Но я свои упущенные возможности до сих пор считаю, я и сейчас завидую тому лётчику, который пролететь осмелился под мостом. Я не могу, никак не могу оставить позади всё, что выпало пережить, потому хотя бы не могу, что впереди – пустота. Прости, что-то в сторону меня увело, – вздохнула.

– Туманно? Во всяком случае, как ни стараюсь, хотя и расколдована я давно, не пойму никак до сих пор, что же маховская огненная мазня означает. Какие-то фибры, боюсь, намертво закрыты в моей душе... Ты, – засмеялась, – успеваешь ахиллесовы пяты мои считать? Со счёту не сбился? Бог тебе в помощь... Или, напротив, доверчивые фибры чересчур широко открыты и потому неведома мне чистая мысль? Не могу вытравить из себя интуитивные представления свои о добре и зле, красоте и уродстве. Не знаю, стоит ли сравнивать картину с книгой, но в хорошей книге, как я привыкла, подспудно хотя бы должны бороться добро и зло, я привыкла следить за нескончаемой и неразрешимой этой борьбой, волноваться – в самой этой борьбе всегда заключён был для меня главный смысл книг, самых разных, даже оскорблявших меня, как бывало при чтении Достоевского, чёрными отдельными мыслями. Да, Юрочка, уж как сдавливали, как измучивали меня Гоголь и Достоевский мрачными сарказмами и непосильными своими вопросами, но за душевные муки свои, позволь напомнить, я им, Гоголю с Достоевским, благодарна безмерно, а подхожу к картине – коса на камень. Как говаривали римляне, *pop datur*? Хотя приоткрываются у меня глаза, быть может, думаю не без страха, изводила меня весь мой век ложная в своей заведомой условности антитеза: чёрное и белое, доброе и злое.

Быть может, всё думаю и думаю я, литературе и мне, доверчивой читательнице, так соблазнительно впадать в манихейство, чтобы сложный мир упрощать в морально-словесной своей доходчивости, а вот живопись как-то иначе мир наш воспринимает, иначе трактует... Юрочка, тебе жаль меня, отставшую от века, как от поезда, и растерянно озирающуюся теперь на незнакомом перроне? Твёрдость взглядов сыграла, похоже, со мною презлую шутку, никак, ну никак не могу я начхать на вызубренные «правила». Я, ортодоксальная зануда, лишь смутно догадываюсь, что в картинах есть что-то такое, что словами не сообщить, что-то, возможно, находящееся за гранью добра и зла, неизречённое, для меня, не владеющей языком линий и красок, возможно, вовсе неизрекаемое. И что мне, разбрасывавшей направо-налево и невпопад дурацкие претензии, теперь прикажешь делать, чтобы хоть как-то разобраться в чудовищной мешанине мазков? Растерянно тыкать скрюченным пальцем в небо или гадать на кофейной гуще, есть ли толика человеческого смысла в непонятном изображении?

Если бы она знала тогда, если бы знала, подумал Германтов, что он всю свою жизнь будет протыкать пальцем небо и гадать на кофейной гуще, чтобы затем склеивать свои концепты из домыслов...

– Добро когда-нибудь побеждает зло?

– Когда-нибудь? Ты точно спросил. Учти только, Юра, что зло – это мировая субстанция, а добро всегда индивидуально; если добро в твоей душе когда-нибудь побеждает, то и слава богу. А есть ли общая какая-то балансировка добра и зла, только тот же Бог, вознёсённый так высоко, что никак его не увидеть, может знать.

Опустила голову.

– Не могу с тобой главными своими сомнениями не поделиться: в противопоставлении добра и зла, нравственного и безнравственного есть примитивное что-то, пожалуй, убогое даже, как манихейство, а ведь на контрастном противопоставлении таком вся система наших оценок и самооценок выстроена мы с её помощью сами себя пугаем, сами себе грехи отпускаем, сами себя за носы водим. А ведь всё не так примитивно...

Манихейство? Новое слово...

– Ведь добро и зло не чётко разделены, а разлиты по жизни и неуловимо из одного состояния в другое перетекают. И что же, Юрочка, перетекания такие надо признать вневрастными? Но вневрастное для нас, приученных к упрощённой борьбе добра и зла, кажется заведомо непонятным.

Подняла голову, испытующе посмотрела в глаза.

– Ты волен упрекать меня в непоследовательности и субъективности – ни тпру ни ну, правда? – но пощади, не набрасывайся пока. Я даже подумала, грешным делом, увидев маховские картины, что непонятность – сама по себе непонятность – как вечный и тягостный урок-упрёк; в жизни стараемся мы такой урок-упрёк обойти, охотно на него глаза в быту закрываем, а вот в искусстве... Непонятность – это важное какое-то, возможно, неискоренимое для искусства свойство, – подумала и тут же сама испугалась обезоруживающей, усыпляюще-тупой такой мысли.

Помолчала, всё ещё глядя, не мигая, ему в глаза.

– Увы, мне о душе давно пора думать, а я-то, *sancta simplicitas*, святая простота – понимаешь? – в смятении до сих пор. Спорю, спорю сама с собой, да ещё вдобавок безнадежно тебя запутываю. Да ещё и с менторским тоном не расстаюсь. Заскучал? Когда я на бульваре сочиняла небылицы про дымы коромыслом в вертепах для избранных вампиров и шулеров и расписывала тебе прочую забористо-разухабистую светскую жизнь, ты, по-моему, внимательней слушал. Помнишь, я тебя однажды ещё и философией закармила? Помнишь, Декарт, да и Спиноза отчасти тоже, позднего ренессанса светочи, под сомнение поставили недосыгаемый статус Бога и, отделив Бога как абстрактный символ необходимости от упований каждого конкретного человека, призвали нас покориться всецело разуму? А уж идеи века Просвещения, идеи

полезности, одним лишь разумом вскормленные? Я сейчас так рассмеюсь, что слёзы брызнут: не идеи ли Просвещения привели к тому, что сосуды разума, головы то есть, на откуп гильотине отдали? Да, Юрочка, не самые глупые люди, замечу, понадеялись на проникающе светлую силу разума, намеревались опорочить и вытравить тайну, спрятавшуюся в тении бытия; они словно из виду упустили, что разум – враг откровения. А вот Паскаль возьми да обвини разум в «неизлечимой самоуверенности», возьми да воскликни давным-давно: не хочу ясности! Он посчитал, что логическая ясность – всего лишь самообман. И знаешь, какое сложилось у меня впечатление? Думаю, прислушиваясь к тайным нашёптываниям божественных чувств, Паскаль был бы не прочь вернуться из ренессанса в средневековье.

Непонятность, пугающая, но манящая затемнённости – и ясность, желанная, но обманная ясность; обманная, ибо в свете её оскудевают животворные смыслы.

Что предпочесть?

А она сказала:

– Я, Юрочка, дитя Просвещения, да, не смейся – дитя, как бы это моё признание ни диссонировало теперь с моим внешним видом. Однако... С лёгкой руки просветителей, которым сразу всё ясно стало в раскладе мировых сил, темноты да и вообще всяческие непонимания начали ассоциироваться со злом; что может быть проще – свет-добро и тьма-зло, ухватываешь? Но это не так, не так.

Медленно-медленно переставила ногу.

– И тут я припоминаю, что христианские искания-недоумения на проведённой разумом границе света и тьмы лишь продолжали ветхозаветные. Я припоминаю талмудические толкования того, как пророки тщились увидеть Бога и почему он им лика своего так и не открыл – божеские контуры будто бы были темновато-расплывчатыми, замутнёнными, словно у отражения в старом-престаром, с разъединной амальгамой зеркала, понимаешь? Ну а Моисею, самому деятельному из наших пророков, на вершине пылающей горы и вовсе вместо самого Бога при вручении скрижалей с заповедями явилось ярчайшее свечение-сияние как символическое обозначение места-пространства, где лишь мог находиться Бог. И если облик Творца им самим намеренно замутнён, думаю я, если даже пророки, добиваясь ясности, получили от ворот поворот, то стоит ли простым смертным рыпаться? Думаю, и сам ты готов спросить: если никак Бога-Творца не разглядеть, почему бы и чудесному творению его, всему миру нашему, не расплываться в тумане вечной загадочности? Что же до загадок искусства...

Решительно остановилась и...

– Если я ошибаюсь, поправь меня, – весело посмотрела. – Платон, по-моему, искренне хотел изгнать поэтов и художников из своего идеального государства, они ведь безбожно путают понятия, мутят воду.

И уже смотрела серьёзно:

– Скажи, скажи по совести, неужели ты понимаешь то, что ты видишь, то, что развешено у Махова по стенам? Я, конечно, как свинья в апельсинах, в изящной той мазне разбираюсь, и я ужасно субъективна, ужасно, и осрамиться могу в два счёта, но, боюсь, Юра, боюсь, вдруг ничего полезного для себя ты там не почерпнёшь? Правда, как знать, пути Господни неисповедимы...

И, оборвав отрицающую саму себя мысль:

– Юра, почему ложь в жизни остаётся ложью, как бы её ни маскировали, а ложь в искусстве – изволь принимать за правду? И ложь в Искусстве – Искусстве с большой буквы, понимаешь? – даже не надо маскировать, напротив. Вот один из французских писателей открыто признаётся: «Я всех обманываю, я не тот, кем кажусь...» Каково? Он – не тот, он – не он... Он, оборотень, всех обманывает, а это – правда, так? Или и тут, в оценках литературы, как и в оценках живописи, я упрямо держусь за изъеденные молью лет представления?

А-а-а, всё-таки упомянула Пруста. Германтов как-никак поднаторел в извлечении скрытых цитат из текстов; «Я всех обманываю... я не тот, кем кажусь...» – о, в каких только грехах не признавался сочинитель Пруст: «Позаимствовав чужую личность, разбойничаешь под прикрытием этой маски, крадёшь черты, грабишь сердца...» И вспомнил Германтов, сразу же вспомнил: «На правую руку надела перчатку с левой руки» – тоже цитата, поэтическая, и – иной коленкор! – явно не из Надсона выдернутая; перевернулся на другой бок.

– Узнаешь ли ты, Юра, что такое искусство в тайной сути своей и почему от искусства никак не удаётся мне, далёкой от него, отвернуться? Почему дразнит и дразнит меня запрятыми загадками, как кот в мешке? Что вообще вытворяет искусство с человеком, его душой? Не вешай нос и не бойся, что замах на рубль обязательно обернётся ударом на копейку, не бойся – и тогда узнаешь, лъщущ себя надеждой и верой – узнаешь. Но ничего не сможешь мне уже объяснить, твои будущие открытия спрятаны от меня за семью печатями. Потому-то мне и остаётся сейчас лишь смиренно помнить про исходную замутнённость сущего, однако, не переставая рыпаться, уповать на оскудевший, подавленный мой умишко да на подсказки узоров кофейной гущи. И всё же... Мне, наверное, давно пора извиниться перед тобой за утяжелённые и неуклюжие мои мысли, не говоря уж о чудовищной их разбросанности, но послушай, послушай. В священных иудаистских книгах каждого еврея назначают в посредники между Создателем и его Созданием-мирозданием. Ну а если роль посредника отдана вовсе не Богом избранному, к радости раввинов, народу, а своевольно взята на себя, эта роль, вне-национальной, но узкой и нахрапистой кастой художников?

Вздохнула.

– Ты заскучал? Скулы сводит?

Вздохнула.

– Помнишь, я говорила, что ты в столкновениях чувств и мыслей своих примешься искать ответ на вопрос – что такое жизнь, в чём загадка её? Так вот, я вовсе не открою Америки, если предположу, что и искусство ищет на вечный вопрос ответы. Ну да, категорически нет на этот вопрос ответов, а искусство ищет, понимаешь? Только ищет по-своему, в обход логики, что ли? И сразу повсюду и по всем направлениям, как бы без руля с ветрилами, ищет. И сам поиск этот взбудораживает нас, понимаешь? Бог-создатель засекретил глубинную суть жизни и скрыл от нас назначение мироздания, а искусство возьми да посягни на божеские таинства – ищет, ищет разгадки... И коли искусство запретным поиском озадачилось-соблазнилось, самые дерзкие, отважные и прозорливые из посредников между Создателем и его Созданием высвободились из смиренных рубашек веры, незаметно для себя превратились в соперников Бога, вот и не понять уже, кто кого – Бог художника или художник Бога – держит за бороду. И прости мне, ради Всевышнего, мою наивность, мою настырность: Юра, почему искусство бессмертно? Всё вокруг нас разрушается, гниёт, разлагается, а я о башнях собора в Шартре, торчавших из утреннего тумана, никак не могу забыть. Почему так гордо и так естественно возвышается искусство над жизнью? Не потому ли, что мы, как котятка, тычемся и тычемся мимо нужных дверей, а искусство узнало уже или вот-вот, прямо на глазах у нас, узнает какой-то, возможно, главный её, жизни нашей, секрет? Возможно, – будто бы физически одолевала свои сомнения, – падёт тогда и секрет ежесекундной балансировки на неуловимой для меня грани многоликих и зыбучих в проявлениях своих добра и зла. Не сопричастность ли к этому узнаванию внушает нам нестерпимый трепет? Я всё время вспоминаю итальянскую, флорентийскую, если не ошибаюсь, картину, я её увидела... сердцем: на ней девушка с прекрасным просветлённым лицом и лёгкой фигурой, прекрасная и цветущая, как весна, она и девушка, и весна, понимаешь? – с усилием повернула к нему маленькую, выцветшим беретиком обтянутую головку.

Непонимание – как внешняя преграда, стена, и Аня, физически обессиленная, но упрямая, непокорная – перед той стеной?

– Мне это нужно как рыбе зонтик. Но с тех пор как я в комнату Махова заглянула без стука, всё думаю о той дивной картине, сравниваю её с другими картинами. Почему, думаю, какое-то искусство возвышается, а какое-то – нет? Этот вопрос к разным видам искусства относится, к самым разным, но позволь мне на картинах сосредоточиться, коли уж своими глазами довелось мне кое-что подсмотреть. Хорошо? Когда-то, ещё в Париже, когда старалась вразумлять меня Соня, я, ослица-упрямица, не сомневалась в том, что нельзя развращать похвалами и незаслуженными аплодисментами тех, кто потешается над тобой, наслаждаясь твоей растерянностью, нельзя с ними, заигравшимися, как все горе-революционеры, в детей-проказников, нянчиться. Теперь вот, подсмотрев по-соседски за тем, как самозабвенно мазал красками Махов, думаю, думаю – не заблуждалась ли я тогда? И, задумавшись, готова уже смягчиться, может быть, он, бедняжечка, непередаваемо страдает с кистью в руке, а я, старая и трухлявая, как пень, нечуткая, отживающая свой век под гнётом самоочевидностей дура, на него навешиваю собак? Быть может – осенило недавно, – в каких-то картинах радость жизни нас привлекает, из каких-то – боль наружу выплескивается, а я, обленившаяся ослица, на несчастного художника, не на себя вовсе, обижаюсь за то, что его боль не умею пока изведать, увидеть? Всё красное – какой пожар пишет Максим Дмитриевич? Всемирный пожар или пожар страсти? – экономным, одной ей доступным жестом изобразила поэта на эстраде. – С помадой алой сажа смешана... Или это вечный пожар души, её внутреннее горение? – она словно подслушала стоны, бормотания и выкрики Махова, обычно сопровождавшие смешения красок, упругие удары по холсту кистью, да, да, он словно шёл на холст в психическую атаку. – Я ведь уже согласна с тем, что искусство не для того только существует, чтобы развлекать или врачевать, утешать, но никак не успокоится моя душа, никак не успокоится, а мозг беспомощно бурავят сомнения.

Шаг, ещё шаг.

– Я читала: красота имеет смысл сама по себе... единственный смысл искусства в том, что оно прекрасно... Но вдруг, да, Юра, вдруг, как ни голословно это звучит, прекрасное оборачивается безобразным и даже окатывает нас ужасом, леденящим ужасом, понимаешь? – Тут вновь вспоминалась ей глубокая, трагичная и остроумная английская книжка, в идейной сердцевине которой, как и в самом бытии, в глубинах его, сгустилась мрачная тайна, сплавивающая также искусство с жизнью, тайна и – смертельная цена за попытку её разгадки – Смертельная цена, понимаешь? Там, в книжке той, на фоне добропорядочной и славной викторианской эпохи описываются две судьбы, – внимательно смотрела в глаза Аня, – портрета и человека, изображённого на портрете, две неожиданно страшные и зависимые одна от другой, две ужасные, нерасторжимые и взаимно мстительные судьбы...

И – опять – вдруг:

– Почему – только крайности, почему не найти никак мне золотой середины?

Сжать пыталась ладошку.

– Юра, от моих умозаключений раскалывается голова. Человек – мера всех вещей, так? Человек по себе, по своему масштабу, и сам, по своему усмотрению, измеряет всё, что есть в мироздании. Он будто сам – метр-эталон, да ещё с метровой рулеткой в руках рождён, понимаешь? Но и художник ведь человек, художнику тем паче всё дозволено, ему и сам бог велит весь мир целиком и все отдельные вещи измерять по своему наитию-усмотрению... И что же – миров и вещей, самовольно выраженных и измеренных, как бы к мере своей подогнанных, ровно столько будет, сколько народится художников, каждый из которых увидит себя единственным в центре вселенной? Тут бы и мой любимый всеведущий Аристотель смутился, разве что посетовал-посоветовал бы: «Это можно сказать, но этого нельзя думать»; да, мне, верной эллинскому духу, не зазорно было бы сразу согласиться и с Аристотелем, и даже с самим Сократом. Да, я ведь – не сомневайся! – не только пытливая заболтавшаяся тётя твоя, но и тютя обыкновенная, я ничуть не умней Сократа, я тоже, как и он, «знаю, что ничего не знаю»,

однако думаю, думаю – не даром в гимназии, когда я задавала на уроках неудобные вопросы, называли меня мастерицей вывязывать гордиевы узлы.

И продолжая:

– «Ничего не знаю...» а надо ли знать? Да ещё и обманываться при этом, что теперь-то знаешь точно, наверняка, как мир устроен. Посочувствуешь ли? От сомнений то щемит, то сосёт под ложечкой. Фауст за обладание знаниями, как ты уже слышал, надеюсь, продавал дьяволу душу, надеялся хотя бы толику из энергии всемирного зла пустить на благое дело познания. Сомневаюсь, однако, что благо, замешанное на зле, вообще возможно! И потом знание, познание – разве процесс расколдовывания мира, запущенный просветителями, сделал наш мир понятнее? Дудки! Скорее даже наоборот. Но и другой вопрос тут напрашивается: неужели знания, которыми мы упрямо овладеваем, по заряду и посылу своему непременно дьявольская продукция?

Переводила дух...

– Ты не забыл, что я быка за рога держу? Уже хорошо... Искусство может опустошать, скажи, может?

Из своих непониманий и недоумений она будто программу размышлений подготовила ему на целую жизнь.

Спрашивала не мальчика, которого из последних силёнок старалась удержать за руку, а – его-взрослого, сведущего в тонкостях своего предмета и изощрённого в истолкованиях, объяснениях, спрашивала, понимая, что не дождётся его ответа? Да и знал ли теперь он, многоопытный мэтр-концептуалист, ответы на те вопросы?

А она сама себе – и заодно ему – попыталась всё же ответить.

– Знаешь ли, до чего ещё я, старая неисправимо наивная простофиля, доходила своим умом? В голове моей куча непониманий разрастается из противоречивых обрывков мыслей, я при всей своей разборчивости в куче той копаюсь, копаюсь. Но хочешь, коротко и ясно скажу? Я ведь до чего-то неожиданно для себя докапываюсь: поймала себя на том, что искусство всех тех, у кого сердца открыты к нему, только наполняет, понимаешь? А истощать-опустошать искусство может только самих художников, музыкантов, писателей, если они все богатства душ своих вкладывают в произведения. Вот Гоголь нервное истощение испытал, когда всё отдал, всё... И как зябло ему было, как страшно он, опустевший, умирал.

И далее, закипая:

– Что с нами будет, Юрочка, если всё то, чем пугает меня искусство, особенно то, сверхновое, уродливой гримасой искажающее мировой лик искусство, которого я не понимаю, но инстинктивно боюсь, – правда? Осмелюсь напомнить, я готова согласиться: за красотой, на изнанке её, может прятаться и что-то страшное, уродливое, не назначенное вовсе радовать глаз, но если, прости за бестактность по отношению к Максиму Дмитриевичу, то, что я вижу – не красота вовсе, а чёрт знает что? И что же, уже не картина передо мной, а зачем-то подменившая прекрасное, как у девушки-весны, лицо жизни, обезличенная, удручающая, отвратительная изнанка? Всё – шиворот-навыворот, а ты изволь внимать-понимать? Но я подумала: красота – это не *desoign*, это что-то большее, понимаешь? Что-то, что, может быть, мы даже не видим, в отличие от *desoign*, а только чувствуем. Фу ты, действительно, масло масляное, совсем я зарпортовалась. Прости, я несу несусветную чушь, да, несу, вместо того чтобы чеканить окончательные слова, хотя то и дело чувствую себя всезнайкой-заснайкой. Соня, обычно молчаливая, как сфинкс – слышал из неё в детстве даже клещами слово нельзя было бы вытащить, за болезненную застенчивость и молчаливость её дразнили сфинксом, – тоже, как и я теперь, тогда, в Париже, не смогла избежать бестактности. Да, я не поддавалась, не боялась тогда выглядеть старомодной и, помню, не желала с умным видом расхваливать красоту расплюснутых и размазанных по газону синих и жёлтых женщин. И вот на какой-то из выставок, где бестелесные разноцветные женщины те истинным ценителям казались перлом творения,

Соня – какая муха там её укусила? – всплыла, наговорила мне много обидных слов, сказала, помню, что я своё воображение сначала изнурила вопросами «похоже – не похоже», затем и вовсе извела противной искусству логикой, которая убоялась изменений, развития; за глупые вопросы-утверждения мои обозвала меня дремучей, и я, как побитая собака, поджала хвост. Тогда мы с Соней потеряли общий язык. А теперь думаю, думаю, что яблоко раздора созрело-разрумянилось, когда мы под разными углами зрения картины рассматривали. Из-за чего, неужели из-за красочных пятен прорвалась взаимная нетерпимость? Я ведь уразуметь хотела, чтобы окончательно не стать психопаткой: это всего-то вскрик моды или серьёзный поворот, чьи последствия впереди? Но, вожжа под хвост, так и не поняла... Я, к сожалению, и в самом деле дремучая, по крайней мере, на взгляд тех, кто сведущ мало-мальски в высоких завыках искусства. Я ведь раньше глупо, но, прости, как могла, отбрыкивалась от Сониных укоров: спрашивала с невинным видом: «А судьи кто?» или вспоминала с ехидцей сказочку про мальчика и голого короля, понимаешь?

Остановилась, переводя дух.

– Если договаривать, я ещё сказала тогда, что все будто нарочно рисовать разучились, а я должна аплодировать за откровенное неумение? Надеюсь, мы с тобой заодно? Правда, в этом есть что-то детское: не умею, но рисую, а вы, взрослые, попробуйте только не похвалить?

Слякоть, лужи... накрапывал дождь.

– А летом, – вздохнула, – пыль.

Пошли.

– И мало того что дремучая, так я ещё ужасно привередливая в мыслях своих, ужасно, и из-за привередливости своей в открытую дверь ломлюсь, напыжившись, все корневые связи жизни и искусства хочу вмиг выявить и понять, все. Ко всему я, что твой Фома неверующий, даже тогда, когда, безусловно, красивую и понятную картину рассматриваю, когда разжѐвано в картине всё и в рот положено, и то в увиденном сомневаюсь. Ты видел «Последний день Помпеи»? И скажи, Юра, положи руку на сердце, если видел, скажи, так это было на самом деле или не так?

Неожиданна, но точна была в постановке вечных вопросов своих Аня! Германтов не переставал дивиться её наивному – при всей её пѐстрой эрудиции – и потому, наверное, точному такому уму.

Как было?

Висит в Русском музее роскошное, пир для глаз, академическое полотно, а в натуре – пепельно-желтоватые, оплавленные камни, осыпающиеся мутные фрески и – фоном – голубоватый Везувий, как кажется теперь, непричастный к случившемуся. Искусство – фантом, жизнь, разрушенная временем и превращѐнная в немой артефакт, – тоже фантом, вот и сравнивай фантом с фантомом.

Как было – не узнать уже, глядя на то, что стало. Чему же верить, живописным фантазиям? Но изображение – ложь, как и изречѐнная мысль...

Или всё-таки – прочь сомнения-подозрения, сначала стоит на слово поверить Плинию Младшему?

И потом всё равно солгать, переводя свидетельское слово в изображение?

– А если не понять, как было, ибо несторов-летописцев не напасѐшься на каждый исторический чих, и уж тем более не понять – как будет, если будущее во все времена смеѐтся над предсказателями, зачем заменять вдохновение, сладкие звуки, молитвы всей этой устрашающей, всей этой путано-перепутанной и отталкивающей чепухой? Что за капризы? А если это действительно капризы, натужные розыгрыши себялюбцев, дразнилки для недоумков таких, как я, то почему они мне такой страх внушают? – вопросительно повернулась к нему. – Всё, думаю, хватит, хочу нюхать розы. Но мне до сих пор невмочь, из крайности в крайность меня мотает. Я, обычно строгая в своих мыслях, запуталась и, боюсь, не выпутаюсь уже, но вернусь

всё же к тому, с чего начинала, к тому, что смущает меня, даже настораживает. Я, как ты заметил, храбрюсь, отругиваюсь, непростительно бравирую даже непониманием, но, может быть, я чересчур рациональна и что-то подлинно ужасное и потому заведомо сложное и глубокое хочу упростить, сделать плоским, чтобы подогнать к спокойным своим привычкам, может быть, мне самой недостаёт чуткости особой и дальнорзоркости, чтобы канун Армагеддона не проворонить? Я, Юрочка, храбрюсь, но ощущаю свою ущербность, – она пугливо доставала из тёмного уголка своего позитивистского сознания реестр грядущих, пока неясных, но так раззадоривших воображение художников бед.

– Тебе не надоело? Ты хоть понял, какая у меня сумятица в голове? Вот и валю с большой своей головы на твою головку, здоровую. И извини великодушно за маниакальность, от проклятых вопросов своих я не могу отвязаться. Поэтому и язык никак мне не приструнить, расусоливаю и рассуоливаю. И что мне с собой поделывать? Мне симпатичен Паскаль, боявшийся ясности, а сама я хочу что-то понять окончательно, непременно – ясно и окончательно, что-то хочу доказать себе и тебе, но не могу.

Помолчала, пожала плечиками.

– У тебя так бывает? Вдруг чувствую, что мысли, которые волна за волной накатывали, в пену суждения обратились, я ничего умного не в силах больше из себя выдать. Юрочка, ты понимаешь меня? Правда, понимаешь?

Благодарно помолчала, вздохнула.

– Я не шучу, не хочу просто так под занавес, перед тем как на небеса упорхнуть, красным ли блеснуть, крепким припечатать словцом. Я, напротив, смущена тем, что многие трубят о несказанно прекрасной, но доступной лишь избранным ценителям новизне, вместо того чтобы попытаться уразуметь, что нам всем эта безобразная, на мой вкус, и уж точно озадачивающая не меня одну новизна сулит. Вот я и попыталась вникнуть, и мысль одна меня поразила-сразила так, что я даже подпрыгнула бы от радости и вытянутые стрункой – или шпагатом? – ноги в полёте раскинула бы, как балерина, если бы с божьей помощью смогла земное тяготение одолеть и подпрыгнуть. Не будешь надо мною смеяться? Правда? Тогда не сносить мне буйной моей головушки, не стану скромничать и, надеюсь, удивлю тебя, да, от заурядного балетного прыжка-полёта, такого, какие из лож своих равнодушные великосветские хлыщи лорнируют век за веком, отказываюсь, я лучше крутану для одного тебя прямо сейчас салто-мортале под куполом цирка! Я ведь на любую эксцентрику готова, лишь бы оттянуть своё неминуемое фиаско. А ты готов мне рукоплескать? Бог свидетель, я тебя одного, пытливого, доверчивого и непредвзятого, только решаюсь спросить об этом с глазу на глаз, только тебя – другие бы тухлыми яйцами меня закидали. Итак, цирковые фанфары оттрубили, ковёрные красные носы задрали задорно, ты затаил дыхание: может быть, Липа – он, кстати, как знаешь, с земным тяготением, в отличие от меня, на «ты», – поджала губы, – посылает на далёкие планеты своих сигнальных зайчиков, а нам оттуда, с далёких-далёких тех планет, отвечают так странно, так страшно, так мутно и иносказательно, но со сверхъестественной убедительностью... Отвечают через непонятно таинственные безутешные картины художников, которых душит экспрессия: картины, где прекрасные некогда классические тела смяты и перепачканы, скрипки, божественно отзвучавшие, разломаны... Картины такие предупреждают нас, слепцов в розовых очках, что сами мы, бездумно рождающие и убивающие себе подобных, – заклятые враги свои, что в дальнейшем, если мы не исправимся, утонем во мраке и хаосе?

«Как, как надо нам исправляться?» – успел подумать.

– Трюк удался? Пощекотала нервы? Но не принимай слишком близко к сердцу мою мечтательную экстравагантность, – она и ладошкой сразу будто бы небреженько помахала, чуть приподняв с усилием руку, мол, мало ли что могло ей, пока мысли сами с собой боролись, взбрести на ум.

– И пошли, пошли, хватит ворон считать.

Но как же хотелось ей повнимательнее, на свету божьем, рассмотреть-понять и болезненное нутро, и двуликий лик добровольных разрушителей гармонии.

Она их демонизировала.

– Когда Максим Дмитриевич надевает пиджак, собирается в Академию художеств на занятия и начищает в коридоре ваксой ботинки, – потянула потешно носиком, – нормальный человек, ничего не скажешь, у него шляпа есть, зонт. А когда в закупорке своей управляется со своими пахучими картинами? Перемазанный красками, какой-то перевозбуждённый, как при лихорадке, вспотевший, будто бы тайной запретной ворожбой занимался, а его вспугнули и испариной он покрылся. Я ещё, когда из неприличного любопытства в дверь к нему заглянула, догадалась сразу, что не в себе он, не в себе, и всё тут. И он сам это вскоре подтвердил, сам. Обычно такой вежливый, обходительный, недавно он чуть с ног меня не сшиб в коридоре и не извинился, дёрнулся, отшатнулся от меня, быстрее и опасливее, думаю, отшатнулся, чем чёрт от ладана, и зло заворчал что-то нечленораздельное, словно он вмиг свихнулся; мне, если б умела, впору было б перекреститься. Можно ли поверить, что там, в коридоре, Максима Дмитриевича коснулось... – что-то по-французски прошептала, повторила по-русски: – Можно ли поверить, что его коснулось, «овеяв холодом, безумия крыло»? Это – бред, ни в какие ворота. Не понимаю, как Елизавета Ивановна может нормально себя чувствовать среди огненного мрака, так и не разобравшись окончательно, что к чему? Как может спокойно читать, проверять тетради, кушать, ложиться спать? Знаешь, меня обескураживают самые простые вещи, самые простые. Бог с ними, с непонятыми картинами. Но тебя разве не смущало само поведение Максима Дмитриевича, его раздвоенный *modus vivendi*? Два разных человека, оба – Маховы, но, клянусь, в разных мирах обитающие. И один нормальный, а другой – ненормальный.

«Вот бы ей тогда словами Фуко ответить...» – заворчался Германтов.

Ей-то, когда и муж, и сын её были такими же ненормальными, сетовать на бредовую одержимость Махова?

По потолку скользили мягкие тени.

Мягкие-мягкие, будто карандашная растушёвка.

Только что высказала смелую догадку о предостережении, пересланном нам в красочном слое непонятно страшных картин с далёких планет – действительно, эффектно крутанула сальто-мортале, но потом опять соблазнилась облегчением мысли, принялась искать объяснения всего того, что никак не могла уразуметь в новой живописи, в психическом травматизме художников?

– Неудивительно, – скажет через много лет Штример, когда Германтову к слову придёт поведать ему о простодушно мучительных исканиях Анюты, о её болезненных сомнениях, – неудивительно, в искусстве внезапно сам его объект подменился, не так ли, Юра? И как же любомудрой старушке, получившейся из восторженной гимназистки, было не растеряться, во все тяжкие не пуститься? – Штример размышлял вслух. – Раньше, мой дорогой ЮМ, изображалась-выражалась красота того, что мы с рождения видели окрест себя, в природе, во внешнем мире людей и рукотворных вещей, не правда ли? И вдруг на тебе: художнику понадобилось выразить, а нам – воспринять красоту самого творческого порыва, красоту, которой не указ привычные эстетические законы.

И вдруг опять зазвучал голосок Анюты:

– Хорошие манеры не помешают. Но я хочу... Держу пари, не угадаешь, чего ещё я от тебя, почти замученного мною, такой речистой, хочу! Вокруг разгул безвкусицы, оскверняющей всё и вся, пожирающей бедную и незащищённую красоту, едва она промелькнёт, и поэтому прежде всего я хочу, чтобы у тебя был вкус, хороший вкус.

Вкус?

А был ли вкус у неё, судя по всему, ценившей модерн в архитектуре, но разбиравшейся в новой живописи, как свинья в апельсинах? Был ли вкус у неё, ослицы, не желавшей заражаться мрачной музыкой Вагнера?

Как ненавязчиво делилась своими знаниями, сомнениями, как артистично бравировала своим невежеством.

И какой разброс предпочтений!

Данте как Бог, Бог-Поэт, творец словесной вселенной. И, по её мнению, он, Данте, гениален не только как поэт, но и как проектировщик.

– Побывал ли он в натуральном Аду, в душу ли свою, где обосновался Ад, заглянул, кто знает? Кажется, однако, когда читаешь его поэму, непостижимую в волшебстве своём, что им не просто где-то что-то ужасающее подсмотрено, – кажется, что им самим гениально спроектированы Ад и Чистилище, эти страшные конусы-горы, опоясанные кругами-тропами; понимаешь, образы Ада будто бы растворены в словах, но неожиданно кристаллизуются: зримо проступают при чтении силуэты, контуры, и доходит до тебя, что все они сначала осмыслены и спроектированы, а лишь затем – выписаны. Ты когда-нибудь его, Данте, дерзновенно невероятное в конкретностях своих проектное искусство непременно оценишь... – И тут же, за Данте, через запятую – Надсон, первая поэтическая любовь, и – мимоходом – строка из «Цветов зла», прочтённая по-французски, а до этого – «На правую руку надела перчатку с левой руки», да, Ахматова, и, кажется, Брюсов? «С помадой алой сажа смешана...» Правда, самому Брюсову вряд ли пришлось бы по душе маховские холсты; и – вдруг – карамазовский чёрт в клетчатых брючках, и криминальные роскошества, жестокие страсти немого кино; «Алиса в стране чудес» и – «В шесть часов вечера после войны»; неизгладимые впечатления, такие пёстрые... Мурашки, пробегающие по телу; воспоминания как прощания – заведомо неразборчивы?

Был, однако, вкус, был, думал Германтов, а как её терпимый и нетерпимый вкус определить – не знал; думал и – подумал почему-то, что разнородные вкусовые пристрастия прощавшейся с миром Анюты в памяти его чудесно слил воедино именно Витебский вокзал.

\* \* \*

Германтов чуть позже, когда освободится из-под опеки Анюты, высвободится из словесных её пелён – освобождение вполне естественно совпадёт со смертью Анюты, – будет нередко приходиться сюда сам: магнит не ослабевал, притягивал.

Он с детства чувствовал себя одиноким, он был один в суетливом, опасном, прекрасном огромном мире, образ которого как-никак сформировался в полижанровых монологах Анюты, – совсем один; и чем больше он узнавал людей, включая уличных и школьных, а затем и институтских друзей-приятелей, тем более одиноким становился, один – в точном соответствии с прогнозом Анюты – против целого мира... Не в плане открытой борьбы с ним, многоликим, опасным, утесняющим всякого индивида миром, а лишь в плане внутреннего, защищающего своё «я» сопротивления. – О, он не был отшельником, нет-нет, он мог играть, сблизиться, даже дружить, его, такого влюбчивого, влекли женщины, о, в детстве он влюблялся в Олю, Гаю, Бебу, Аню, всех из потенциального донжуанского списка не перечесать... В отрочестве... О, достаточно сказать, что месяца три, не меньше, нашему отроку терзала сердце юная прима-балерина Заботкина, всласть с ним потанцевавшая на сцене его эротических сновидений, а едва посмотрел он «Мост Ватерлоо», так тотчас же и без угрызений совести изменил Заботкиной с Вивьен Ли, а уж потом... Сейчас он почему-то вспомнил Сабину; о, чаще всего спонтанные избранницы охотно отвечали ему взаимностью, но общение ли, даже интимная близость уже не захватывали всего его существа и ничуть не ослабляли чувства заброшенности, покинутости, как если бы скорый надлом отношений таился уже в истоке влюблённости;

и чувство это, гнетуще-тревожное, но, как ни странно, делавшее его счастливым, обещавшее ему впереди неожиданные открытия и, надо сказать, в этих смутных обещаниях потом не обманывавшее, он особенно остро переживал в детстве ещё, на вокзале, в толчее и суете.

Наблюдал за коловращениями в замкнутом мире грязи и нищеты, необъяснимо и волнующе связанном с другим миром, огромным, всеохватным каким-то; наблюдал за бедным вокзальным людом, но его – избавил бог от дурных соблазнов – не влекла воровская романтика, он не завидовал беспризорным своим ровесникам, тем, кто путешествовал из края в край необъятной страны в продолговатых чёрных ящиках под вагонами, нет и нет, Германтова – поначалу неосознанно – влекла фактура, неряшливая тряпично-телесная фактура немойтой, вязкой, принарядившейся в «шурум-буруме» и заполняющей теперь вокзальные пространства, все их закутки, человеческой массы. И поскольку Анята успела снабдить красочными рассказами о цветниках, пахнувших кофе и корицей буфетах на французских и немецких вокзалах, заполненных тоже возбуждённо-торопливой, тоже суетливой, однако чистой, воспитанной и нарядной публикой, эту благополучную публику, украшенную элегантными дамами в огромных шляпах – аристократов, буржуа, нуворишей, добропорядочных обывателей, – воображение превращало в сырьё, как если бы не только «мрамору пышных дворцов» сполна досталось от революционных масс, но и её, ту заграничную или даже русскую, но – добольшевистскую, публику, к которой он охотно добавлял и немых шикарных двуполых кинематографических эротоманов, а по совместительству – вампиров и шулеров, толкали, пинали, мяли, поливали солёным потом, осыпали угольной и цементной пылью, возможно, что и топтали в революционном раже грязными пролетарско-крестьянскими башмаками, дабы заполнить Витебский вокзал именно этой неуёмной фактурной массой. . .

И её, эту разношёрстную пульсирующую человечью массу, действительно обрамляла – и пропитывала? – прекрасная архитектура.

Обшарпанная, но – прекрасная!

Вокзал, представлялось, был не только магнетическим центром мира, но при этом весь наш необъятный и необъяснимый мир, весь-весь, с непочатой своей энергией, образно обнимал и в пышных, но уравновешенных формах своих полно и точно, хотя и иносказательно, в камне, штукатурке и металле, воспроизводил.

И при этом вокзал воспринимался как испытание памятью, как образ – накопитель стольких утрат; вокзал неуловимо менялся, мерещилось, что Анята после смерти своей перевоплотилась в формы и пространства вокзала, и хотя эти же лестницы, пилоны, своды, купола вроде бы оставались такими же, как и при её жизни, теперь они были для Германтова другими, ощущаемо другими.

И вдруг долго и терпеливо впитывавшие время камни утрачивали прочность, делались эфемерными.

Случалось, неряшливые шумные человеческие волны вдруг иссякали; Германтову даже чудилось, что иссякали навсегда, что встречающие с картонными перронными билетиками в руках больше здесь не появятся, поезда – не придут; не зря ведь и расторопные наглецы носильщики в брезентовых фартуках с номерными медными бляхами исчезали вместе с тележками, словно в тартарары проваливались.

И будто бы весь мир уже обезлюдел.

Необъяснимая боль пронзала на опустелых, после того как, попыхтев, погремев буферами, паровозик-толкач убирал порожние грязно-зелёные составы, платформах – какую-то сосущую тоску провоцировали наклонные бетонные, перепачканные битумом тумбы в тупиках путей, жирные пятна мазута на прогнивших шпалах да ещё окурки и пыль и замесивший привычную вокзальную вонь формалиновый, будто бы в морге, дух.

Ну да, ну да, возвращал уже промелькнувшую мысль Германтов: он, по своему обыкновению, искал художественную формулу. Чем был вокзал для Аняты? Воспринимала ли

именно так, обобщённо и остро, Витебский вокзал Анюта, не воспринимала – Германтов мог лишь предполагать, и всё же теперь почувствовал, что этот вокзал в стиле модерн после всего, что Анюте выпало пережить, в последние её годы вполне мог стать для неё окаменевшей метафорой.

Глобальной пространственно-пластической метафорой всей прошлой жизни её, а потом ещё и метафорой расставания-прощания с городами, близкими людьми, с самой собой, умирающей.

– Что потом будет, Юра, не знаю, ум цепенеет, ждать от меня прозрений – как с козла молока, – подходили к вокзалу, – это так страшно – смотреть в будущее на старости лет, когда столько накопилось на сердце, когда за плечами жизнь, так страшно. Понимаешь? Будущего у меня нет, а я всё пытаюсь в него смотреть.

Вот уже и ей страшно...

– Юрочка, – её голос дрогнул, – знаешь ли ты что такое смерть?

– Нет, не знаю.

– Это естественно для твоего нежного возраста – не знать. Однако, как ни странно, я тоже мало что про смерть знаю! Вот она, костлявая и беззубо-немая, рядышком, а я в неведении, глазами-ушами хлопаю. Платон рассуждал в том духе, что если мы не знаем, что такое есть смерть – а все мы, пока живы, действительно этого не знаем, – то, выходит, и нет причин, чтобы её бояться; слабое утешение, а?

Беспомощно улыбнулась.

– А как тебе, например, понравится смерть в образе богини, парящей на тёмных крыльях?

Помолчала.

– Поэты-язычники горазды пофантазировать, правда?

Помолчала.

– А невозмутимые римские статуи, обосновавшиеся в памяти, теребят меня коллективной античной мудростью: *respice finem*, понимаешь? Ежеминутно назойливо теребят и теребят меня: помни о конце, помни о конце...

Всё ещё беспомощно улыбалась.

– А сколько изошрённых, но пустых обещаний. Желаете обрести бессмертие и вечно плодоносящих куцах жить припеваючи? Обретёте, даст бог, но сначала – умереть извольте. Что ж, глубоко верующие во Христа не боятся смерти, им и карты, *parдон*, свечки в руки, но я-то боюсь, значит, я, – сухо усмехнулась, – неверующая, и не ждёт меня спасение, понимаешь?

Удивительно: дословно помнил её шутливо-горестные признания, слышал сухой тихий смех.

– У последней черты, когда шаг остался, мой горизонт так пугливо сузился, меня даже мудрые и красивые, порой пронзительные, как стрелы, мысли самого Паскаля больше не принимают. Или я уже попросту не могу их воспринять и переварить? Он полагал, например, что человечество – это один человек, живущий вечно. Может быть, может быть, но мне-то – не легче... Свежо предание, а верится с трудом, понимаешь?

И сейчас на него смотрели её глаза.

– Юрочка, я чересчур разволновалась, прости меня, для тебя вся моя болтовня сейчас – ерунда на постном масле, но когда-нибудь ты непременно меня поймёшь. Я говорила тебе, что мы все – слепцы в розовых очках. Да. В юности к самым мрачным раздумьям примешиваются грёзы и спасительная толика романтизма. И даже на старости лет усталые пустоватые надежды всё ещё преследуют по пятам, пока вдруг окончательно не почувствуешь, до чего страшно и душно жить; вот сейчас – холодно, сыро, мокрый снег валит, а мне душно, душно потому, что простора нет и не вздохнуть уже полной грудью. И как же из страшной скукожившейся духоты этой в будущее смотреть? Я, бывает, затемно просыпаюсь и думаю, думаю: что воочию там, в черноте, в сгущениях сажи, можно, пусть прозрев, пусть и сняв розовые

очки, увидеть? Ума не приложу, да и скован, безнадежно скован уже мой мозг. Я знаю – у каждого свой Страшный суд, а всех нас ждёт одна ночь, знаю, что и для меня, пусть я на свете всех милее, всех румяней и белее, милосердный Господь, он же Спаситель наш, не сделает исключения. А что там, в вечной ночи? Не знаю...

И головой покачивала...

– Ни за что не угадаешь, что мне вчера приснилось! Мне во сне позвонила по телефону мама, а я – невероятно, правда? – спросила её: откуда ты мне звонишь?

Она, бесстрашная, не боявшаяся ни Ягоды, ни Ежова, ни Берии, ни самого Сталина, боялась смотреть в будущее, боялась смотреть туда, где её не будет? И Данте не помог ей вообразить своё небытие...

Но почему страшит так небытие? Ведь всё, по её же словам, так обыденно: бредёшь себе и бредёшь в потёмках, пока не шагнёшь во тьму...

Почему... почему...

Она боялась того же, чего и он так сейчас боялся? Германтов приподнялся и вновь уронил голову на подушку; и получалось, как ни крути, что он целую свою жизнь искал и чаще всего не находил ответы на вопросы, которые задавала и задавала ему на тех памятных прогулках Аня; а она, заблудившаяся в трёх соснах, боявшаяся смотреть в будущее, оказывается, так далеко смотрела, столько всего там, за предательски убегающим горизонтом, сумела высмотреть.

И целую жизнь, получалось, он, насколько мог, неосознанно, с переменными, мягко говоря, успехами, но – следовал её заветам? И теперь следует, когда пришёл его черёд вспоминать-прощаться?

Что ещё?

Что-то о созидательных душевных страданиях и путеводной звезде говорила; взяла тогда на себя роль той звезды?

Любопытное открытие, прелюбопытное... Зарылся в подушку, а мысль испуганно споткнулась в который раз; путеводная звезда – и...

«Нас всех подстерегает случай».

Да. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай».

А дальше?

И тут память, достаточно помучив, поугав приближением Альцгеймера, выдаст наконец Германтову рифму «случай – неминучий» и выдаст сразу ключ к двум блоковским строкам, второй половине четверостишия: «Над нами – сумрак неминучий, иль ясность божьего лица».

Две ясности? Божьего лица и – умозрительная ясность... как иллюзия? Не та ли самая ясность, – отслоившаяся по воле просветителей от божьего лица, спрятанного во тьме, обманная ясность, которой опасался Паскаль?

И сразу вновь зазвучит голосок Аня:

– Не обязательно истово в Бога верить, не обязательно даже пытаться всем десяти заповедям неукоснительно следовать, это желательно, но всё равно невозможно, – лучшее – враг хорошего, разве не так? Надо хотя бы помнить о них, всех заповедях, всё время помнить и прислушиваться, когда для напоминания нам нашёптывает их внутренний голос, понимаешь?

\* \* \*

Замечательная лестница располагалась справа, за залом ожидания с двусторонними, по обе стороны от высоких разделительных спинок с вензелями октябрьской железной дороги, залоснёнными скамьями и выгороженным, с игриво овальными глазами-окошечками буфетом; *desoium, desoium*, – радостно шептал... Лестница располагалась по оси главного, обозначенного, но привычно закрытого входа в вокзал, в купольно-парадной части вокзала.

Как любил Германтов, запрокинув голову, смотреть вверх – смотреть на купол изнутри, на эту воздушно-невесомую, воспаряющую, кое-как выбеленную изнутри, с жёлто-зеленоватыми лишаями протечек, сферу... Он смотрел вверх и тоже воспарял, подошвы его будто бы не касались пола. Сколько куполов он увидит потом, и каких! Но детское впечатление от скромного по мировым масштабам подкупольного пространства на Витебском вокзале, от подъёмной силы его они, великие купола, не смогут затмить...

Спустился на пролёт.

Потом поднялся на два пролёта.

Но поднимался ли, спускался, а ощущал словно завещанную ему Анютой – это модерн, понимаешь? – приподнятость настроения.

Подкупольное пространство при каждом шаге Германтова неожиданно и необъяснимо менялось, но и при изменениях этих не утрачивало цельной своей гармоничности, формы пространства не ломались, безобразно не искажались, а лишь неуловимо перестраивались, оставаясь всякий раз, при всех зрительных перестройках, самими собой. Плавные изменения эти были так интересны, так увлекательны, как интересны, увлекательны бывают протяжённые сюжетные перипетии в захватывающей внимание книге, но загвоздка была в том, что пространственные трансформации считывались... без слов. Тогда, наверное, он впервые почувствовал, что пространство – живо и об изменчивой каменно-воздушной жизни своей способно по-своему как-то, изменяясь, повествовать; почувствовал, что у пространства и каменных форм, деталей, наполняющих его, есть не только имена – купол ли, контрфорс, аркбутан, – есть и свой, независимый от этих имён-названий, язык.

Когда он всё же опускал голову, то смотрел на лестницу.

На широкий центральный белокаменный марш и два боковых марша, поуже, разлетавшихся налево-направо.

Левый марш выводил к верхним залам ожидания и платформам под гулками, в коридорах застарелой грязи и копоты, стеклянными, с многочисленными заплатками из потемневшего волнистого шифера крышами-фонарями, которые поддерживались решётчатыми, выкрашенными тускло-зелёной масляной краской опорами-рамами; на нём, этом замызганном, не знавшем сна и отдыха левом марше, толпились, сновали, тесно, чтобы оставить лишь узенький проход у перил, сидели на ступеньках, разложив на газетах убогую снедь, перекусывали, лузгали семечки, сосали ядовито-розовое фруктовое эскимо; на этом марше предпочитали располагаться и пёстрые крикливые цыганки в длинных просторных и многослойных юбках, кормившие грудью чумазых младенцев, возможно, те самые цыганки, которые когда-то намеревались, но так и не смогли всего-то за копеечку одурочить его с Анютой.

А правый марш, чистенько выметенный, иногда и вымытый, пахнувший свежестью и половой тряпкой, торжественно пустой, вёл только к одинокой двери будто бы безлюдного, будто бы и не предназначенного для церемонной еды с питьём ресторана – фантастичного ресторана, символа разгульно-чинного чревоугодия и довольства, с закруглённым высоким витражом, с пальмами, официантками в передничках, столами под крахмально-белыми скатертями.

И вдруг остеклённая, с рельефным, выточенным из дерева и наложенным на матовое пупырчатое стекло растительным, затейливо и изящно, так, как вмнял модерн, прорисованным узором дверь ресторана распахнулась. Германтов и опомниться не успел – по лестнице, пошатываясь, спускался художник Махов.

### **Огнепоклонник Махов, «Похищение Европы» и сладкое одиночество в компании великих призраков, соавторов-антиподов**

С живописью Германтова познакомило обоняние.

Направляясь на своём трёхколёсном велосипеде в гости к Анюте и Липе, он проезжал мимо двери соседа – Махова, Максима Дмитриевича. Чаще всего маховская дверь была открыта, словно приглашая пытливого Юру в гости, из щёлки выползали дурманящие густые запахи олифы, скипидара, лака... Как жадно раздувались ноздри – если бы он мог себя увидеть! Странно складывались детские склонности и предпочтения – с масляными красками и кистями Юра познакомился много раньше, чем с акварельными. Акварель не пахла и казалась безжизненной – акварель должна была быть чисто-прозрачной, как дистиллированная вода.

– Акварель – не живопись, а графика, – между делом и с явным пренебрежением к графике объяснял различия внутри изобразительных искусств Махов, хотя на хлеб и щи зарабатывал как раз графикой – иллюстрировал детские книжки, рисовал медвежат и зайчиков; на полке – коробочки с акварелью, высокий пластмассовый стакан с разнокалиберными беличьими кистями. А вот для себя, для души – заметил он как-то – писал исключительно маслом, писал размашисто-жирно, словно оправдывая свою фамилию, и – густо, фактурно; живопись хотелось потрогать руками. Но само многокрасочное хозяйство, сама наглядная технология живописи, надо признать, производили на маленького Германтова, который неотрывно наблюдал за работой Махова, куда большее впечатление, чем завершённые маховские холсты.

Когда Махов накладывал последний мазок – пусть и неожиданный нервный сверхэффектный мазок мастихином, мгновенно рождавший из мазни зеркало, – Германтову делалось скучно.

– Всё, готово? – разочарованно спрашивал; Махов смеялся. Почему готово? Всё только начинается.

– Что, что начинается?

– Как это что? – удивлялся притворно Махов. Когда картина закончена, начинается слава. – И принимался расслабленно напевать: «Счастье моё я нашёл в нашей встрече с тобой...» Почему-то он пел – «в нашей встрече», а не «в нашей дружбе», как полагалось по каноническому, звучащему по радио тексту. Это была, наверное, единственная песня, которую Махов знал, да и то знал нетвёрдо, во всяком случае, единственная, которую он в присутствии Германтова частенько напевал под конец работы в ожидании славы; хотя, возможно, Махов знал ещё одну песню, вернее сказать, не песню, а марш – марш артиллеристов, которых звала Отчизна на смертный бой, которым отдавал приказ Сталин: в напряжении своей работы Махов, подёргивая округлыми плечами, раз за разом нервно выкрикивал концовку победоносного марша, выражая в пламенном слове суть того, что хотел, судя по всему, выразить красками на холсте: огонь, огонь!

Но славы ещё надо было дожидаться.

Долго и терпеливо дожидаться.

А сперва, прежде чем непосредственно перейти к сулящим славу художествам, Махов терпеливо и деловито к письму готовился.

Собственноручно, старательно и долго, сколачивал подрамник, сосредоточенно натягивал, прибывая с оборотной стороны гвоздиками к подрамнику, холст, так же сосредоточенно, погружаясь в раздумье, грунтовал.

И шептал: скоро керосином запахнет, скоро.

И вот – наконец-то! – буднично открывался большой, неподъёмный, как казалось тогда Германтову, этюдник...

– Перед нами святилище! – с жаром восклицал Махов, а затем комментировал, морща лоб: – Но это пока мёртвое святилище, очаг угас, и искусство каждый раз угасает... Чтобы вновь оживить его, чтобы вновь жертвенно запылал огонь, предметами художественного культа, как и принято в нашем грубом мире, сейчас по своему усмотрению распорядится варвар. – И рука его уже тянулась к... и сейчас, как и прежде, уже было не отвести глаз от кое-как размещённых благодаря пазам и выступам на откидной крышке этюдника пучков разнока-

либерных – круглых и плоских – кистей, банок и баночек, пузырьков и многоэтажных рядов больших и малых свинцовых тюбиков с цветными бумажными наклейками – толстых, с вмятинами от пальцев, совсем отощавших; и фигурную палитру с дыркой хотелось рассматривать как самостоятельную картину, да и картины-то маховские на палитру были очень похожи, ибо процесс письма у Махова на первый взгляд неотличим был от результата. – Если палитра запылает, то и холст возгорится! – с новым жаром восклицал Махов, поглядывая на Юру; и всё – палитра ли, эскизы-этюды, картины, всё – заляпанное, мазанное-перемазанное, и всё-всё – вязкое, остро-пахучее – будто бы оживало; тайное очарование переполняло неряшливо многокрасочный, столько прыжков и замираний сердца обещавший живописный бедлам.

И тут варвар Махов выдавливал из тюбика не на палитру, а прямо на аккуратно загрунтованный белый холст, словно вознамеривался холст перепачкать, жгут синей краски; это само по себе было неожиданностью – почему синей?

И выдавливал из других синих и голубых тюбиков: по белой грунтовке уже ползали, извиваясь, толстые и тонкие, синие и голубые червяки, гусеницы... к грунтовке также присасывались какие-то холодные слизи...

А Махов наливал в большую рюмку рябиновку.

Выпивал и шептал: «Огненная печь творчества, огненная печь...»

Германтов тут же поворачивал голову к кафельной печке и, не заметив никаких изменений в облике печки, не поняв, что же мог означать жаркий шёпот...

Но не успевал замешкавшийся Германтов удивиться появлению на холсте ползучей живности, как Махов, снова глотнув рябиновки, хватал самый широкий мастихин и энергично, быстро-быстро, но с какой-то изящной небрежностью размазывал тонкой пружинистой металлической лопаточкой синих червяков-гусениц-слизней в синие, с просветами грунтовки, пятна, и уже поверх этих высветлявшихся к краям, делавшихся голубыми, словно пушистых пятен, в которых, если поднапрячься, можно было увидеть холодное сине-голубое небо, из тюбиков выдавливались зелёная и жёлтая краски. Они тоже размазывались мастихином, залезая на сине-голубое небо и превращаясь при этом в бирюзовое море и какие-то желтоватые, с солнечными ореолами облака-перья, плавающие над условным горизонтом, да, да, так размазывались, чтобы синий и голубой цвета просвечивали там и сям сквозь жёлтый с зелёным, – получалась резкая по цветовым сочетаниям и яркая мазня, или, если угодно, абстрактная картина, так как море и небо с солнцем, едва появившись как признаки земной реальности, сразу же исчезали. – Что-то подобное в те же годы, узнал позднее Германтов, писали за огромные деньги, чуть ли не за миллионы долларов, абстрактные экспрессионисты в Америке, а у нас, как водится, что-то подобное, бесстрашно, не подозревая о скорых гонениях, писали даром, ни копейки за это не получая, доморощенные новаторы. От художников-беспредметников, творивших по обе стороны океана, не отставал также энергично орудовавший кистями улыбчивый шимпанзе из Бостонского зоопарка, многокрасочные полотна которого, этого распоясавшегося шимпанзе, дабы пригвоздить к позорному столбу абстракционизм в целом, потом, когда разбушевался на приснопамятной выставке в Манеже Хрущёв, показывали по телевизору. Но для Махова-то сине-зелёно-жёлтые мазки в необузданной обезьяньей стилистике «вырви глаз» были не готовой ещё картиной, а всего-навсего подмалёвком и поводом для грядущей колористической метаморфозы! Зачем, зачем нужны синие, голубые, зелёные, жёлтые цвета, недоумевал Германтов, если всё потом всё равно будет красным? Чудеса, да и только! И – не пора ли сжечь все мосты? Пора, пора – заметалось пламя. С каким трепетом подбирал затем Махов огненную гамму цветов, оттенков, с каким тщанием затем красные цвета один поверх другого на тот дикий подмалёвок накладывал, разглаживал их, цвета-оттенки, будто бы ласкал-массировал мастихином, лишь слегка касаясь многокрасочной вязкой массы, чтобы и впрямь варварски всё опять замазать потом? Да! И – вот оно, наконец-то – Германтов, задерживая дыхание, ждал этого момента – наступала очередь самых

ярких из красных тюбиков, и – не странно ли? – Махов, трепеща, подбирал оттенки красного, чтобы все они, такие тонкие, едва отличимые, сгорели затем в итогово-общем цвете? А Махов-то, приговаривая – а теперь черёд красного петуха, красного петуха, красного петуха, – уже в ход пускал после мастихина кисти, большие и маленькие, и мазал, и вновь добавлял краски из тюбиков, и, бестрепетно уничтожая оттенки, размазывал опять, втирал горячую краску в холст, и снова поверх только что размазанных пятен густо-густо – холмиками и горками – краску выдавливал. Вскоре едва различимое, едва угадываемое в сравнении с чем-то знакомым изображение на холсте делалось рельефно-красным, но поскольку в подоснове были все цвета спектра – красным, поглотившим множество самых разных колористически сгармонизированных оттенков; красным, но сложным; красным, но – многоцветным.

Можно и вздохнуть с облегчением...

Как-то незаметно плоская щетинная кисточка очутилась и в руках у Германтова... Лет десять-одиннадцать было ему тогда. Махов подбадривал, наплевав на педагогические каноны, – почему бы не перепрыгнуть через азы рисунка и акварели? «Если нравится маслом мазать, если нравится месить краски, – сказал Махов, – пожалуйста. Авось впрок пойдёт».

Нравится мазать? Нравится месить краски? Наверяд ли. Он хотел бы обладать какими-то склонностями, способностями или – одарённостью, как говорила Аня; хотел бы, хотя и побаиваясь, что посредственности ополчатся против него, хотел бы, чтобы и его вдруг посчитали талантливым, чтобы и он порхал среди звёзд, чтобы главная звезда вела, однако он, когда мазал и месил, не возбуждался, его не охватывало волнение, когда не терпится увидеть то, что у него получится.

А уж сам-то Махов как мазал!

Всё повторялось, вроде бы одно и то же на холсте, как вчера, как позавчера, но глаз от его мазни было не отвести – каждый раз всё получалось неуловимо другим. И он месил краски на палитре ли, прямо на холсте, нервно и энергично выдавливая краски из тюбиков, подмешивал и месил, размазывал мастихином и месил кистью и нашлапывал кистью, именно нашлапывал на уже закрашенный холст, будто баловался. Но каким серьёзным и напряжённым, даже свирепым делалось вдруг его округлое, добродушное, щекастое, толстогубое лицо, в мятую картофелину превращался нос, дрожали, разлипаясь, обиженно-детские в этот скорбно-счастливейший момент творения губы, судорожно дёргались широкие покатые плечи, и вся плотная фигура сотрясалась, словно билась в конвульсиях, только короткопалая рука крепко сжимала кисть...

И сам себя подстёгивал, сам с собою спорил, давал себе указания.

– Ну-ну, поддать огонька надо, обжечь и обострить.

И будто бы на вкус не языком, а глазами пробовал. – Пресно, обострить бы, приперчить надо и – главное – жару-пылу поддать, чтобы запылало... – делал жадный глоток рябиновки.

Как он обострял, как приперчивал, приравнивая перец к огню? Ведь по-прежнему нашлапывал краску, ударял упруго по холсту кистью, ударял, давил, будто бы хотел прорвать кистью холст, чтобы прорваться в какой-то потайной мир; и – мазал, мазал.

Но глаза безжалостно вдруг прищуривались. Прицеливался, готовясь выстрелить в невидимого врага? Глаза – узкие-узкие, как свинцовые щёлки.

С кем он боролся, кого одолевал, когда мазал по холсту кистью?

Кого так ненавидел?

Германтов, сколько ни старался, не мог обнаружить в себе такое же бойцовское напряжение, такую же злость... Да, да, он тоже, бывало, мазал кисточкой по картонке густой-густой краской, но вряд ли у него от этого так, как у Махова, сужались глаза, твердели и белели скулы.

– Максим Дмитриевич, скажите правду, у Юры хоть что-то путное получается? – спрашивала мама, столкнувшись с Маховым в коридоре.

– Получится, – обнадеживал Махов.

– Ни к чему конкретному склонностей нет, ни к чему, – вздыхала в сомнениях мама. – Ничем, кроме листания иллюстрированных журналов, не интересуется.

– Как же ничем, – посмеивался Махов, – журналы ведь иллюстрированные...

Потом и Сиверский про склонности спрашивал.

– Он, Максим Дмитриевич, не безнадёжен?

– Надежда, как и положено, умрёт последней. Главное, не спугнуть, не надо пону-кать-направлять: туда тебе надо, не туда... У него сейчас год за три, а то и за четыре года идёт, пусть пока насмотрится картин вволю, красок нанюхается. Помните, Яков Ильич, как в Свя-том писании сказано? Иди в молодости твоей, куда ведёт тебя сердце твоё и куда глядят глаза твои...

– В Писании? – удивился Сиверский. – То есть, перевода на более конкретный светский язык, без руля и ветрил мальчишку бросить в житейском море, произволу судьбы доверить? И что с ним, лишь сердцем и глазами своими ведомым невесть куда, станется хотя бы в ближ-ней перспективе? – сквозь очки и свысока, благо был много выше Махова ростом, на Махова посмотрел.

– Если интерес не утратит, к себе в СХШ возьму, в подготовительный класс.

– На интересе одном, без таланта, далеко не уехать.

– Далеко? Куда далеко-то ехать? – валял ваньку Махов. – Будет стараться, так и проучится между троечкой и четвёрочкой, а уж потом...

– Хорошенькая перспектива – посредственный художник!

– По крайней мере, по академии, по каменным коридорам её походит, воздухом искусства подышит... Одно это и воспитывает, и учит. А уж получится из него что-то путное, не полу-чится, один Бог может знать. Если есть что-то за душой, то непременно это «что-то» проявится.

– А если всё-таки не проявится?

– Отчислим! – Махов состроил страшную, как у пирата или разбойника с большой дороги, физиономию.

Сиверский явно не всерьёз воспринимал маховские надежды, обещания и угрозы, только большой своей головой покачивал, отечески облапив Юру за плечи, шутил: в семье не без урода, да? Всё смотришь и смотришь, а самому шевелиться надо, – ласково рокотал, пора бы начинать шевелиться; такой крупный, сильный... И Юре так приятно было чувствовать себя защищённым, взятым под крыло, и вовсе не хотелось ему шевелиться, да и как он мог шеве-литься, если так уютно ему, когда сдавлены плечи... Сиверский также любил ему взъерошить озорно волосы, а Германтову в этот момент, когда находился он под крылом, хотелось быть таким же большим и сильным, таким же лобастым и очкастым, как и сам Сиверский. А пока ладонь отчима, крупная, сильная, тяжёлая, горячая, как и весь он, жаром пышущий, неуём-ный, словно отдыхая, лежала на Юриной голове, вспоминалась ладошка Анюты – крохотная, прохладная, твёрдая и – гладкая-прегладкая; бархатная – или лайковая? – ледышка.

Что ещё запомнилось? Да только то, что смотрел, смотрел и – нюхал, жадно нюхал, как наркоман.

Смутное влечение – смотреть. И расшевелить его было б трудно: не трогали сиюминут-ные желания, капризы, дворовые игры, драки, обиды, стыд – всё то, что ежедневно заполняет нормальный мир детства; кстати, в их доме, таком солидном, с пышным фасадом, и нормаль-ного-то двора не было из-за тесноты участка и поперечного, делившего двор надвое, флигеля: не двор, а так, два маленьких и почти что глухих тёмных колодца, квадратный и продолго-ватый, их соединяла отсыревшая, длинная, точно труба, с мусорными бачками вдоль стенки подворотня.

Нет, в мёртвых крохотных тех сдвоенных дворах-колодцах сердце детское не застряло, только смотреть ему хотелось, только смотреть.

Его склонность... в том, чтобы смотреть?! Ну да, разве ещё не ясно? Никто его ласково не тискал, не тормозил, не сажал на плечи, не бегал с ним взапуски, не мастерил вместе с ним с помощью столярного клея из узких – контурных и идущих крест-накрест, по диагоналям – щепочек-лучинок и папиросной бумаги или кальки воздушного змея, не привязывал к змею, похожему своей графической схемой на морской флаг, рыжий хвост из мочалки и не запускал, к ребячьей радости, змея в небо... Да и не хотелось ему такого змея своими руками сделать, главным для него было б видеть, всего лишь видеть, как змей тот трепетал в синеве; и ему не дарили, как другим детям, мячи, заводные игрушки, револьверы с пистонами, оставлявшими после выстрела-щелчка запах пороха, а подаренный Липой на день рождения трёхколёсный велосипед вовсе не сделал его счастливым. И заглядывать под ёлку в надежде на подарки ранним утром не торопился, он и новогоднюю-то ёлку лишь ту запомнил, что мигала лампочками за выгибом гитары и дёргавшимся Олиным плечом... И ничуть не тянуло в цирк, зоопарк. Однако всем естественным детским радостям нашлась чудесная замена. Сколько ни увещевал Сиверский – шевелиться надо, Юрочка, шевелиться, Сиверский даже церемонно сгибался пополам в пояснице, губами Юриного уха касался, чтобы горячо, как бы с особой, убеждающей доверительностью прошептать: шевелиться надо, – но вопреки всем громогласным увещеваниям или тихим, еле слышным, хотя и обжигавшим, нащёптываниям подвижные детские игры издавна, с далёких уже лет, проведённых в снежной эвакуации, заменялись играми воображения. Листая ли журналы с видами городов, а теперь оказываясь ещё и перед холстами Махова, он ощущал в себе одну, зато исключительную, пожалуй, всепоглощающую страсть – смотреть, всматриваться; всматривание питало фантазию, стимулировало подвижность его ума.

Вот оно!

И ни намёка ещё не было на целеустремлённость, амбициозность.

Но вот оно, органичное вполне, влекущее в неизвестность проявление одиночества! Как ещё, какими словами особенности его одиночества описать? Одиночество – как залог будущих качеств характера, будущих склонностей, предпочтений. Одиночество вовсе не подстерегло Германтова внезапно на пороге старости, как подстерегало в концовках жизни многих других, когда ровесники вокруг вымирали, а с выжившими – и ускоренно выживавшими из ума – терялся общий язык, нет, и не одиночество отчуждения, выписанное Фроммом, испытывал он теперь, нет-нет, одиночество, если угодно, было и предопределением его, и – призванием! Он был уникалом одиночества – Анюта в нём многое, очень многое угадала; он варился в своём соку, одиночеством своим упивался, пусть и неосознанно, смаковал его... Издавна это, с ранних детских лет начиналось, с листания иллюстрированных журналов, книг. Он подолгу всматривался в штриховые волны Средиземного моря и силуэтные контуры мрачного острова с замком Иф, словно силился ещё и заглянуть в узкие окошки неприступной темницы; да, издавна он испытывал симпатии к одиноким узникам – графу Монте Кристо, ибо невольно проникался гордой философией Эдмона Дантеса, или несправедливо несчастной Железной Маске. А вот когда он подрастёт и прочтёт Ремарка, то симпатий сопричастности к одиноким потерянными героям не испытает – одиночество по социально-историческим обстоятельствам, пусть и по травматическим обстоятельствам военного и послевоенного времени, почувствует он, – это одиночество, извне навязанное, а у него, Германтова, – одиночество органичное, именно органичное, мало-помалу превращавшееся в замкнутую обитель, где в детских томлениях мыслей-чувств вызревала его самодисциплина. И ведь не был он застенчивым, нелюдимым, неразговорчивым, нет, был он вполне контактным. Но если бы нашёлся в человеческом генофонде ген одиночества, то гипертрофия роли такого гена, несомненно, лучше всего объяснила бы закваску германтовского характера, его пристрастия, привычки. Как интересно бывало ему наедине с собой! Он – один и сам по себе – смотрит на что-то внешнее, не объяснимое сразу, возможно, вообще необъяснимое, даже непознаваемое, будто, подстёгнутый Анютой, с противоестественным удовольствием ищет ответ на вопрос – что такое жизнь? Однако

и вне догадок, оценок то, что видит он, уже волнует, суля, если продолжать смотреть-всматриваться, какое-то нарастающее, познавательное, напряжённое и интенсивное наслаждение, как если бы и все вопросы его, и ответы на них растворены были в самом объекте рассматривания. Он смотрит на женское лицо ли, морской прибой, наслоения и контуры крыш, силуэты деревьев, или на живописные пятна, штрихи и линии, а увиденное заполняет всё его существо, порождает – откуда что берётся? – самодостаточные вполне мысли и чувства. Ведь ему и впрямь вовсе не хотелось самому рисовать, писать, а если бы и захотелось – то каким-то отвлечённым, абстрактным стало бы такое желание; нет, никакого созидательного зуда, переходящего в зуд художественного тщеславия, в детстве он не испытывал, ему лишь хотелось прозревать что-то – что-то скрытое за поверхностью изображения, а что именно – он не знал. Он ведь и на вокзальный люд, на неугомонно подвижный сбитень из навьюченных тел, смотрел, переживая счастье своего одиночества, сладко прозревая при этом что-то необъяснимо важное для него, что-то, вроде бы располагавшееся снаружи, вне его самого, но, оказывалось при этом, ещё и таившееся внутри него самого: смотрел, смотрел в себя – в какие-то ландшафты души? – как на полыхающие ли, воспалённые маховские холсты.

В маховских холстах пульсировала какая-то тайна, хотелось её постичь; и погоня за этой подвижно-подспудной тайной, согласно Анюте, уже сама по себе мысленная погоня – изначальный признак направленного таланта? Ощущение и притяжение тайны, внутренняя необходимость всматривания в тайну свидетельствовали и о его, Юры Германтова, каком-никаком таланте?

Красные, красно-оранжевые, красно-розовые и мохнатые при этом мазки – да, Анюта точна, мохнатые! – мазки, мохнатые и жирно-густые, но – нематериальные?

Махов писал огонь?

И вдобавок – подсвечивал написанный на холсте огонь настоящим, тем, что в печке трещал?

– Многое, Юрик, очень многое нужно для рождения искусства, но главное, что нужно, – огонь...

Что всё-таки Махов имел в виду: сам огонь, натуральный огонь, или – внутреннее горение?

– Огонь, огонь! – дёргаясь, выдыхал-выкрикивал Махов. – И, глотнув рябиновки, переходил торопливо к загадочному, вроде бы к Германтову обращённому, хотя даже головы к нему не поворачивал, монологу.

– Кто Рим поджигал? Думаешь, Нерон? Но тогда скажи, Юрик, кто спичкой чиркал – злобный, бредивший убийством матушки своей император или «великий», как сам он считал, актёр? И кто из них двоих потом, чиркнув серной спичкой из «Рослеспрома», с упоением играл на лире, глядя, как огонь пожирает Рим? А кто – Москву при Иване Грозном поджигал, хан Девлет-Гирей? Или, быть может, прости Господи, хан Токтомыш? Всех ханских имён, огонь принёсших и огнём опалённых, никак в их исторической последовательности и точном произношении-правописании не упомяну, никак... – Ага, всё же повернул голову на короткой шее: округлённые глаза, тёмно-русые, как-то неряшливо седевшие прямые пряди волос – причёска Иванушки-дурачка? – сползали на багровый вспотевший лоб. – Бывало, конечно, что и на войне обходились без дотла сжигавшего великие города огня, бывало, ибо и сами войны были какое-то время не лишены галантности. Вот ведь победил Наполеон Бонапарт при Аустерлице или где ещё, не упомяну, но победил, вошёл во главе грозной армии своей в Вену и в тот же вечер вместе с коллегой своим по абсолютной власти, разгромленным австро-венгерским императором, отправился, как ни в чём ни бывало, в оперу. Как тебе, Юрик, – улыбался Махов, счищая с палитры коросты краски, – нравится такой миленький, свойственный европейским басурманам музыкальный финал кровопролитной кампании? Но нас-то не измерить аршином общим, вскоре нелёгкая Наполеона к нам, в Москву, занесла. И вот при Наполеоне-то, супо-

стате, засмотревшемся с удивлением на московский пожар, знаешь ли ты, кто красного петуха в первопрестольную запустил? Неужели, думаешь, наш народ-богоносец? Э-э-э, – улыбку заменил тряский смех, – да ты догадлив не по годам! Ладно, – принялся выдавливать марс оранжевый на очищенную специальным скребком палитру. – А хворост, думаешь, подкидывали в костры инквизиции во славу Евангелий добропорядочные христиане? Отлично! А мировым пожаром кто бредил, кто раздувал и раздувает досель пожар, чтобы бедных навсегда осчастливить, буржуев-богатеев дотла спалить, – очкарики из Третьего Интернационала? Ты бы, Юрик, послушал, как под их управлением пролетарские запевалы и хористы, скандировали! «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем». А в огонь, Юрик, кто книги кидал, фашисты-гитлеровцы? Начитались в школах-университетах Гёте с Шиллером и – в костёр?! Почему нет? Когда олимпиец Гёте, умирая, громко, чтобы весь мир услышал, прошептал: «Больше света!» – ему на фоне вечной ночи вполне ведь могло привидеться то книжное полыхание... О-о-о, огонь во мраке и высокие, и низкие натуры издавна возбуждал. И ныне пыл не угасает у тех, кто сжёт Хиросиму и Нагасаки, куда там, дело снова керосином запахло! Поджигатели атомной войны, пузатые крючконосые дядюшки Сэмы, в штанах, сшитых из звёздно-полосатого флага, с прогрессивным человечеством не посоветовавшись, что сейчас затевают в своих банках и биржах на Уолл-стрите? И учти, учти непременно, Юрик: во все времена жуткий внутренний огонь во всех нас, двуногих зверях, горел неугасимо и горит до сих пор, пламенную арию слышал? «В душе горит огонь желанья...»

Юродствовал или был серьёзен?

Колдовство, ворожба?

Култ огнепоклонничества?

Или был он тайным, но верным последователем Гераклита – шуточки-прибауточки не мешали Махову воспринимать мир как вечно живой огонь; мерно загорающийся, мерно затухающий, чтобы заново вспыхнуть?

«Огненная печь творчества»? – вспоминал Германтов загадочные слова.

А Махов-то тем временем и из Апокалипсиса, размазывая краски, выдёргивал ту ли, эту огненную строку. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью... Второй ангел вострубил, и... большая гора, пылающая огнём, низверглась в море...»

Во всяком случае, когда писал, огонь для него оставался и образным средством выражения, и целью; а как-то Махов сказал:

– Я, Юрик, легко воспламеняюсь, но остаюсь при этом огнеупорным, хотя... Догадываешься, Юрик, что после всякого горения остаётся? Зола, остывающая зола.

Вьётся в тесной печурке огонь?

Как бы не так – «огненная печь творчества, огненная печь...»

Открыта медная дверца большой белой кафельной печи, Махов орудует кочергой, искры вылетают из догорающих поленьев, по чёрно-румяным, пятнистым, мягко разламывающимся головешкам пробегают, угасая, крохотные синие язычки пламени, а алые отсветы пляшут на обоях, на небритых щеках, в глазах и – на холстах. Рельефность масляных мазков, тени от бугорков краски и даже занавеси в обеих комнатах – в проходной комнате, довольно просторной, с этой самой кафельной печкой в углу, располагались гостиная, столовая и мастерская хозяина-художника, а в маленькой, за широким, обнесённым белыми наличниками проёмом без дверей, по сути в нише, где теснились платяной зеркальный шкаф и большая деревянная кровать с двумя, одна на другой, подушками, была спальня; там, вспоминалось Германтову, не обращая внимания на сжигавшие-испепелявшие мужа творческие возгорания, на гладильной доске что-то – платья ли свои, постельное бельё – торопливо гладила жена Махова, Елизавета Ивановна; напевая: «Если всё не так, если всё иначе», она с хищным шипением придавливала опрысканную водой ткань тяжёлым чугунным тёмно-коричневым утюгом с пилообразной по краям крышкой, похожей на челюсть доисторического зверя, и круглыми окош-

ками на боку, плавно изогнутом, как борт броненосца; в окошках виднелись, ярко мерцающая, раскалённые угольки... Так вот, даже занавеси у Махова были красные, солнце пронзало красную материю, превращало её полотнища в языки пламени; занавеси пылали; и абажур, низко висевший над столом, был из тёмно-красного шёлка, с оборками, когда свет включали, абажур напоминал пылающую изнутри, черенком подвешенную к потолку пунцовую розу. И всё смешивалось в восприятии – холсты, натура: занавеси, абажур... Все оттенки красного – от густо-пунцового до бледно-розового – сплавлялись в подвижный огненный колорит, а также – в одуряюще-пьянящие запахи.

Густое и неугомонное, пахучее пламя?

– Ты, Юрик, только не спутывай настоящий, живой огонь с бенгальским огнём, идёт? – Махов отправил в полыхание топки два берёзовых полена, которые дожидались своей участи на металлическом скруглённом листе, прибитом к полу у подножия печки, под дверцей.

Каким горячим был уже белый кафель, не дотронуться... «Кафель добела раскалился», – как-то радостно сказал Махов.

– Ум за разум заходит! Мракобесы книги в уличные костры кидали, да? Но ведь и гении, факелы наши в ночи незнания, гении-факелы, сжигаемые творческими страстями, разуверившись вдруг в себе, рукописи свои безжалостно жгли в каминах. Гоголь – в Риме, Достоевский, если память не изменяет, в Дрездене. А я, раб божий и тварь дрожащая? Я, Юрик, в печь холсты свои не кидаю, однако я здесь, в доме своём, не отрываясь от производства, от огня обезумел, я, Юрик, будто б изнутри выгораю... Огненный мой период затягивается, – бормотал под нос Махов, подмешивая в крапак кармин, добавляя киноварь, английскую красную, оранжевый марс и – снова киноварь, и – по чуть-чуть – жёлтый кадмий, стронциановую; на холсте бушевало пламя, красные, оранжевые, жёлтые тубики быстро опустошались, а Махов, потянувшись к пузырьку, бормотал: – Не подлить ли масла в огонь? Подлить, подлить! – И, щедро подлив пахучего масла, ничуть не заботясь о том, чтобы Юра успевал вникать – не в замысел полотна, куда там, а хотя бы в смысл его слов, уже ласково укорял себя: – Не хватит ли, дорогой, гореть на работе? Детям не позволяют играть со спичками, а тебе, стареющему поджигателю, всё-всё дозволено? Не заигрался ли с огнём? И стоит ли игра свеч? Стоит ли, Максим Дмитриевич, так воспламеняться и весь жар души отдавать холсту? – И тут лицо его опять делалось свирепым, добавлял он смелый чёрный мазок, и – ещё один чёрный мазок продолговатый, и, обмякнув, сообщал удовлетворённо: – Вот теперь всё обуглилось.

Жар души... и страсть. Что если действительно – страсть?

Воспламеняющая и испепеляющая страсть? Огонь и – зола... Почему бы не вспомнить о версии Анюты? С помадой алой сажа смешана...

Германтову особенно приглянулся один из свежих темпераментных эскизов. Его, словно нарочно, Махов повесил на том самом месте на стене, которого по вечерам касался, пробивая и без того горящую занавесь, солнечный луч; повесив, еле слышно запел: «Счастье моё я нашёл в...»

Огонь и закатный свет.

Небольшой эскиз. Едва угадываемая сквозная, во тьму, аркада, а выше, над сквозной аркадой – многооконно-многоарочная стена, залитая плотным розовым светом; внутренний угол Пьяццы, аркады наполеоновского крыла Прокураций?

Размытая, направляющаяся к чёрному провалу в красноватой арке фигурка; кажется, эскиз к театральной постановке «Венецианского купца».

– Что это, что? – приставал Германтов; необъяснимо растревожила его та фигурка, пригнутая тёмным провалом.

Ещё шаг, и фигурка та будет вмурована в черноту, охваченную огнём.

Махов ворчал, не прерывая работы:

– Как что? Бой в Крыму, всё в дыму, ничего не видно.

– Нет, правда, что это?

– Геенна огненная, – помрачнев, Махов забормотал: – Когда б не страх чего-то после смерти... – В зрачках заплясало то ли картинное, то ли натуральное, печное, пламя, а выражение глаз сделалось совершенно диким.

Отложил кисть, насупился, опустил тяжёлые веки. На щёку лёг еле заметный розовый отсвет.

Рефлекс живописи? Или отсвет адского пламени?

– Вот скажи, что такое портрет? Думаешь – борода, глазки, носик и ротик? Нет, это всё пишется для отвода глаз родственников модели – им умильное сходство подай, а на самом деле...

Что же на самом деле?

– Запомни, Юрик, – с какими ласковыми обертонами Махов произносил его имя, – запомни, Юрик, художник не может знать, что он пишет... никак не может. Это выясняется много позже, ведь смертный художник для вечности, – как бабочка-однодневка, а картина может жить долго, очень долго. И, Юрик, – опустил руку с огненной кистью, – хотя бы поэтому, то, что на картине написано, выясняется не самим художником.

Совсем загадочно.

– Кем, кем выясняется? – Германтов, будущий корифей-искусствовед, и не подозревал, что задаёт ключевой для себя вопрос.

Махов тогда нахмурился, задумчиво ощупал его взглядом и не ответил. А потом забормотал по своему обыкновению, будто бы не для Германтова, для себя.

– Нужен талант смотрения, особый талант, позволяющий увидеть в картине то, что в ней к моменту её написания спрятано, а то и вовсе отсутствует, – и добавил: – Нет поначалу того, что потом проявляется, да и не могло изначально быть. Хорошая, настоящая картина – умней художника, но ум такой картины проявляется не сразу, до него, скрытного картинного ума, ещё надо бы дорасти. За столетия рассматривания картины меняются – в картинах и фресках накапливается и обнаруживается потом внимательным острым глазом столько всего неожиданного, что и сами художники, когда-то написавшие те картины и фрески, если бы встали вдруг из могил и смогли бы пошире открыть глаза, думаю, изумились бы, а многие – ужаснулись увиденным и отреклись бы от давних своих творений.

Как понять, как?

Германтов мысленно прервал маховские бормотания.

Художник не может знать что он пишет, не может знать, картина умней его. Какая смелая максима! Сам-то Махов относил её к великим художникам и великим полотнам? Или к себе и своей живописи тоже? Бой в Крыму, всё в дыму... И при этом – геенна огненная...

И каким художником был он сам? Он что, безнадежно затерялся в пустоте между троечниками и четвёрошниками по мировой шкале баллов?

Но разве Махов тяготился своей безвестностью, разве он думал, что жил и писал напрасно?

...Это выясняется много позже. И вовсе не самим художником... Ничего загадочного, обрадовался Германтов, как если бы почувствовал, что тогда, вещая меж огненных своих холстов, под треск огня в печке, Махов выдал ему устную индульгенцию за все грешные переборы и перекосы будущей искусствоведческой прозорливости; художник не может знать того, что он пишет, зато он, Германтов, – узнает... И веру в то, что он, именно он, узнает непременно узнает, уже никакие сомнения не смогут перешибить.

Махов избегал определённости и в письме своём, и в словах.

В огне маховских холстов сгорали все изображённые на них предметы. И в этом не только метафизическая обречённость читалась – «когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь», – Махов как бы показывал нам и саму эволюцию живописи от предметности к беспредметности.

Причём в пастозном багрово-алом и при этом – многоцветном, эмоциональном письме вовсе не вторил он чьей-то манере, хотя внешне холсты его и импрессионистскими горячими туманами застилались, и экспрессивной энергией огненно-красных фовистских мазков плескали в глаза: он писал какую-то потаённую действительность, ту, возгорающуюся, плающую, дымящуюся красно-горячими дымами, которая и не тщится уже обрести предметно-вещную форму, ибо форма та, если и была она когда-то сотворена чёткой, определённой, уже на глазах у нас догорает и, даже потушив пожар, пожирающий людей, дома, рукописи, её не спасти, и потому холстяная действительность как бы довольствуется видимыми процессами горения, растворения горящих фрагментарных форм в воздухе; он писал пожар, вселенский пожар, поглотивший все известные нам пожары? Или – как раньше не догадался? – Махов писал огонь, буквально – огонь, как если бы открывал дверцу своей грузной белокафельной печки и смолисто-трескучее, вечно-неугомонное пламя писал с натуры, вот у него и получались дышавшие жаром магические холсты; ещё бы, когда смотришь на огонь, можно столько всего увидеть! В круговороте огненных превращений рождалась та фантастическая, но в каком-то смысле подлинная действительность, которая на первый взгляд стыдливо, а при внимательном рассмотрении – не без тайной гордости прячется в подвижных наслоениях краски.

Чтобы хоть что-нибудь разглядеть в этой многозначной магической мешанине мазков ли, языков пламени – не понять, нет, куда там, о понимании не могло быть и речи, именно разглядеть, – Германтов всматривался... Всматривался с таким напряжением, что у него разболелись глаза.

Но всматривание до боли, до рези, такое острое удовольствие доставляло, что смотрел, не отводя глаз.

И вдруг увидел сквозь наслоения красных мазков, как бы сквозь языки и отсветы затвердевшего пламени закруглённый витраж ресторана, увидел пальмы, официанток в передничках... Но совсем удивительным было то, что меж столами с белыми скатертями, на полу, вповалку, расположился со своими старыми чемоданами и баулами весь фактурный и грязный вокзальный люд...

Германтов протёр глаза, видение исчезло.

За широким проёмом, в глубине спальни блестело шкафовое зеркало... Настоящее зеркало или – мазок мастихина?

– Юрик, Юрик... Мне недавно приснилось, что меня, еретика, на костре сжигают, и поделом мне, грешнику, поделом, но я не понял, где сжигают – в Риме, Париже или Мадриде, лишь почувствовал, что корчусь в огне... – Махов допускал его к себе во время красочно-интимной своей работы, заинтересованно возился с ним, столько всего ему рассказывал и объяснял потому, что Юриком звали и малолетнего сына Махова и Елизаветы Ивановны, которого задавил на Загородном троллейбус?

Махов тем временем говорил – говорил машинально и будто бы в пустоту, так как Юра был слишком мал, чтобы осмысливать услышанное, – говорил о том, что живопись вовсе не повторяет на холсте формы и контуры внешнего мира, поскольку ещё Аристотель понимал, что бессмысленно мир удваивать, но зато живопись будит фантазию и воображение зрителя, вот, например, то, что ты видел уже в Русском музее, – Серов... или мирискусники...

Говоря будто бы в пустоту, Махов, возможно, репетировал очередной урок. Он преподавал в СХШ, средней художественной школе при Академии художеств, и в самой академии, на живописном факультете.

Правда, в академии он не был в почёте, скорее – в постоянной опале; его считали левым художником, огненные холсты не выставлялись.

\* \* \*

У Махова были оригинальные взгляды и на старую живопись. Он хвалил, возможно, что и перехваливал, исключительно венецианцев, да, всех-всех венецианцев, таких самобытных, разных и непохожих, все они ему нравились, от Карпаччо и братьев Беллини до Тьеполо, а художников-флорентийцев, тех, что после Боттичелли, как, впрочем, и ренессансные флорентийские палаццо с их догматами пропорционирования, не жаловал, ворчливо корил за сухость и школярскую правильность композиций.

– Что такое композиция? – робко спросил Германтов.

Ответ Махова ему не запомнился, зато отлично запомнились ехидные упрёки, «безошибочному» и великому, по мнению лукавца Вазари, Андреа дель Сарто.

– Для Вазари, – посмеивался Махов, – достаточно было флорентийского паспорта у художника, чтобы его называть великим.

В доказательство своей критической правоты Махов, как если бы нашёл всё же в лице маленького Германтова достойного собеседника, деловито и бережно раскладывал на столе ветхую, прорвавшуюся на сгибах журнальную копию «Тайной вечери» дель Сарто, говорил, что как раз безошибочное следование леонардовскому канону на высокопарной при всём её изобразительном аскетизме фреске дель Сарто убило композицию; так-то, у Леонардо, навязавшего нам невольно композиционный канон, никакой тебе высокопарности и уж точно – никакой скуки, а у верного мастеровитого последователя – нате вам: скучнейшая протяжённая горизонталь стола, гладко, без единой складочки, свисающая белая скатерть. Много раз, уязвляя суховатую флорентийскую школу, козырял Махов этим примером! Любопытно? Во всяком случае, теперь, спустя столько лет, испытав напор стольких новых идей, это давнее критическое высказывание показалось уже Германтову сверхлюбопытным: укоряя раз за разом дель Сарто за схематизм, Махов нет-нет да посматривал на другую репродукцию; к островку однотонных серебристых обоев меж собственными огненно-красными холстами он почему-то прикнутил тусклую чёрно-белую фоторепродукцию, сложенную из четырёх фрагментарных фото.

Репродукция та действительно была тусклой, напечатанной на плотной матовой фотобумаге, только шляпки кнопок в углах поблескивали.

– Эта бумага называется унибром-картон, – сказал, перехватив германтовский взгляд, Махов.

Да, сердце своё отдал Махов живописцам-венецианцам, едва ли не всех венецианцев превозносил за смелость притязаний, композиционную энергию и изобретательность, техническую изощрённость и богатство колорита, но в комнате-мастерской своей прикнутил к стенке репродукцию с картины лишь одного из них, возможно, самого, на его взгляд, свободного в замыслах своих, в манере письма – Веронезе; прикнутил «Похищение Европы».

Комментарий Махова был кратким.

– Тициан, увидевший впервые во Палаццо Дожей «Похищение Европы», сам Тициан, князь живописи и живописцев, такой высокомерный, такой ревнивый к успехам других художников, когда повстречал Веронезе на площади, у порталов Сан-Марко, обнял его... «Что-то, – подумал, заворочавшись, Германтов, – напутал Махов, если и обнял тогда Тициан Веронезе, то за роспись плафона в библиотеке Сансовино; ладно, стоит ли теперь придирааться».

Так – сам Тициан увидел, повстречал, обнял.

А я...

«Так вот, когда я впервые узнал о Веронезе, вот, выходит, когда!» – неожиданно для себя догадался Германтов; так-то, популярный в ренессансные времена мифологический сюжет, многие из великих художников вдохновлялись им, но почему-то Махов выбрал версию Веронезе.

Много раз и подолгу простоявший во Палаццо Дожей, в главной приёмной зале, перед «Похищением Европы», такой многоцветной, такой нежной, теперь, в тревогах спальни своей, он мысленно рассматривал составную чёрно-белую фоторепродукцию на обойном фоне, ни в чём, ну ни в чём решительно по задачам и манере письма не перекликающуюся, даже если вообразить чёрно-белую репродукцию ту цветной, с огненно-красными грубо-фактурными маховскими холстами, висевшими рядом с ней.

Удивительно! Уже тогда Германтов уловил демонстративную контрастность с тем, что писал сам Махов, и...

От неумения или нежелания Махов писал не так, как его кумир?

Но почему всё-таки Махов выбрал Веронезе из всех прочих, так им ценимых живописцев-венецианцев?

И почему именно веронезевское «Похищение Европы» Махов выделил как исключительную в своём роде картину?

Да, свобода.

И композиционного замысла, и письма.

Перед мысленным взором Германтова выросли два тёмных, уходящих ввысь, куда-то за раму, древесных ствола, хитро – равновесие и динамика – поделивших на три неравные части цельное пространство картины; один из стволов, тот, что справа, – наклонный. Ну да, наклонный ствол – важнейший элемент композиции, её каркаса, без его естественного вполне наклона исчезло бы напряжение внутри холста.

А пространство меж стволами ещё и задаёт перспективу сюжету: царевна на спине быка направляется к берегу моря, вот – чуть дальше – они, царевна и бык, маленькие-маленькие совсем, и плывут уже...

Влекущий вдаль, проглядывающий меж двумя силуэтно-тёмными стволами, меж кружевами листвы мягкий пейзаж – морской берег, синевато-сизые воздушные горы, светлое облачное небо... и – на переднем плане – многофигурная красочность с нарядной финикийской царевной и божественным быком-соблазнителем, смещённая с помощью наклонного ствола властной, но любящей и виртуозной кистью влево.

Да – «самая счастливая картина на свете».

Кто это сказал? Кажется, Генри Джеймс, да, да, влюблённый в Венецию, он там частенько «самую счастливую картину» мог созерцать.

Полёт бессмысленного счастья...

А это кто сказал?

Кто?

\* \* \*

Забавно... давным-давно ещё, внезапно для себя обнаружил сходство между похищаемой любвеобильным Зевсом-быком царевной Европой и Галей Ашрапян: нежный абрис лица, гордый поворот чуть вскинутой златовласой головы... И такие же, как у царевны, прозрачные бусины вокруг стройной шеи, и наверняка у Гали под розоватым платьем, чуть прикрытым свисающим с плеч лёгким серебристым платком, такая же, как у античной царевны, налитая и упругая грудь... И такая же плоская перламутровая пудреница, которую незаметно для гостей – но не для Германтова! – достала Галя, чтобы, откинув крышечку, поглядеться в зеркальце, вполне могла бы быть и у той разодетой в атлас и складчатые шелка царевны. Он влюблялся раньше в маму, в Олю Лебзак, и ещё как влюблялся, когда Оля, играя цыганку, хрипловатым голосом пела, а тут... Хохот, тосты и чоканья, еле заметное копошение-колыхание под потолком заждавшихся вольного полёта воздушных шаров и – не какая-то шальная мысль, не наплыв внезапных, самого пугающих, но быстро растворяющихся желаний, а при-

ступ страсти и сумасбродства. На одной из вечеринок у Сиверского, на той, да-да, как раз на той, где спорили до срыва голосов, надо ли, не надо сносить инородный азиатский храм Спаса на Крови, и где Сперанский прикладывал к оголённой своей коленке роговые очки, захотелось Германтову, насмотревшемуся у Махова на репродукцию «счастливой картины», опьяневшему от красоты Гали и жалости к ней, порезавшей, наверное, и потому забинтовавшей палец, похитить Галю, а ведь за ней, и впрямь неотразимой в то время – если бы вдруг такое узнал тогда, то не поверил бы, но и не поверив обязательно бы умер от ревности! – не без успеха ухаживали сильные сего архитектурного мира, самые влиятельные, самые видные зодчие-женолюбы в обеих столицах, – Буров, Нешердяев, Каменский... Он, однако, ничего компрометирующего прекрасную даму не знал, да и не мог знать по малости лет, и что, скажите, невероятного было в том, что там же, на вечеринке, ему, потерявшему голову и восплававшему ярче, чем все маховские холсты вместе взятые, приспичило, не медля, похитить Галю? Но не понимал он, ибо потерял голову, как именно сможет её похитить, как и чем таким уж исключительным в себе сможет он её соблазнить, и невдомёк ему было, куда, за какое море прекрасную даму-пленницу он, взвалив на спину добычу, должен был увезти? Да и не обладал он нахрапистой бычьей силой, а спортивная Галя, теннисистка из сборной команды, была вовсе не невесомой...

Действительно забавно. На душе у Германтова вроде бы стало легче, он даже испытал прилив сил, желаний.

Тени отступали?

Только что стущавшаяся тревога уже рассасывалась?

\* \* \*

Привет, Хичкок, непревзойдённо изошрённый конструктор художественных тревог, проливавшихся на нас в затхлой темени кинозалов из твоих целлулоидных кадров, привет, старый друг!

Саспенс, хичкоковский саспенс, заполнявший только что спальню, по сути заливал и холсты Джорджоне, и вдруг – после Джорджоне – взлёт и полёт... Полёт бессмысленного венецианского счастья?

Германтов услышал возбуждающе тревожный, за все нервы сразу дёргающий крик чашек, увидел их мельтешение над пологими мутно-зелёными волнами и почти безлюдный, под мелким косым дождём, пляж близ Брюгге, полосатый шезлонг и – Лиду... Почему так горько вспоминать сейчас Лиду, что же такое могло с ней случиться, что так сейчас, спустя столько лет, сжалось сердце? И почему вдруг холод такой сковал, внутренний холод? Жива ли она? Упущенный шанс воспринимается сейчас как упущенная целиком жизнь, бездарно упущенная; всё на свете – снова и снова себе втолковывал, – все места-времена и все-все события, прошлые и грядущие, все встречи-расставания тайно связаны-перевязаны. Но как большое воображение перенесло Лиду на осенне-пустынный бельгийский пляж с Рижского взморья? А как – и чего ради? – он сам многократно переносился из зала Лувра, где висел «Сельский концерт», до сих пор там, в Лувре, подписанный именем Тициана, в советские семидесятые годы, на Кировную улицу, в забитый возбуждённой интеллигентской публикой кинотеатр «Спартак», в давно съеденную древесным жучком, молью и итоговым постперестроечным пожаром – «плюшевую утробу», а оттуда, из несоревшего ещё «Спартака», – в туманно-солнечный Сан-Франциско, к старенькому побелённому маяку у моста Золотые ворота, и – сразу – в живописный, затопленный зноем, похожий на театральную декорацию в колониальном стиле городок к югу от Сан-Франциско, в Сан-Хуан-Батиста, к испанскому аббатству с деревянной Мадонной над оштукатуренным оплывшим порталом, – к аббатству, вдохновившему Хичкока на финальные кадры «Головокружения»? О, когда Германтов окунал разгадываемое им про-

изведение далёкого прошлого в современность, он не прочь был сделать шаг навстречу мировому кинематографу... Всё ещё находясь в беспокойном промежутке меж сном и явью, Германтов уже мысленно перечитывал своё давнее, дерзкое – кто-то из добрейших французов припечатал: хулиганское, – много шума наделавшее эссе «Джорджоне и Хичкок»; да уж, эссе на триста с лишним страниц, с неожиданными поворотами сюжета и сложной фабулой, скорее – роман, повитухой коего и сделалась не подозревавшая о том Лида; и впрямь – «искусствоведческий роман». Да, заклеили хулигана: в «Нувель обсерватор», дали, помнится, убийственный отзыв. А какой грязью забросали его со страниц «Арт-Пресс»? Зато в миланской газете распустили сладковатые слюни, написали про «интеллектуально-неожиданный костюмированный роман-эссе о ключевой, но загадочной фигуре венецианской живописи конца пятнадцатого и начала шестнадцатого века, сочинённый на съёмочной площадке Хичкока». И совсем уж неудивительно, что в кругу отечественных, закомплексованных германтовских коллег, вечно недовольных им и его заграничными успехами, назвали тот роман-эссе с мемуарными откровенностями, переведённый на главные европейские языки, награждённый в Италии национальной премией, «модной профанацией», даже – «утончённой вульгаризацией». И, само собой, коллективное письмо-донос с патриотичным душком появилось, где потребовали «защитить наше искусствоведение от разгула постмодернизма»; особенно трогательным было словечко «наше». Сознание многих необратимо отравили идеологические советские консерванты: книгу издали в Италии и во Франции, в Италии – расхвалили, даже дифирамбы пропели, во Франции – в пух и прах разругали, но в родном-то отечестве он, удостоенный заграничного внимания, воспринимался как соискатель «тридцати серебряников», едва ли не предводитель «пятой колонны». Да-а, предводитель... без колонны. Да, шум в псевдонаучных и околохудожественных кругах обеих столиц поднялся немалый, книгу благодаря пересудам в сети и прессе бойко раскупали на осеннем Салоне «интеллектуальной литературы»; как водится, кто-то – думающее меньшинство? – зауважал Германтова, кто-то презирал...

Между тем ленты Хичкока лишь предлагали художественную аналогию, а объяснение самой тревоги, запечатлённой кистью Джорджоне, точнее, объяснение её, тревоги, природы, возможно, было...

– Юра, всё гениальное просто, – кивнёт Штример, обжигая Германтова доверчиво-насмешливым взглядом; вот и Штримера нет уже, жаль.

– Как вы вникали в мир мыслей и чувств Джорджоне? – допытывалась пёстрая, с чёрным хохолком, птичка на пресс-конференции в Болонье.

– Упаси бог, я не вникал и не пытался вникать, как-никак в Лету утекло пятьсот лет... Я сам, понадеявшись на своё воображение, думал и чувствовал; я просто рассматривал стародавнюю живопись из нашего времени.

– Не заметили ли вы в «Грозе» масонской символики?

– Не заметил.

– Не объяснимы ли тревоги Джорджоне тем, что именно тогда, когда писал он «Спящую Венеру» или – как вы доказываете – «Сельский концерт», неприятельские войска вторглись во владения Венеции, ландскнехты разграбили его родной город, Кастельфранко?

– Применительно к Джорджоне это было бы прямолинейное объяснение.

– Как вам легенда, согласно которой отрубленная голова Олоферна у ног джорджониевской Юдифи – автопортрет?

– Забавная легенда, тем более забавная, что Юдифь, вероятно, писалась с возлюбленной Джорджоне, куртизанки Чечилии.

– Разве вы, рассматривая стародавнюю живопись из нашего времени, не навязываете Джорджоне свои взгляды, идеи и ощущения?

– Ничуть; если эти идеи и ощущения возникли у меня при встрече с полотнами Джорджоне, то и значит, что я эти идеи и ощущения «добыл» в холстах, я – лишь улавливатель и коммуникатор.

– И всё-таки удивительно! – ещё один голос сомнений. – Вы себе верите больше, чем Джорджоне? Своим фантазиям, если не сказать – сумасбродствам, вы подчиняете гениальную его кисть?

– Ничего удивительного! Джорджоне, как и любой художник, не знал, да и не мог знать, что он пишет при всех своих внутренних позывах и планах-намерениях, направляющих его кисть; художник, когда пишет, впадает в транс и превращается в бессознательное существо; повторяю, я – не больше, чем улавливатель и коммуникатор.

– И что же, если отвлечься от идей-фантазий и ощущений, вы хотите высмотреть-разгадать в холстах Джорджоне?

– Резко индивидуальный код.

– Код?!

– Да, код единственной в своём роде художнической судьбы: судьба самого Джорджоне определила атмосферу его холстов.

Giorgione e Hitchcock – как не вспомнить? Он задержался тогда в Болонье, сделал несколько выездов в разные стороны... Какой яркий, солнечный был январь! В городах – нереальное восхитительное безлюдье; редкие прохожие в красно-кирпичном Урбино, под синим небом; сонная оцепенелость Римини: изгнавшая прихожан, будто бы дремлющая церковь Альберти; густо-розовые ставни-жалюзи, задраившие на зиму высокие арочные окна кремового Гранд-Отеля, убраны даже с площадки перед ним такие привычные белые столики уличного кафе; по-зимнему пустынный бескрайний серовато-жёлтый пляж, такой же пустынный, наверное, как и в детские годы Феллини, и зелёная-зелёная, с барашками, Адриатика. И день ли сиял, ночь опускалась? Стоило зажмуриться от яркого солнечного света, как – уже по пути в Равенну – во тьме кромешной над морем, покачиваясь, пронеслись сказочной россыпью огни огромного многопалубного аморфного корабля, заплывшего в современность из «Амаркорда».

Да, да... код художнической судьбы.

Джорджоне, утончённый и нервный живописец-музыкант, был и интеллектуалом, и интуитивистом. Он предчувствовал скорую свою смерть, он жил – совсем недолго жил – до чумы, которая пресекла его молодую жизнь, он, весёлый, жизнерадостный, словно изначально знал, что сброшен будет в наполненную трупами чумную яму, сброшен в яму и залит известью... Вот и дышат необъяснимой вроде бы тревогой холсты, авторство которых неблагодарные потомки припишут затем другим, куда более расторопным, удачливым... да Тициану, законному прославленному наследнику, и припишут! Да, Тициану, а также Тинторетто, Веронезе и всем благополучно последовавшим за ними пальмам-тёпело выпало свои плодovито-долгие художнические жизни прожить после той чумы, а до следующей большой чумы, аж до 1576 года, у них было ещё столько времени... После той чумы, унёсшей Джорджоне, воспарили...

\* \* \*

Впрочем, сейчас Германтова занимал один Веронезе.

Веронезе писал счастье? И – сам восторг творчества, счастье творчества, выделенные им из тёмных суггестивных основ творения? Разводил на палитре краски, брал кисть и – писал счастье? Раз за разом, собравшись в Мазер, становился в последние дни и ночи Германтов за спиной Веронезе, жизнерадостного дарителя счастья, и будто бы не только финикийскую царевну, но и его, Германтова, пухлявые эроты, помахивая крылышками, игриво осыпали рай-

скими яблочками; стоял за спиной Веронезе и следил за смешением лёгких мазков, растяжкой цветковых гамм, выбором оттенков бирюзы и лазури; а какое богатство оттенков розового: оттенки словно мерцали в воздушно-подвижном ворохе розовых лепестков, подхватываемых ветром... Счастье выделялось из всех пор внутренних трагедий и драм, из тьмы и света, чтобы стать зримым. Веронезе, единственный, умел писать не мифологический сюжет сам по себе, не панорамную историю, а в чистом виде то, что зримо не существует: фантазмагорическое и прозрачно-нежное, идиллическое, то, что не умели писать другие?

Не языческое ли у него ощущение и выражение счастья? Ну да, языческое, какое ещё, усмехнулся Германтов своему вопросу, недаром у Веронезе случались неприятности с инквизицией.

«Самая счастливая картина...»

Точнее не скажешь.

Но никак не вспомнить, кто, какой тонко чувствовавший провидец это смог понять и высказать...

И почему-то не вспомнить никак, кто написал об особом таланте божественных венецианцев – таланте счастья?

Неужели сдавала память? Как пели в благословенно застойные брежневские годочки от лица впавшего в маразм генсека? Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню... Надо бы сделать томографию, проверить мозговые сосуды.

Но тут, забеспокоившись, вспомнит он про виллу в Мазере.

И вновь, вновь увидит то, что хотел увидеть.

Может быть, и фрески, заказанные братьями Барбаро, стали зримым воплощением счастья, зримым, по крупицам собранным кистью Веронезе образом земного рая? Ну да, рассматриваешь росписи, а слышишь пение ангелов. Ну да, ну да, Веронезе в привычном порыве счастья расписал виллу... открытие ценой в две копейки.

Может быть, всё может быть; хотя воспринял ли так те фрески, восславившие счастье и затем прославившиеся в веках, но сплошь закрасившие и грубо исказившие его архитектурный замысел, сам Палладио?

Противоречие? А ведь красота рождается из противоречия, обязательно – из противоречия. Вспомнились разговоры об этом с Соней... Да-да, Палладио и Веронезе, сами того не понимая... да-да, хмурый строгий замкнутый Палладио и жизнерадостный, осчастливливающий Веронезе... Догадка: интроверт и экстраверт, творческие и психологические антиподы, сошедшиеся в Мазере, в вилле Барбаро, а? Запомнить, запомнить... Интроверт и экстраверт! Гипотеза о сшибке контрастных психик может стать плодотворной.

Его притягивали сверхъестественно яркие и чёткие росписи виллы; странно: счастье – в красках, а у самого Веронезе, только что вдохновенно-весёлого, вдруг блеснули злые-злые глаза; смоляная борода с рыжевато-палевыми подпалинами вокруг рта будто бы разрослась, сделалась гуще, губы – обычно, если верить эрмитажному автопортрету, обесцвеченно-бледные – были уже красными и блестящими, а Палладио...

Боже, как они, оба, такие разные, такие великие и недостижимые на своих сложенных из слепых восторгов, ложных представлений и банальностей пьедесталах, такие идеализированные и по заслугам восславленные – избивали, душили, волокли по грязи... Пугающе ясно увидел вновь забрызганный кровью белый отложной воротник.

За что его так, – за что?

Всего-то за абстрактные допущения?

Нет, он не философ, он не бытию, а искусству задаёт нелицеприятные вопросы, вот почему два контрастно разных именитых венецианца согласованно конкретную угрозу почуяли, они ни за что не расстанутся со своей художественной тайной, не позволят ему... Германтов погрузился вновь в тревожный, клочковато-рванный какой-то сон – великие тени

опасались его наитий, а когда ожили, уже расправлялись с ним за то, что полез без спросу в святая святых, в творческую их кухню.

\* \* \*

Итак, впервые познакомился с Веронезе у Махова, разглядывая чёрно-белую репродукцию «Похищения Европы».

А когда и как довелось узнать о Палладио?

Тогда, наверное, когда Сиверский, дабы маленькому Юре удобнее было сидеть за обеденным столом, машинально взял с соседней полки, положил на стул увесистый толстый том, «Четыре книги о зодчестве».

Да, изданный под редакцией Академии архитектуры, толстый и тяжёлый том с желтоватой, с чёрным жирным шрифтом, обложкой.

И – твёрдый-твёрдый том, на нём неудобно было сидеть.

Сколько раз листал и перелистывал потом Германтов этот многоуважаемый том, вместилище ордерных штудий и палладианских премудростей, упрямо развивавших штудии и премудрости древних, прежде всего Витрувия. – Разглядывал и разгадывал, не умея ещё их читать, такие непонятные, но красивые, как чёрные узоры, чертежи! Листал, листал, как листал и другие книги и старинные журналы с картинками, гравюрами, листал в ожидании зримых неожиданностей. О, его отличала, возможно, до болезненности чрезмерная, но загнанная внутрь детская впечатлительность; листая-всматриваясь и оставаясь внешне спокойным, он возбуждался, увиденное где-то глубоко-глубоко и долго, перепрыгивая из одного неосознанного пароксизма в другой, жило в нём, превращалось – при его-то замкнутости! – в универсальное переживание. С годами, конечно, впечатлительность убывала, разум остужал чувства, будто бы остерегал от восторгов зрения. Да. С годами он пропитывался скепсисом, предвестником равнодушия. И только тогда омертвление души отступало, когда он внезапно ощущал перед собою цель – зовущую и тревожащую; появлялась цель, и жить он начинал заново.

Так-так-так – Германтов взволнованно заворочался. Так-так, интуиция, эмоция, логика. Так, всё связано-перевязано. И прежде чем сделать что-то стоящее, надо обзреть собственную жизнь? События жизни, включая события самые, на первый взгляд, незначительные, и впрямь были связаны невидимыми приводными ремнями с глубинным и непостижимым творческим механизмом.

Связаны-то они связаны... А случай при этом скачет верхом на случае и случаем погоняет.

Но ведь грех жаловаться, случайности издавна, едва ль не с младенчества, будто бы благоволили ему, намечали и затем заботливо корректировали этапы его развития, его путь; и всегда вдохновляюще подсказывали потом, в решающие моменты, нужные повороты мысли.

Восседал когда-то за обеденным столом, восседал, как на приподнятом троне, на фундаментальной книге Палладио. А ложась спать или просыпаясь, посматривал на фасад его церкви. В самом деле, на одной из двух повешенных Сиверским над кроватью Юры гравюр, тех самых гравюр, что и теперь, кстати, тускло отблескивали стёклами в спальне у Германтова, мучнисто белел над волнами лагуны портик монастыря Сан-Джорджо-Маджоре.

Случайность... как ключ зажигания... Или – как приводной ремень?

Или – никакой техники-механики, просто-напросто – мистическое послание, давний намёк судьбы?

А если и случайность, то счастливая ли она? Останется ли и дальше случай на его стороне?

Но ведь случайности – и отдельные, и вся их вездесущая цепь, – каким-то образом связаны с индивидуальной судьбой, со всеми её предупреждениями, намёками... случайности ведь не сами по себе...

Вот-вот, эврика! Случайности не существуют сами по себе.

Случайности намертво вмонтированы в поступь судьбы, случайности определяют её ритмы и повороты?

Так-так, вспомнил, так-так: душа вытащила жребий – слабо вообразить саму процедуру небесной жеребьёвки? Но... допустим, жребий где-то в многомерной запредельности, где обитала до его рождения душа, был вытащен, а Сиверский, тайно оповещённый о сути и векторе жребия, который вытащила душа перед вселением в тело пасынка, своевременно положил затем на стул том Палладио, повесил над кроватью Юры соответствующую гравюру. А Махов, тоже тайно оповещённый свыше, в нужный момент прикнутил к стене своей комнаты-мастерской фото «Похищения Европы», всего-то прикнутил плохонькое, собранное из четырёх частей фото, но привлёк, ещё как привлёк внимание Юрика, усилил тайное любопытство, которое угнездилось в нём... Всё складно складывалось: в скрытно устремлённых подоплёках-планах своих жизнь воспроизводила уже судьбоносно-временной пазл; для всякого значимого жизненного фрагмента, ориентируемого случаем на главную, но пока неясную цель, в нём, пазле, заранее отведено было строго определённое место. Так-так, судьба, покорная жребию, который вытащила душа, и – жизнь-судьба как ограниченное отпущенным сроком пространство предопределённостей, как невидимый пазл... Да ещё управляющие случайности, орудующие внутри пазла, уточняющие конфигурации психологически-событийных фрагментов жизни, чтобы плотно и цельно они в окончательности своей сплотились. Но какой долгий инкубационный период! Давным-давно, в детстве, с учётом итоговой сборки, подбирались сквозные мотивы насчитанных ему лет, в детстве зачинались, потом терпеливо вынашивались идеи, изводящие сейчас? А он, маг и маэстро обратной перспективы, он, умеющий, как никто, «предвидеть прошлое», оглядывается, чтобы выследить...

И оживала в памяти вечеринка, не та, на которой Германтов вознамерился похитить Галю Ашрапян, а Сперанский эффектно надел на своё голое колено очки и веселье едва не переросло в ссору, нет, не та, другая: одна из многих буйно-безмятежных – никто не ожидал скорого на расправу – обухом по коллективной голове? – «Постановления об излишествах» – вечеринка у Сиверского, ему всегда хватало поводов что-нибудь отпраздновать и отметить; перебрасывались через стол весёлые голоса.

– Я вовсе не палладианец, не обзывайтесь, – смеялся Сиверский, разливая по рюмкам водку, – кишка тонка.

– Не открещивайтесь! Кто же, если не вы, Яков Ильич, палладианец? Я что-то, наверное, не расслышал, не понял, – очаровательный лукавец Левинсон, прикладывая раструбом ладонь к уху, артистично симулировал глухоту.

– Жолтовский, один Жолтовский у нас истинный палладианец, учтите, остальным это не по чину, не доросли.

– Да, дальновидный старец безошибочно делал ставки, вот при жизни и угодил в архитектурные святцы!

– Нет, ныне все ему компанию в выгодных святцах спешат составить, – выпад в сторону Левинсона и Фомина? Все, даже недобитые конструктивисты, ныне – записные палладианцы; все вмиг поменяли веру и подновлённым классицистским богам отбивают поклоны, всем захотелось с партийной тарелки кушать.

– Соломон, попрошу аппетит присутствующих не обсуждать! – на правах хозяина с игровой строгостью Майофиса упрекнул-укоротил Сиверский; недобитые конструктивисты-веротступники, Игорь Иванович и Евгений Адольфович, между тем, плотоядно урча, жевали.

– Слушаюсь, мой генерал! – Соломон Григорьевич лихо поднёс два пальца к виску, однако пустился в алкогольные разглагольствования. – Тем паче что побрезговал нашим столом Жолтовский – впереди всех нас, нечистых, из последних силёнок знаменем веры машет, он, только он, в авангарде «освоения классического наследия»: главный и официальный старец-палладианец с маршалскими эполетами.

– Соломон, – повелительно воскликнул Сиверский, – уважайте седины!

– Рад стараться! – выпученные а-ля Швейк глаза, два пальца, приложенные к курчавому виску.

– Уважая седины, будем всё-таки справедливы: почтеннейший Иван Владиславович безбожно в молитвах своих засушил Палладио; – Соломон Григорьевич уже соорудил серьёзную мину, с деловитой сосредоточенностью-медлительностью намазывал на хлеб с маслом кетовую икру.

– Вы что скажете, Евгений Адольфович, – засушил?

– Когда я ем, я глух и нем!

Игорь Иванович, не переставая жевать, кивнул в знак согласия; так вкусными угощениями увлёкся, что не только жалеть не захотел посмертно засушенного Палладио, но даже про ненавистный храм Спаса на Крови не вспомнил.

– Кто не засушивал? – с обидой в голосе спросил Жук. – Кваренги?

– Эпигоны засушивали-мумифицировали гения – уверовали, что за эту доблесть самих их сочтут великими?

– Разве не сочли? Эпигоны-ампирщики и Кваренги, и Камерон, и ещё кое-кто, но не будем о присутствующих судачить – давно великие.

– Великие – на чужих костях?

– Как иначе? Кости предтеч догнивают, новое величие – прорастает.

– На фоне римского барокко строгий Палладио сыграл роль архитектурного Лютера, теорией и практикой своей всё зодчество, подобно новой церкви, хотел выстраивать, а уж затем, когда сами зодчие причастились, взялись, кланяясь и расшибая в молитвах лбы, упрощать-повторять-насаждать... Всякая стандартизация сушит, – опустив нос, примирительно улыбался Штример, – вот и самого Палладио преданно благодарные сухари-потомки не пощадил.

– Размочим? – Сиверский поднял рюмку.

– Расшибая лбы? – переспросил Фомин и, растерянно заморгав, посмотрел на Сиверского.

Взрыв хохота, опрокидывания рюмок.

Весь вечер именем Палладио в пинг-понг играли.

А заходя наутро к Махову, Юра уже посматривал, пусть и мельком, на репродукцию «Похищения Европы».

Тоже случайность? Конечно, случайность, вмонтированная в судьбу; Палладио и Веронезе повторно, однако – заново, совсем не так, как когда-то, соединялись друг с другом в его судьбе.

Звезда вела? Анюта из последних своих силёнок сжимала его ладошку, про путеводную звезду говорила. Или – проще, зато весомее и... страшнее, куда страшнее – судьба вела, прямо ли, извилисто, но, не спрашивая согласия Германтова, вела, вела и почти что подвела к цели?

Мысли, назойливые мысли, которые он старался, но никак не мог отогнать, варьируясь, замыкались.

Да, теперь, когда цель близка, несомненно – близка, он истово стремится в Мазер, как если бы вилла-фреска заждалась его последнего взгляда, способного наконец увидеть

в синкретичном памятнике то, главное но потаённое, скрытое, то, что до сих пор никто другой не увидел.

Так-так, Палладио, твёрдый в принципах своих, – Лютер, архитектурный, и Анята – Лютер, правда, комнатный; смешно. Мысли уносились и к наставлениям-желаниям Аняты. Надо чем-то жить, чем-то кроме жизни самой, чем-то важным, сверхважным для тебя, чем-то, что... Да, бывают странные сближения, бывают.

Палладио и Веронезе, Палладио и Веронезе как соавторы; уже нерасторжимые для Германтова Палладио и Веронезе; нерасторжимый союз интроверта-зодчего и экстраверта-живописца... Старческий пунктик? С досадой ощутил вновь сухость во рту, противную сухость; вдобавок к тревожным перебоям с памятью не хватало диабета ему для полного счастья... Упрямица Анята, бескомпромиссная в защите высшей правды и жизненной правоты своей Анята была комнатным Лютером, а вот Палладио, потомственный каменотёс, твёрдый и стойкий в призвании своём дать обновляемому им зодчеству высокий закон, как и подлинный реформатор Лютер при реформировании церкви, никак не мог, судя по словам и делам своим, отойти от непреложных, всеобъемлющих, по его разумению, строгих принципов строения пространства и формы, не мог, и всё тут! Да, прав Штример, прав: Палладио – по своему непримиримому внутреннему посылу – архитектурный Лютер. А кем же был Веронезе, волшебник драпировок и позолот? Предтечей тотальной визуализации, теснящей и мало-помалу, хотя и всё быстрее, вытесняющей сущности видимостями, изводящей ныне и пространства, и камни?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.